АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ

ОТЕЦ

Том I



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ

ОТЕЦ

Жизнь Льва Толстого

Том I



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк 1953

F A T H E R

by

ALEXANDRA TOLSTOY

Printed in the United States of America

ОТ АВТОРА

Я знаю, что эта книга моя имеет много недостатков...

Я была очень молода, когда умер мой отец: мне было двадцать шесть лет, сознательный период моей жизни с отцом был очень короткий. Поэтому мне приходилось пользоваться не только моими личными воспоминаниями, но и различными печатными источниками: книгами о Толстом, его биографиями, напечатанными дневниками и письмами. Рукописи же отца, главным образом, его неизданные дневники и письма, находящиеся в Москве, были мне, разумеется, недоступны.

Кроме того, я была занята вопросами помощи беженцам. Приходилось писать только по субботам и воскресеньям и было трудно из настоящей, подчас жестокой действительности переноситься в давно минувшие счастливые годы прошлого.

Я рада, что, плохо ли, хорошо ли, я окончила свой труд, «завещанный от Бога мне грешному». Я чувствовала, что была обязана написать об отце всё, что я знаю и как я понимаю его, так как всем, что во мне есть хорошего, я обязана только ему, и даже в деле создания организации, носящей его имя — Толстовского Фонда, я также ему обязана. Мне хотелось поделиться с вами, читателями, моей любовью к этому необыкновенному, милому, чуткому, веселому и привлекательному, великому в простоте своей человеку, подвести его ближе к вам...

И человек этот, мой отец, был велик тем, что всю свою жизнь, с детства, стремился к добру, и когда ошибался, заблуждался и падал, он никогда не оправдывался, не лгал ни себе, ни людям, а подымался и шел дальше. Эти основные черты его — смирение и скромность, недовольство собой — и побуждали его всегда подыматься выше и выше.

Я не смогла бы никогда написать этой книги без помощи старшего друга моего, выдающейся и образованнейшей женщины из наших последних могикан, графини Софии Владимировны Паниной, которая подбирала для меня материалы, давала бесценные советы, составляла библиографию и даже терпеливо и помногу раз переписывала мои рукописи.

Приношу ей мою глубокую, сердечную благодарность.

Александра Толстая

ГЛАВА I

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОЛСТОГО

Нам трудно перенестись в далекие времена начала 19-го столетия, представить себе жизнь русских дворян-помещиков, которая дала нам Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева и Толстого. Несомненно, что жизнь того времени располагала людей этого класса к творчеству. Жили спокойно, не торопились, ездили на перекладных сотни верст, думали, читали, жгли свечи, утопали в грязи во время распутицы, рожали детей, воспитывали их в известных традициях рыцарства, храбрости, любви к родине, учили языкам, твердо верили в незыблемость государства, в свое неоспоримое право господства над крестьянами, соблюдали праздники, ходили в церковь, болели, редко обращались к докторам, и спокойно, безропотно умирали, подчиняясь воле Бога. В имениях всё было: коровы, овцы, свиньи, куры, индюшки, утки, густые невпроворот сливки, свежее масло, сдобные булки — полная чаша. Громадную роль в жизни помещиков играли лошади и собаки. Резвыми лошадьми, охотничьими собаками гордились, друг перед другом хвастались, менялись, щеголяли красивыми выездами и лихими кучерами. Никто не страдал от медленности передвижения, снежных сугробов, метелей, отсутствия ванн, оторванности от городской цивилизации. Другой жизни не знали...

Крепостные рождались и умирали в имениях, служили поколениями своим господам, часто передавая свое ремесло повара или кучера от отца к сыну. Подчас люди эти жестоко наказывались на конюшнях, но всё же многие из дворовых людей врастали в семью помещика, забывали, что они крепостные, ворчали на своих господ, опекали молодых, командовали, одним словом, интересы господ сливались с их собственными и они, больше чем сами хозяева, огорчались непорядками, болезнями

лошадей и коров, неурожаем и всякими неудачами в доме и в хозяйстве.

В помещичьих усадьбах вечно толпились странники, юродивые, богомольцы, суетились приживалки, под праздники в красных углах теплились лампады, родители почитались, вообще жилось хорошо и спокойно.

В такой среде родился Лев Толстой.

Дом, где произошло это событие, уже не существует, и место, где он стоял, заросло высокими деревьями.

— Вы видите эту лиственницу, — говорил Толстой, — вот там, где эти ветки, была комната, в которой я родился...

Родился он на кожаной кушетке, которая до конца его жизни стояла в его кабинете. На этой же кушетке родились и все его дети.

Случилось это 28 августа 1828 года, в Ясной Поляне, ранее принадлежавшей деду Толстого, князю Николаю Сергеевичу Волконскому[1]). «Строгий был человек, — говорил про него Толстой, — но я никогда не слышал, чтобы он был несправедлив к крестьянам, они ценили и любили его за его прямоту и справедливость». Это был один из тех гордых, независимых помещиков-аристократов, которые никогда не склоняли голову перед сильными мира сего; умный, суровый, сдержанный в своих чувствах. Свою единственную дочь — мать Льва Николаевича — он нежно и глубоко любил и одновременно сам на себя возмущался за свои чувства к ней, к которым примешивалась и гордость и ревность, и горечь за то, что она была дурна собой и робка. Достаточно было взглянуть на лицо этого человека, его орлиные глаза, прямой породистый нос, густые брови, изогнутый, саркастический рот, властный, выдающийся подбородок, гордый постав головы, чтобы понять, что крепостной художник, написавший его портрет, в точности передал характер князя Николая Сергеевича Волконского*).

Некоторые черты старого князя нравились его внуку. Толстой не без удовольствия рассказывал некото-

---

[1]) Нумерованные примечания — в конце каждой главы.

*) Портрет князя Волконского находится в Ясной Поляне.

рые случаи, свидетельствовавшие о гордости и неподкупной честности старого князя. Случилось так, что правительству нужно было обмерить смежный с Ясной Поляной казенный лес. Землемер, которому поручена была эта работа, предложил Волконскому прирезать в его пользу большой кусок казенного леса и просил князя подарить ему за это тройку лошадей. Волконский разгневался и выгнал землемера из дома.

Портрет рыжей толстой дамы с кудельками, висевший на площадке, рядом со столовой — Вареньки Энгельгард, бывшей любовницы всемогущего Потемкина, впоследствии вышедшей замуж за князя Голицына — много раз перевешивался с места на место и в конце концов попал на чердак. Толстой очень любил рассказывать историю о том, как князь разгневался, когда Потемкин предложил ему жениться на Вареньке. «С чего он взял, что я женюсь на его б...», — сказал он.

Совершенно несомненно, что в описаниях старого князя Болконского в «Войне и Мире» Толстой воспроизвел своего деда, князя Николая Сергеевича.

По обычаю того времени, Николай Волконский был зачислен в военную службу еще ребенком. В 1780 году он был назначен в свиту Екатерины II и присутствовал при ее свидании с Иосифом II. Затем он сопровождал императрицу в ее знаменитом путешествии в Тавриду и по возвращении был назначен послом в Берлин.

Когда, после царствования Екатерины, вступил на престол Павел, он стал проявлять исключительную строгость к военному делу. Он потребовал от Волконского особый военный рапорт и отчет по полку. Волконский принял это приказание за выражение недоверия. Как, его, боевого генерала, бывшего в свите Великой Екатерины, в чем-то подозревают и ревизуют!

Волконский сказался больным и на смотр не явился. Павел, не допускавший неповиновения, исключил его из «службы». Вся карьера Волконского была этой отставкой нарушена. Но опала Волконского длилась недолго. Через полгода он снова был призван на службу, произведен в генерал-лейтенанты, а затем назначен военным губернатором в Архангельск, с чином ген.-аншефа.

Выйдя в отставку уже стариком, Волконский поселился в своем имении, Ясной Поляне. Хозяин он был хороший и большой любитель строить, сажать деревья, всячески улучшать свое владение. Все дома Ясной Поляны, построенные князем, отражают собой эпоху Александра I. В то время выписывались из Италии знаменитые архитекторы, создававшие свой особый стиль построек с итальянскими полукруглыми окнами, стенами двухаршинной толщины, рустами и цоколевыми фундаментами.

В большом деревянном доме жили господа, в двух каменных флигелях — челядь. В длинном, одноэтажном здании с мезонином, в стороне, Волконский устроил прядильную мастерскую, где работали крепостные женщины. Это самое красивое здание в Ясной Поляне. С годами оно вросло в землю, облезло, и было обращено в скотный двор. Тем не менее, пассажиры, путешествовавшие между Крымом и Москвой по Московско-Курской жел. дороге, глядя на Ясную Поляну из окон поезда, часто принимали скотный двор за дом Толстого, настолько это здание, на фоне густых лесных зарослей, выделялось красотой и гармонией архитектуры. Только крыша главного дома видна с железной дороги. Он скрыт вековыми деревьями парка. Безмолвные свидетели многих поколений, великих исторических событий, густые, толстые липы, образуя правильный квадрат в верхней части парка, стоят и до сего времени, то одеваясь в мягкие, пушистые покровы снега, то блестя тончайшими узорами седого инея... Летом солнечные лучи едва пробиваются через густую листву, воздух порой пропитан сладким ароматом липового цвета и где-то, высоко над головой, не прекращается до позднего вечера гул бесчисленного множества пчел.

По рассказам, в то время как князь гулял по аллеям, крепостной оркестр услаждал его слух духовой музыкой. В мае месяце воздух насыщен запахом сирени и, точно силясь перещеголять друг друга, все ночи напролет заливаются, цокают, изнемогают в песнях соловьи, на фоне резкого, наглого, трескучего лягушачьего концерта. А у ворот круглые кирпичные башни и каменная

сторожка переносят наше воображение в те времена, когда верный часовой стоял на посту, денно и нощно охраняя княжеское имение от нежелательных посетителей.

Невольно здесь вспоминается сцена из «Войны и мира», дающая такую яркую характеристику своенравному князю Волконскому.

«Старый князь Николай Андреич Болконский в ноябре 1805 года получил письмо от князя Василия, извещавшего его о своем приезде вместе с сыном.

Старик Болконский всегда был невысокого мнения о характере князя Василия, и тем более в последнее время, когда князь Василий в новые царствования при Павле и Александре далеко пошел в чинах и почестях... Он постоянно фыркал, говоря про него. В тот день, как приехать князю Василию, князь Николай Андреич был особенно недоволен и не в духе.

Однако, как обыкновенно, в 9-ом часу князь вышел гулять в своей бархатной шубке с собольим воротником и такой же шапке. Накануне выпал снег. Дорожка, по которой хаживал князь Николай Андреич к оранжерее, была расчищена, следы метлы виднелись на разметанном снегу, и лопата была воткнута в рыхлую насыпь снега, шедшую с обеих сторон дорожки. Князь прошел по оранжереям, по дворне и постройкам, нахмуренный и молчаливый.

— А проехать в санях можно? — спросил он провожавшего его до дома почтенного, похожего лицом и манерами на хозяина, управляющего.

— Глубок снег, ваше сиятельство. Я уже по прешпекту разметать велел.

Князь наклонил голову и подошел к крыльцу. «Слава Тебе, Господи, — подумал управляющий, — пронеслась туча!»

— Проехать трудно было, ваше сиятельство, — прибавил управляющий. — Как слышно было, ваше сиятельство, что министр пожалует к вашему сиятельству?

Князь повернулся к управляющему и нахмуренными глазами уставился на него.

— Что? Министр? Какой министр? Кто велел? — заговорил он своим пронзительным, жестким голосом. — Для княжны, моей дочери, не расчистили, а для министра! У меня нет министров!

— Ваше сиятельство, я полагал...

— Ты полагал, — закричал князь, всё поспешнее и несвязнее выговаривая слова. — Ты полагал... Разбойники! Прохвосты!.. Я тебя научу полагать! — И, подняв палку, он замахнулся ею на Алпатыча и ударил бы, ежели бы управляющий невольно не отклонился от удара. — Полагал... Прохвосты... — торопливо кричал он.

Но, несмотря на то, что Алпатыч, сам испугавшийся своей дерзости — отклониться от удара, приблизился к князю, опустив перед ним покорно свою плешивую голову, или, может быть, именно от этого, князь, продолжая кричать: «Прохвосты!.. Закидать дорогу!»... не поднял другой раз палки и вбежал в комнаты».

Была ли эта сцена взята Толстым из жизни его деда, или же была им вымышлена, что более вероятно, но она несомненно дает чрезвычайно яркое представление о независимости и гордости князя Волконского, — старого князя Болконского по «Войне и миру».

Если князь Волконский тяжело переживал некрасивость своей дочери Марии, то он не допускал и мысли о том, чтобы его дочь была одной из рядовых, пустых, обыкновенных «барышень» аристократического круга того времени. Его дочь должна была быть образованной, и он сам учил ее. Княжна Мария знала четыре языка, и кроме того отец заставлял ее изучать сельское хозяйство, как-то «познавание хлебопашества в сельце Ясная Поляна», давал ей познания по «Математической и Политической Географии, Астрономии», изучал с ней различные управления государствами, одним словом, всесторонне развивал ее.[2])

Как происходили эти уроки?

Вероятно, княжна робея входила в рабочую комнату своего сурового отца, робко своими прекрасными, лучистыми глазами взглядывая на него в надежде, что сегодня она, наконец, угодит ему и всё пойдет хорошо.

«Он никогда не благословлял своих детей и только, подставив ей щетинистую, еще не бритую нынче щеку, сказал, строго и вместе с тем внимательно-нежно оглядев ее: «Здорова... Ну, так садись!» Он взял тетрадь геометрии, писанную его рукой, и подвинул ногой свое кресло.

— На завтра! — сказал он, быстро отыскивая страницу и от параграфа до другого отмечая жестким ногтем.

Княжна пригнулась к столу над тетрадью.

— Ну, сударыня, — начал старик, пригнувшись близко к дочери над тетрадью и положив одну руку на спинку кресла, на котором сидела княжна, так что княжна чувствовала себя со всех сторон окруженною тем табачным и старчески-едким запахом отца, который она так давно знала.

— Ну, сударыня, треугольники эти подобны; изволишь видеть, угол *abc*...

Княжна испуганно вглядывала на близко от нее блестящие глаза отца; красные пятна переливались по ее лицу, и видно было, что она ничего не понимает и так боится, что страх помешает ей понять все дальнейшие толкования отца, как бы ясны они ни были. Виноват ли был учитель или виновата была ученица, но каждый день повторялось одно и то же: у княжны мутилось в глазах, она ничего не видела, не слышала, только чувствовала близко подле себя сухое лицо строгого отца, чувствовала его дыхание и запах и только думала о том, как бы ей уйти поскорее из кабинета и у себя на просторе понять задачу. Старик выходил из себя: с грохотом отодвигал и придвигал кресло, на котором сам сидел, делал усилия над собой, чтобы не разгорячиться, и почти всякий раз горячился, бранился и иногда швырял тетрадью.

Княжна ошиблась ответом.

— Ну, как же не дура! — крикнул князь, оттолкнув тетрадь и быстро отвернувшись, но тотчас же встал, прошелся, дотронулся руками до волос княжны и снова сел.

Он придвинулся и продолжал толкование.

— Нельзя, княжна, нельзя, — сказал он, когда княжна, взяв и закрыв тетрадь с заданными уроками, уже готовилась уходить. — Математика великое дело, моя сударыня. А чтобы ты была похожа на наших глупых барынь, я не хочу. Стерпится — слюбится. (Он потрепал ее рукой по щеке). Дурь из головы выскочит».[3])

Была ли княжна Мария счастлива в ранней молодости?

Вряд ли. Даже поездка ее с отцом в Петербург, где он водил ее по галлереям и музеям с целью образования, не давала простора беззаботной жизнерадостности и веселью, столь свойственным молодости. С отцом княжна всегда робела, в обществе же она не пользовалась успехом, не привлекала внимания блестящих молодых людей. Она была одной из тех девушек, которые с затаенной горечью, грустными глазами следят за блестящими кавалерами, которые, сверкая серебром и золотом мундиров, белыми, туго натянутыми рейтузами, лихо скользя по паркету и звеня шпорами, подлетали к хорошеньким барышням, приглашая их на вальс или мазурку, не обращая никакого внимания на умную, гордую и одинокую княжну.

Княжна была весела только со своими подругами, с m-lle Hénissienne и ее приятельницей, жившими в доме Волконских, и с другими девушками. С ними она чувствовала себя легко и свободно: "Je fais de la musique, je ris et je folâtre avec l'une et je parle sentiment, je médis du monde frivole avec l'autre, je suis aimée à la folie par toutes les deux", пишет она про свои отношения с этими девушками. Она, несомненно, выделялась своим умом, образованием и остроумием в их среде. Иногда, собравшись в укромном уголке, княжна рассказывала своим сверстницам всевозможные истории, сочиняя их по мере рассказа, и слушательницы увлекались не меньше самой рассказчицы.[4])

Какие же черты унаследовал Лев Толстой от своего деда Волконского и своей матери Марии Николаевны?

Он несомненно унаследовал от деда подлинный аристократизм духа, здоровую гордость, выражающуюся в пренебрежении к сильным мира. От матери Толстой уна-

следовал художественный талант, способность к образному повествованию, поэтическую мечтательность, необычайную скромность, презрение к мнению людскому и застенчивость.

В характере его воплотилось множество самых разнообразных черт его предков и родителей. Его многогранное, разностороннее существо выткано из тончайших нитей не только этих наследственных черт, но и быта, и воспитания, и даже той русской природы и русских простых людей, особенно крестьян, среди которых он вырос.

Толстой кажется нам простым, а вместе с тем, в своей простоте, он необычайно сложен. Он кажется нам твердым, а вместе с тем он мягок, как воск; он вспыльчив, резок, требователен, как дед его Волконский, и в то же время он нежен и всепрощающ. Он горд, в нем сильно сознание человеческого достоинства, но вместе с тем он полон истинного смирения, доходящего до полного самобичевания и даже самоуничижения. Но главная его черта, которая красной нитью проходит через всю его жизнь, это — «любовь к любви» — любовь всепоглощающая, озаряющая всю его жизнь, любовь благодарная, любовь к природе, к людям, к животным, и вытекающая из этой любви мягкость и доброта.

Откуда у Толстого эта доброта? От матери? Несомненно.

Но возможно, что Толстой унаследовал одну из ярких черт своего деда со стороны отца — графа Ильи Андреевича Толстого. Про старого графа говорили, что он никогда не мог никому ни в чем отказывать. Этим свойством в полной мере обладал и его внук. Отказывать просящему Толстому было очень трудно.

Толстой всегда ласково говорил о своем деде и в семье Толстого к Илье Андреевичу питали особую симпатию. Было что-то необычайно ласковое, добродушно-милое в этом толстом, розовом, блинообразном лице, отражающем в себе всю его несложную натуру. Толстой, смеясь, любил рассказывать, как, по преданию, дед его устраивал необыкновенные пиры, выписывая для этих событий осетрину прямо из Астрахани, как он посылал

обоз с крепостными людьми по первопутку в Голландию, которая, как известно, славится своей необыкновенной стиркой и крахмаленьем белья, и как обоз едва успевал возвращаться в Москву по последнему снегу.

Безалаберный, добрый, хлебосольный граф Илья Андреевич не умел считать денег, любил угощать, принимать гостей. В 1815 году его назначили губернатором в Казань, но по мягкости своей он распустил всю администрацию, так как выговоров делать не мог. Администрация пользовалась его мягкостью и добротой, пошли злоупотребления. О положении вещей в Казани сделали донос в Петербург. Сенат назначил специальную комиссию для расследования дела. Графа Толстого уволили, но до конца расследования обязали остаться в Казани. Добрый, легкомысленный старик не выдержал позора. Умер ли он от глубокого потрясения или покончил с собой, так и осталось неизвестным.

Отцу Льва Николаевича Толстого, Николаю Ильичу, было в то время 25 лет. Как снег на голову, навалились заботы на жизнерадостного, красивого молодого человека.

Может быть сын в то время ясно и не сознавал всей безвыходности материяльного положения своего отца. С родителями он подолгу не живал. Ему не было еще и 18-ти лет, когда он, увлеченный войной с французами, против воли своих родителей пошел на военную службу.

Как это часто бывает с очень молодыми людьми, Николай искал подвигов, геройских поступков в войне, но он быстро разочаровался, увидав, как он писал родителям: «Места верст на десять застланные телами». Он почувствовал к войне такое отвращение, что, несомненно, отказался бы от военной карьеры, если бы не традиции чести, столь характерные для людей его круга и времени.

Когда, после смерти отца, Николаю Ильичу пришлось принять дела, он был уже подполковником в отставке и служил в московском военно-сиротском отделении.

Все состояние старого графа ушло на уплату его долгов. На руках у Николая оказалась его старушка-

мать, рожденная княжна Горчакова, избалованная, привыкшая с детства к большой роскоши, и сестра его Aline Остен-Сакен; младшая сестра, Пелагея Ильинична, уже была замужем за Юшковым и жила в Казани.

Тетушка Алин — Александра Ильинична — молоденькой девушкой вышла замуж за графа Остен-Сакен. Казалось, что партия эта была блестящей, но вскоре после свадьбы граф стал проявлять признаки ненормальности. Повидимому это была мания преследования.

Как-то, «вставши рано утром, он объявил жене, что единственное средство спасения состоит в том, чтобы бежать, что он велел закладывать лошадей и они сейчас едут, чтобы она готовилась. На пути он достал из ящика два пистолета и, дав один тетушке, сказал ей, что если за ними будет погоня, то единственное спасение — это убить друг друга, чтобы не попасть в руки врагов.

На беду позади них показался экипаж. Убежденный в том, что за ними гонятся враги, граф выхватил револьвер, велел тетушке стрелять в себя и сам выстрелил ей в грудь. Напугавший графа экипаж проехал мимо, а граф вынес из коляски раненную, окровавленную тетушку, положил ее на землю и сам ускакал. Крестьяне подобрали ее и отвезли к пастору, который перевязал ей рану.

В то время, как она выздоравливала, лежа у пастора, муж ее, опомнившийся, прибежал к ней и, рассказав пастору историю о том, как она была ранена, попросил свидания с ней. Свидание это было ужасно. Хитрый, как все душевно больные, граф притворился раскаивающимся в своем поступке и озабоченным только здоровьем жены. Посидев с ней довольно долго, совершенно разумно обо всем разговаривая, он воспользовался той минутой, когда они остались одни, чтобы попытаться исполнить свое намерение. Как бы заботясь об ее здоровье, он попросил ее показать ему язык и, когда она высунула его, одной рукой схватил язык, а другой выхватил приготовленную бритву с намерением отрезать его. Произошла борьба; она вырвалась у него, закричала, вбежали люди, остановили и увели его».[5])

Граф Остен-Сакен попал в сумасшедший дом, а Алин поселилась у матери и брата.

Николай Ильич оказался в тяжелом положении. В доме, в имении Никольском-Вяземском, был заведен известный train жизни со старыми, вросшими в жизнь слугами, с родственниками, приживалками, которых надо было содержать. А между тем, он не мог взять на себя имущество отца, так как долги превышали его состояние. Молодому графу пришлось отказаться от всего. Он оставил себе только родовое имение Никольское-Вяземское, которое со временем очистил от долгов.

Услужливые родные стали искать Николаю богатую невесту. Выбор их пал на княжну Марию Николаевну Волконскую.

Княжна Мария была старше Николая на четыре года. Она была богата, одинока, суровый отец ее умер, женихов не было, и по понятиям того времени, в 34 года девушка уже считалась засидевшейся старой девой.

Брак графа Николая Ильича Толстого с княжной Марией Волконской был, что называется, браком по расчету. Лев Толстой, будучи стариком, говорил, что очень часто браки, при которых, как было принято встарину, особенно в крестьянских семьях, заочно сватали жениха и невесту, бывали счастливее браков по увлечению. Бурная страсть и увлечение проходят. Важно, чтобы оставалось уважение друг к другу, главным же связующим звеном являются дети, составляющие смысл и интерес супружеской жизни. И Толстые были счастливы в продолжение того короткого времени, что они прожили вместе. Мария Николаевна была глубоко привязана к своему мужу, как отцу своих детей, он же питал к ней уважение и был искренно ей предан.

Толстые поселились в Ясной Поляне, в имении Волконских. Николай Ильич достроил большой дом, начатый старым князем, в котором родился Лев Толстой, хозяйничал, держал охоту, но часто уезжал из дома, ведя процессы по запутанным делам своего отца, и постепенно приводя их в порядок. Зато, когда он бывал дома — все оживало. Он шутил с домашними, смешил всех своими остротами, добродушно подсмеивался над

приживалками и старыми служащими, возился с детьми, был почтительно ласков с обожавшей его старушкой-матерью.

«Отец был среднего роста, хорошо сложен, живой сангвиник с приятным лицом и всегда грустными глазами, — пишет Толстой в своих воспоминаниях. — Более всего помню его в связи с псовой охотой. Помню его выезды на охоту. Мне всегда потом казалось, что Пушкин списал с него свой выезд на охоту в «Графе Нулине».

Образ прекрасно сложенного, ловкого отца, легко и свободно, по-кавалерийски сидящего на доброй лошади, ярко запечатлелся в памяти мальчика. Он — отец — высшее существо в центре всеобщего внимания. Чувствуется общее напряженное волнение, как всегда пред охотой, нервно повизгивают собаки, крутятся, покрикивая на собак, лихие наездники-молодцы, любимцы Николая Ильича, Петруша и Матюша, с узкомордыми, с выгнутыми спинами и поджарыми животами борзыми, с любимицей графа черноглазой, резвой Милкой в первой своре.

Может быть, маленький Левочка, наблюдая всю эту картину жалел, что он еще не вырос и не может поспевать за отцом, ездить часами по золотым, шелестящим под копытами лошадей, залитым косым, холодным осенним солнцем, опустошенным жнивьям, выискивая затаившегося под межой русака...

Не от отца ли унаследовал Лев Толстой приветливость, ласковое обращение с людьми, веселое остроумие, любовь к природе, охоте, физическую силу, ловкость, граничащую с молодечеством.

Николай Ильич часто уезжал, а Мария Николаевна тихо вила свое домашнее гнездо в Ясной Поляне. Окруженная верными слугами, поглощенная заботой о детях, домашним хозяйством, она оставалась той же романтически-художественной, несколько сентиментальной натурой, как и раньше. Она занималась музыкой, много читала, даже сочиняла стихи:

O, amour conjugal! Doux lien de nos âmes!
Source, aliment de nos plus doux plaisirs!
Remplis toujours nos coeurs de ta céleste flamme
Et au sein de la paix couronne nos désirs!

Je ne demande au ciel ni grandeur, ni richesse,
Mon sort tranquille suffit à mes vœux;
Pourvu que mon époux me garde sa tendresse
Autant qu'il est chéri sois toujours heureux.

Que notre vie s'écoule comme un ruisseau paisible,
Qui ne laisse de traces que parmi les fleurs,
Qu'au plaisir d'aimer toujours plus sensibles
Nous fixions près de nous le fugitif bonheur;

Oui, mon cœur me le dit, ce destin qu'on envie,
Le Ciel, dans sa bonté, l'a gardé pour nous deux,
Et ces noms réunis, Nicolas et Marie,
Designeront toujours deux mortels heureux, —

писала она, тоскуя по муже в один из его отъездов.

Со всей страстью матери она отдалась воспитанию своих детей. Их было пятеро: Николай, Сергей, Дмитрий, Лев и Мария.

Мать! Какое великое значение Толстой придавал этому слову. В нем видел он главное, святое назначение женщины, в нем воплощал он всю ту нежность, заботу и ласку, которых он так жаждал в детстве и которых никогда не имел. Трудно поверить, что матери своей он не помнил, но он создал в душе своей чудный образ ее, который не только всю жизнь чтил и любил, но и отображал в своих художественных произведениях.

«Она представлялась мне таким высоким, чистым духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне и эта молитва всегда помогала».[6])

Ему было только полтора года, когда она умерла, и он ее не помнил, и вместе с тем, он представлял себе ее как живую: «из больших глаз ее светились лучи доброго и робкого света. Глаза эти освещали все болезненное худое лицо и делали его прекрасным».[7])

Из журнала о поведении старшего сына Николеньки видно, сколько мыслей и сил Мария Николаевна посвящала воспитанию своих детей:

«14 мая, 1828 года: Николенька был целый день очень умен и послушен... Жаль только, что он трусоват, к вечеру, гуляя со мной, он испугался жука...»

«Николенька с утра был умен, — пишет она 16 мая, — читал очень хорошо; но читая о птичке, которую застрелили, и которая умерла, ему так стало ее жаль, что он заплакал...»

Год спустя она записывает в тот же журнал: «Если он (Николенька) будет преодолевать свой страх, то он сделается со временем храбр, как должен быть сын отца, который хорошо служил отечеству».[8])

Из этих и других ее записей видно, что уже с этого возраста Мария Николаевна внимательно анализирует особенности характера своего старшего сына и старается выравнивать те или иные его недостатки, привить ему храбрость, религиозность, чувство долга, прилежание, доброту — все те качества, которыми она сама обладала.

В большом деревянном, трехэтажном доме, с его 40 комнатами, шла особая жизнь. Дети воспитывались старой няней Аннушкой, которой было 100 лет, когда родился Левочка. Старушка эта помнила Пугачева. «У нее были очень черные глаза и один зуб. Она была той старости, которая страшна детям».[9])

Ее сменила няня Анна Филипповна, небольшая, «круглая, с пухлыми маленькими руками молодая женщина. Это было одно из тех трогательных существ из народа, которые так сживаются с семьями своих питомцев, что все свои интересы переносят на них», — писал Толстой в своих воспоминаниях.

В особых покоях, пользуясь почетом и уважением всей семьи, жила графиня Пелагея Николаевна — бабушка, с своими слугами, приживалками, даже со своим слепым сказочником, купленным графом Ильей Андреевичем из-за его мастерства рассказывать сказки.

Странникам, юродивым, дурачкам, Божьим людям никогда не отказывали в приюте. Мария Николаевна любила слушать их незамысловатые рассказы. Их при-

нимали ласково, кормили, поили, даже снабжали деньгами на дальнейший путь.

Когда один за другим у Толстых родились четыре сына и им хотелось иметь хоть одну девочку, то Мария Николаевна дала обещание, что если родится у нее дочь, то она вызовет к ней в крестные матери первую встречную на большой дороге женщину, кто бы она ни была. Когда действительно родилась девочка, Мария Николаевна исполнила свое обещание. Она послала человека на большую дорогу с тем, чтобы привести в графский дом первую встречную женщину. Этой женщиной оказалась полоумная юродивая странница Мария Герасимовна, одетая мужчиной. Она окрестила маленькую Толстую, которой дали имя ее крестной матери — Мария.

В общем укладе жизни Толстых важное значение имела старая экономка Волконских, глубоко преданная Марии Николаевне, религиозная и, наверное, как все эти старые, вжившиеся в уклад помещичьего дома крепостные — уютная старушка Прасковья Исаевна, со своими рассказами о генерал-аншефе Волконском, ласковым ворчаньем, кованными сундуками и курением душистой смолы в комнатах, для очищения воздуха (открытых окон в то время боялись).

Повидимому, все в доме любили и уважали Марию Николаевну. И после ее смерти дом осиротел.

«Самое доброе качество ее, — писал Лев Толстой в своих воспоминаниях, — было то, что она, по рассказам прислуги, была хоть и вспыльчива, но сдержана. Вся покраснеет, даже заплачет, но никогда не скажет грубого слова».

Смерть Марии Николаевны была первым горем, потрясшим семью Толстых. Дети потеряли разумную, нежную, заботливую мать, все они были еще совсем маленькие, старшему, Николеньке, было только шесть лет.

Умерла Мария Николаевна от какой-то непонятной болезни через несколько месяцев после рождения своей единственной дочки. Кто говорил, что она умерла от «горячки», а кто называл ее болезнь воспалением мозга. Старая ее служанка рассказывала, что смерть ее произошла от ушиба. Она любила качаться на качелях. Раз

она качалась со своими девушками и они старались раскачать ее как можно выше. Кончилось это тем, что доска сорвалась и ударила ее так сильно, что она ухватилась руками, за голову и долго так стояла не в состоянии произнести ни слова. Крепостные девушки испугались, боясь, что их накажут за их неосторожность, но Мария Николаевна их успокоила:

— Ничего, ничего, — сказала она наконец, — не бойтесь, я никому ничего не скажу.

После ее смерти пятеро сирот остались на попечении Николая Ильича и тетушек.

Как сложилась бы жизнь Льва Толстого, если бы он получил свое первое воспитание от своей матери и она дала бы своему маленькому «Веньямину», как она называла его, всю ту нежность и ласку, которой он так жаждал? В своем народном рассказе «Чем люди живы», который он, так же как и рассказ «Где любовь, там и Бог», считал лучшими произведениями, которые он когда-либо написал, мы встречаем мысль о том, что «пути Господни неисповедимы». Ангел смерти вынул душу из матери, родившей двух девочек-близнецов. И смерть эта послужила на пользу и девочкам и той женщине, которая их подобрала и воспитала.

Может быть, мать удержала бы своих детей от многого дурного, и в жизни Толстого не было бы бездны тех падений, которые впоследствии так его мучали... Может быть, не было бы мук раскаяния и тех могучих взлетов кверху, которые мы наблюдаем в продолжение всей его жизни.

Дети Толстые остались на попечении старой бабушки, глубоко религиозной, доброй тетушки Александры Ильиничны, но главную заботу и воспитание детей взяла на себя тетенька Татьяна Александровна Ергольская, третье, по словам Толстого, после отца и матери лицо в смысле влияния на его жизнь. Она была очень дальняя родственница бабушки по Горчаковым. Она и сестра ее Лиза остались маленькими девочками, бедными сиротками от умерших родителей. Было еще несколько братьев, которых родные как-то пристроили. Девочек же порешили взять на воспитание знаменитая

в своем кругу, властная и важная Татьяна Семеновна Скуратова и Пелагея Николаевна Толстая; свернули билетики, положили их под образа и, помолившись, вынули. Лизанька досталась Скуратовой, а черненькая Танечка — бабушке.

Танечка была одних лет с Николаем Ильичем, воспитывалась наравне с Пелагеей и Александрой Ильиничной и была всеми нежно любима, да и нельзя было не любить ее за твердый, решительный и энергичный характер. Она была очень привлекательна со своей жесткой, черной, курчавой, огромной косой и агатово-черными глазами с оживленным, энергическим выражением.

«Когда я стал помнить ее, ей было уже за сорок, — пишет Толстой в своих воспоминаниях. — Я никогда не думал о том, красива или некрасива она. Я просто любил ее, любил ее глаза, улыбку, смуглую маленькую руку с энергической поперечной жилкой».[10])

Тетенька Татьяна Александровна была одна из тех цельных, сильных, самоотверженных натур, которые умеют любить, жертвуя собой, с огромным чувством долга и самоотречения, в которых она видела цель и смысл и, может быть, радость своего существования.

«Должно быть она любила отца, и отец любил ее, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери; впоследствии же она не пошла за него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами...»[11])

Никто не подозревал об истинных отношениях ее к Николаю Ильичу. Никто до ее смерти не знал и о записочке Ергольской от 16 августа 1836 г., где она пишет: «Николай сделал мне сегодня странное предложение — выйти за него замуж, заменить мать его детям и никогда их более не оставлять. Я отказала первое предложение и обещала исполнить второе, пока я буду жива».

А на другом обрывочке почтовой бумажки, найденном после ее смерти, оказалась следующая запись: “Il y a des blessures qui ne se ferment jamais, je ne parle

pas des chagrins qui dans ma jeunesse vinrent m'assaillir. Le plus vif, le plus cuisant, le plus sensible fut la perte de N. Elle me déchira le cœur et je ne connais bien que de ce moment que je l'avais tendrement aimé."[12])

(«Бывают раны, которые никогда не заживают. Я не говорю о тех печалях, которыми было полно мое детство. Самым живым, жгучим, болезненным горем была утрата Н. Она мне растерзала сердце и только с этого момента поняла я по-настоящему, как нежно я его любила.»)

«Главная черта ее была любовь, но как бы я ни хотел, чтобы это так было — любовь к одному человеку, к моему отцу. Только уж исходя из этого центра, любовь ее разливалась на всех людей. Чувствовалось, что она и нас любила за него, через него и всех любила, потому что вся жизнь ее была любовь», — пишет Толстой. В другом месте он продолжает:

«Татьяна Александровна имела самое большое влияние на мою жизнь. Влияние это было, во-первых, в том, что еще с детства она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью.

Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви. Второе то, что она научила меня прелести неторопливой, одинокой жизни».[13])

---

1) Полное собр. соч. Ред. и прим. П. И. Бирюкова. Москва, Сытин, 1913. «Воспоминания детства». т. 1, стр. 258.
2) Малоствов и Сергеенко. «Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество.» 1828-1908.» Изд. Сойкина. СПБ. Стр. 16.
3) «Война и Мир», Часть третья, гл. III.
4) Толстой, С. Л. «Мать и дед Л. Н. Толстого». Стр. 72.
Также: «Воспоминания детства», Полн. собр. соч., изд. 1913 г., т. 1, стр. 259.
5) «Воспоминания детства», Полн. собр. соч., изд. 1913 г., т. 1, стр. 268.
6) «Мать и дед Л. Н. Толстого», стр. 110.
7) «Воспоминания детства», т. 1, стр. 260.
«Война и Мир», т. I, ч. 3, гл. IV.
8) Толстой, С. Л. «Мать и дед Л. Н. Толстого», стр. 113 и 121.
9) «Воспоминания Детства». Полн. собр. соч., т. 1, стр. 277.
10) Там же, стр. 270. 11) Там же, стр. 270. 12) Там же, стр. 271.
13) Записки Отдела Рукописей. Вып. 4. Архив Т. А. Ергольской, стр. 62. Публ. Биб. им. Ленина. Соцэкгиз. 1938.

ГЛАВА II

ПЕРВЫЕ ПРОБЛЕСКИ

«Вот первые мои воспоминания: ... я связан; мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать, и я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик; но я не могу остановиться. Надо мной стоит, нагнувшись, кто-то, я не помню кто. И всё это в полутьме. Но я помню, что двое. Крик мой действует на них; они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (то-есть, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком противным для самого себя, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому, что они жалеют меня, но судьбы, и жалость над самим собой. Я не знаю и никогда не узнаю, что это такое было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдирал руку, или это пеленали меня уже, когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи; собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное мое впечатление жизни. И памятны мне не крик мой, не страдания, но сложность, противоречивость впечатлений. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и я, кому сила нужна, я слаб, а они сильны.

Другое впечатление — радостное. Я сижу в корыте, и меня окружает новый не неприятный запах какого-то вещества, которым трут мое маленькое тельце. Вероятно, это были отруби, и вероятно, в воде и корыте, но новизна впечатлений отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил свое тельце, с видными мне ребрами на груди, и гладкое темное корыто, засученные руки няни, и теплую, парную, стращенную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками.

Странно и страшно подумать, что от рождения моего и до трех лет, в то время, когда я кормился грудью, когда меня отняли от груди, когда я стал ползать, ходить, говорить, сколько бы я ни искал в своей памяти, я не могу найти ни одного впечатления, кроме этих двух. Когда же я начался? Когда начал жить? И почему мне радостно представлять себя тогда, а бывало страшно, как и теперь страшно многим, представлять себя тогда, когда я опять вступлю в то состояние смерти, от которого не будет воспоминаний, выразимых словами? Разве я не жил тогда, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить, когда спал, сосал грудь и целовал грудь и смеялся и радовал свою мать? Я жил и блаженно жил! Разве не тогда я приобрел всё то, чем я теперь живу, и приобрел так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и одной сотой того»[1]).

Сознание проснулось в Толстом очень рано. В самом раннем детстве обнаружились некоторые черты его характера, которые остались в нем на всю жизнь.

«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! — пишет он в своей повести «Детство». — Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней! Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для нее источником лучших наслаждений...»[2])

«Все окружавшие мое детство лица, от отца до кучеров, представляются мне исключительно хорошими людьми. Вероятно мое чистое, любовное чувство, как яркий луч, открывало мне в людях (они всегда есть) лучшие их свойства; и то, что все люди казались мне исключительно хорошими, было гораздо больше правда, чем то, когда я видел одни их недостатки»[3]).

Маленький Левочка не хотел видеть этих недостатков. Мир был для него прекрасен, и он любил этот мир и всех живущих в нем. Человеческой жестокости, несправедливости, раздражения понять и воспринять он не мог, зло было для него бессмыслицей, ненужным осквернением и извращением бесподобного чуда жизни.

Зачем секли слугу на конюшне? Он был в отчаянии, когда узнал об этом, и отчаяние его увеличилось,

когда он понял, что это было сделано без ведома его отца, и что если бы он во́-время сказал об этом тетеньке или отцу, он мог бы предотвратить эту ненужную жестокость. Зачем добрейший учитель Федор Иванович вешал собаку, которой переехали лапу? Зачем Прасковья Исаевна, которую он так любил, ставила ему клистир, который был предназначен его брату и не поверила Левочке, когда он ее уверял, что клистир ему не нужен?

«Кто из живых людей не знает того блаженного чувства, хоть раз испытанного, и чаще всего в самом раннем детстве, когда душа еще не была засорена всей той ложью, которая заглушает в нас жизнь, — того блаженного чувства умиления, при котором хочется любить всё: и близких, и отца, и мать, и братьев, и злых людей, и врагов, и собаку, и лошадь, и травку; хочется одного, чтобы всем было хорошо, чтобы все были счастливы, и еще больше хочется того, чтобы самому сделать так, чтобы всем было хорошо, самому отдать себя, всю свою жизнь на то, чтобы всегда и всем было хорошо и радостно. Это то и есть, и эта одна есть та любовь, в которой жизнь человека».

И жизнерадостный, широколицый, живой мальчуган, Левка-пузырь, с полным доверием и готовностью любил всё и всех, удивлялся и недоумевал, если не встречал того же. Он всех любил, но из братьев и сестер глубже и серьезнее относился к старшему брату Николаю. Николенька со своей скромностью, низким о себе мнением, презрением к мнению людскому, умом и серьезностью, был более всех похож на мать.

«С Митенькой я был товарищем, — пишет Толстой. — Николеньку я уважал, но Сережей я восхищался и подражал ему, любил его, хотел быть им. Я восхищался его красивой наружностью, его пением — он всегда пел — его рисованием, его веселием и, в особенности, как ни странно это сказать, непосредственностью его эгоизма. Я всегда помнил, всегда чуял, ошибочно или нет, то, что думают обо мне и чувствуют ко мне другие, и это портило мне радость жизни. От этого, вероятно, я особенно любил в других противоположное

этому, непосредственность эгоизма. И за это любил особенно Сережу — слово любил неверно. Николеньку я любил, а Сережей восхищался как чем-то совсем мне чуждым, непонятным. Это была жизнь человеческая, очень красивая, но совершенно непонятная для меня, таинственная, и потому особенно привлекательная.

... С Николенькой мне хотелось быть, говорить, думать, с Сережей мне хотелось только подражать ему.»[4]).

Жил маленький Левочка до пяти лет в детской с девочками — сестрой Машенькой и приемной девочкой Дунечкой — под присмотром тетушки Татьяны Александровны и няни. Про эту Дунечку Толстой пишет: «Дунечка... была милая, простая, спокойная, но не умная девочка и большая плакса. Помню, как меня, обученного уже французской грамоте, заставили учить ее буквы. Сначала у нас дело шло хорошо (мне и ей было по пяти лет), но потом, вероятно, она устала и перестала правильно называть ту букву, которую я ей показывал. Я настаивал. Она заплакала. Я тоже. И когда к нам пришли, мы ничего не могли выговорить от отчаянных слез».[5])

Переселение вниз к старшим братьям, на попечение учителя Федора Ивановича Ресселя, было для Левочки настоящим горем. Вот что он говорит об этом событии в своих воспоминаниях:

«При переводе меня вниз к Федору Ивановичу и мальчикам я испытал в первый раз и потому сильнее, чем когда-либо после, то чувство, которое называют чувством долга, называют чувством креста, который призван нести каждый человек. Мне было жалко покидать привычное (привычное от вечности), грустно было, поэтически грустно расставаться не столько с людьми, сестрой, с няней, с теткой, сколько с кроваткой, с положком, с подушкой, и страшна была та новая жизнь, в которую я вступал. Я старался находить веселое в той новой жизни, которая предстояла мне; я старался верить ласковым речам, которыми заманивал меня к себе Федор Иванович; старался не видеть того презрения, с которым мальчики принимали меня, меньшого, к себе; старался думать, что стыдно было жить большому маль-

чику с девочками, и что ничего хорошего не было в этой жизни наверху с няней; но на душе было страшно грустно, и я знал, что я безвозвратно терял невинность и счастье, и только чувство собственного достоинства, сознание того, что я исполняю свой долг, поддерживало меня...»[6])

Немец-учитель, Федор Иванович Рессель, к которому перевели маленького Льва, был мало культурный, сентиментальный, но добрейший человек, один из тех, которые сживаются с семьей и горячо привязываются к ней. Дети его любили, но как это часто бывает в детстве, Левочка осознал свою любовь к Федору Ивановичу только тогда, когда лишился доброго своего воспитателя.

Иногда отец спускался вниз к сыновьям, рисовал им картинки, играл с ними. По вечерам Левочка любил сидеть в гостиной и следить за тем, как важная бабушка «с своим длинным подбородком, в чепце с рюшем и бантом... раскладывает пасьянс, понюхивая изредка из золотой табакерки. Тут же около круглого стола из красного дерева сидят тетушка Александра Ильинична и Татьяна Александровна и одна из них читает вслух. Раз, в середине пасьянса и чтения, отец останавливает читающую тетушку, указывает в зеркало и шепчет что-то... Это официант Тихон, зная, что отец в гостиной, идет к нему в кабинет брать его табак из большой, складывающейся розанчиком, кожаной табачницы. Отец видит его в зеркало и смотрит на его, на цыпочках, осторожно шагающую фигуру. Тетушки смеются. Бабушка долго не понимает, а когда понимает, радостно улыбается.» Левочка восхищается отцом, его добротой, радуется, и прощаясь с ним, с особенной нежностью целует его белую жилистую руку.

Бабушка — важная, все уважали и побаивались ее. Но и она принимала иногда участие в общем веселии. Два камердинера отца на руках вывезли бабушку в мелкий Заказ для «сбора орехов, которых в этом году было особенно много, — пишет Толстой в своих воспоминаниях. — Помню чащу частого и густого орешника, в глубь которого, раздвигая и ломая ветки (Петруша и

Матюша), ввезли желтый кабриолет с бабушкой и как нагибали ей ветки с гроздями спелых, иногда вываливавшихся орехов и как бабушка сама рвала их и клала в мешок, и как мы, где сами ѓнули ветки, где Федор Иванович удивлял нас своей силой, нагибая нам толстые орешники, а мы обирали со всех сторон, и все-таки видели, что оставались незамеченные нами орехи, когда Федор Иванович пускал их, и кусты, медленно цепляясь, расправлялись. Помню, как жарко было на полянах, как приятно, прохладно в тени, как дышалось терпким запахом листвы»...[7])

Что может быть разнообразнее природы средней полосы России с ее суровыми зимами, снежными заносами, метелями, узкими, наезженными санями дорогами, утыканными редкими вешками, указывающими путь одинокому, укутанному в тулуп путнику, плетущемуся в санях на лохматой лошаденке. В снежные зимы крестьянские дома заносит так, что их приходится откапывать, и наезженная по улице дорога проходит почти на уровне крыш. Зима сменяется бурной распутицей, разливаются реки, и люди неделями оторваны от селений и городов. Скрываются под бурным потоком или совсем срываются вырвавшимися из берегов бушующими реками деревянные мосты. Но солнце уже греет. Тяжелые полушубки и тулупы более не нужны, валенки заменяются болотными, густо смазанными салом сапогами, не пропускающими воду, у сараев и заборов робко пробиваются буро-красные ростки крапивы и цикория, постепенно уменьшаются и исчезают в оврагах и канавах крепко слежавшиеся грязноватые полотна снега, просыхают и сравниваются колеи мягких проселочных дорог и в деревнях слышится радостное мычание коров и блеяние овец, вырвавшихся, после длинного зимнего заключения, на свободу. На пригорках зацветают голубые поля незабудок, леса кишат душистыми ландышами, лопаются и распускаются почки на могучих дубах...

Нельзя сказать, чтобы Толстой «любил» Яснополянскую природу, он был частью ее, он жил в ней и с нею. Он любил и Заказ, прорезанный глубоким оврагом, на дне которого весной журчал тоненький ручеек,

омывая куски причудливой формы железной руды, и около которого он просил себя похоронить; он любил холмы, луга, где капризными изгибами извивалась узкая, но глубокая речка Воронка, кишащая рыбой и раками, которых мальчишки, пасущие на лугу лошадей, руками таскали из нор крутых берегов и тут же пекли на кострах. Толстой любил дремучие леса казенной Засеки, тянущейся до самой Калужской губернии, с ее широкими просеками, размытыми, не просыхающими даже в самую жаркую летнюю пору дорогами, таинственными тропинками, папоротниками и грибами... Любил он и восточную степную часть Ясной Поляны, где глазам открывался широкий простор, где с раннего утра до ночи, то вспахивая, то засевая, то убирая полоски своих наделов, трудились крестьяне. С раннего детства одним из любимых местечек Толстого была деревня Грумонт, находящаяся в трех верстах от Ясной Поляны. Здесь под горой, в овраге, был замечательный ключ, который славился на всю округу. Вода была настолько хороша, что одно время Толстые посылали туда ежедневно бочку за питьевой водой. В воспоминаниях своих Толстой описывает одну из поездок в Грумонт.

«Подъезжает линейка с балдахином и фартуком. Николай Филиппович правит. Запряжена неручинская гнедая, левая светло-гнедая широкая и правая темная, костлявая, «с крепотцей», как говорит Николай Филиппович. За линейкой большая гнедая в желтом кабриолете.

Тетенька и девочки усаживаются по-своему. Наши же распределены места раз навсегда определенно. Федор Иванович садится с правой стороны и правит, рядом с ним Сережа и Николенька: кабриолет так глубок, что за ними садимся и мы, я и Митенька, спинами врозь, к бокам, ногами вместе. Вся дорога мимо гумна по Заказу — одно наслаждение... Переезжая мост, едем вдоль реки и поднимаемся в гору, на деревню, и въезжаем в ворота, в сад и к домику. Лошадей привязывают. Они топчут траву и пахнут пóтом так, как никогда уже после не пахли лошади. Кучера стоят в тени дерев. Свет и тени бегают по их лицам, добрым, веселым, счастливым ли-

цам. Прибегает Матрена-скотница в затрапезном платье, говорит, что она давно ждала нас, и радуется, что мы приехали, и я не только верю, но не могу не верить, что все на свете только и делают, что радуются. Радуется Матрене тетенька, расспрашивая ее с участием об ее дочерях, радуются собаки... прибежавшие с нами, радуются куры, петухи, крестьянские дети, радуются лошади, телята, рыбы в пруду, птицы в лесу. Матрена и ее дочь приносят большой, толстый кусок черного хлеба, раскрывают удивительный, необыкновенный стол и ставят мягкий, сочный творог с отпечатками салфетки, сливки, как сметана, и крынки с свежим, цельным молоком. Мы пьем, едим, бегаем к ключу, пьем там воду, бегаем вокруг пруда, где Федор Иванович пускает удочки, и побыв полчаса, часок на Грумонте, возвращаемся таким же путем, такие же счастливые».[8])

В будни работали, в праздники ходили в церковь и веселились. Особенно весело справляли святки. Спокон веков велось на Руси, что святками наряжаются, под новый год гадают. В доме Толстых шло веселье: дворовые все, очень много, человек 30 наряжались, приходили в дом и играли в разные игры и плясали под игру старика Григория... Это было очень весело. Ряженые были, как всегда, медведь с поводырем и козой, турки и турчанки, крестьянки — мужчины и мужики — бабы.

«Помню, — пишет Толстой в своих воспоминаниях, — как казались мне красивы некоторые ряженые и как хороша была особенно Маша-турчанка... и очень я себе казался хорош с усами, наведенными жженой пробкой... Глядя в зеркало на свое с черными усами и бровями лицо, я не мог удержать улыбки удовольствия, а надо было делать величественное лицо турки. Ходили по всем комнатам и угощались разными лакомствами».[9])

«Левочка был всегда жизнерадостный, — рассказывала про него его сестра Мария Николаевна. — Казалось, что от жизни он ждет только хорошего, и когда было плохое, он огорчался, но не плакал, плакал он больше, когда его что-нибудь трогало. Кто-нибудь приласкает его, он заплачет. Вбежит, бывало, в комнату, сияющий, лучезарный какой-то, точно сделал какое-то

важное открытие, которое хочет всем сообщить. Любил выкинуть что-то необыкновенное, всех удивить».

Так, однажды, когда семья Толстых жила уже в Москве, Левочка вообразил, что он может летать. Кто из нас в детстве не испытал блаженного чувства полетов во сне, когда каким-то усилием воли вдруг чувствуешь, что ты можешь взлететь, поднимаешься, паришь под потолком, и сон этот настолько реален, что кажется действительностью.

Не то ли испытал маленький Лев, когда в ярком воображении своем, граничащем с фантазией, он решил, что постиг тайну полета, и что если только он изо всех сил сожмет ручонками колени и бросится вниз, он будет как птица парить в воздухе. Когда все ушли обедать, он решился осуществить свой план, «взлез на отворенное окно мезонина и выпрыгнул во двор... Его нашли лежащим во дворе без сознания. К счастью, он ничего себе не сломал, и всё ограничилось только легким сотрясением мозга: бессознательное состояние перешло в сон, он проспал подряд 18 часов и проснулся совсем здоровым».

Легко можно себе представить, с каким восторгом воспринял пятилетний Левочка вымысел старшего брата Николеньки, также обладавшего большой фантазией и способностью рассказывать, очевидно унаследованной им от матери, о Фанфароновой горе и Муравейных братьях.

«Да, Фанфаронова гора, — говорил Лев Николаевич, — это одно из самых далеких, и милых, и важных воспоминаний. Старший брат Николенька был на шесть лет старше меня. Ему было, стало быть, 10-11, когда мне было 4 или 5, именно когда он водил нас на Фанфаронову гору. Мы в первой молодости, не знаю как это случилось, говорили ему «вы». Он был удивительный мальчик и потом удивительный человек. Тургенев говорил про него очень верно, что он не имел только тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть писателем. Он не имел главного, нужного для этого недостатка: у него не было тщеславия, ему совершенно неинтересно было, что о нем думают люди. Качества же

писателя, которые у него были, были прежде всего тонкое, художественное чутье, крайнее чувство меры, добродушный, веселый юмор, необыкновенное, неистощимое воображение и правдивое, высоко-нравственное миросозерцание, и всё это без малейшего самодовольства...

Так вот он-то, когда нам с братьями было: мне 5, Митеньке 6, Сереже 7 лет, — объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни болезни, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут любить друг друга, все сделаются «муравейными» братьями (вероятно это были «моравские» братья, о которых он слышал или читал, но на нашем языке это были муравейные братья). Я помню, что слово «муравейные» особенно нравилось, напоминая муравьев в кочке. Мы даже устроили игру в муравейные братья, которая состояла в том, что садились под стулья, загораживая их ящиками, завешивали платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу. Я, помню, испытывал особенное чувство любви и умиления и очень любил эту игру.

«Муравейные братья» были открыты нам, но главная тайна в том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились, а были бы постоянно счастливы, — эта тайна была, как нам говорили, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил в память Николеньки закопать меня.

Кроме этой палочки, была еще какая-то Фанфаронова гора, на которую, он говорил, — можно ввести нас, если только мы исполним все положенные для того условия. Условия были, во-первых: стать в угол и не думать о белом медведе. Помню, как я становился в угол и старался, но никак не мог не думать о белом медведе. Второе условие: пройти, не оступившись, по щелке между половицами, и третье, легкое — в продолжение года не видать зайца, — все равно, живого или мертвого или жаренного. Потом надо поклясться никому не открывать этих тайн...

Идеал муравейных братьев, льнущих любовно друг к другу, только не под двумя креслами, завешенными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает».[10])

---

[1]) Соч. Гр. Л. Н. Толстого, изд. 12, 1911 г. Т. 1. «Первые воспом.»
[2]) Там же, «Детство», гл. XV.
[3]) Там же, «Воспом. детства».
[4]) Там же, «Воспом. детства».
[5]) Бирюков, П. И. «Л. Н. Толстой. Биография», т. 1, стр. 77.
[6]) Соч. Гр. Л. Н. Толстого, изд. 12, 1911 г. Т. 1. «Первые воспомин.»
[7]) Там же, «Воспом. детства», IV.
[8]) Там же, «Воспом. детства», гл. X.
[9]) Бирюков, П. И. «Л. Н. Толстой. Биография», т. 1, стр. 81 и 114.
[10]) «Воспоминания детства», г. IX. См. выше.

ГЛАВА III

СМЕРТЬ ОТЦА

«Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг перевернулись к вам другой, неизвестной еще стороной? — пишет Толстой в своей повести «Отрочество», по поводу переезда семьи в Москву. — Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз во время нашего путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества. Мне в первый раз пришла в голову мысль о том, что не мы одни, т. е. наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал всё это; но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал... Когда я глядел на деревни и города, которые мы проезжали, в которых в каждом доме жило по крайней мере такое же семейство, как наше, на женщин, детей, которые с минутным любопытством смотрели на экипаж и навсегда исчезали из глаз, лавочников и мужиков, которые не только не кланялись нам, как я привык видеть это... но не удостаивали нас даже взглядом, — мне в первый раз пришел в голову вопрос: что же их может занимать, ежели они нисколько не заботятся о нас? И из этого вопроса возникли другие: как и чем они живут? как воспитывают своих детей, учат ли их? пускают ли играть? наказывают ли их?

Вот коляска, четверкой на почтовых, быстро несется навстречу. Две секунды — и лица на расстоянии двух аршин приветливо, любопытно смотревшие на нас, уже промелькнули, и как-то странно кажется,

что эти лица не имеют со мною ничего общего, и что их никогда, может быть, не увидишь больше...

Вон, за оврагом, виднеется на светло-голубом небе деревенская церковь с зеленой крышей; вон село, красная крыша барского дома и зеленый сад. Кто живет в этом доме? Есть ли в нем дети, отец, мать, учитель? Отчего бы нам не поехать в этот дом и не познакомиться с хозяевами?».[1])

Новый мир открылся для маленького Толстого, когда все семейство: отец, бабушка, тетушки, воспитанница тетушки Алин, Паша, дети, слуги — двинулись осенью 1836 года в Москву.

Какое было волнение, суета! Услужливые дворовые бегали взад и вперед, мешая друг другу, выносились последние вещи, упихивались в повозки, у подъезда фыркали и топотали лошади, повизгивали собаки, грустно смотрела своими карими глазами борзая Милка, — ее решили оставить в Ясной Поляне. Наконец, успокоились, все, включая служащих, как полагается, молча сели в гостиной, помолились, перекрестились и тронулись в путь. Впереди, в карете, запряженной шестерней, ехала бабушка, тетушки и девочки. А что это была за карета! Целый дом на громадных тяжелых колесах — поместительная, с широкими, просторными сидениями, под которыми были помещения для вещей. Здесь всё было: и ларец с провизией на дорогу, и зеркало, и мягкие подушки для бабушки, и даже уборная — круглая дырка в одном из сидений — для детей. В коляске ехал Николай Ильич и поочереди брал к себе мальчиков. В то время 200 верст от Ясной Поляны до Москвы было большое путешествие. Несколько раз менялись лошади на станциях, куда накануне посылались подставы.

Сейчас же по выезде по «пришпекту» экипажи покатили мимо круглых кирпичных башен и выехали на «большак» — широкую, обсаженную ветлами дорогу, ведущую на Москву, пробитую по всей России еще во времена Екатерины Великой — вдоль речки Ясенки, мимо квадратной, приземистой кирпичной башни, тоже

Екатерининских времен, с железным орлом на верхушке, отделяющей Крапивенский уезд от Тульского.*)

Москва! Кто из вас, не родившийся в деревне и не проживший всю свою жизнь среди полей и лесов, в кругу семьи и давно знакомых лиц, может ярко себе представить ощущения 8-ми летнего мальчика, впервые увидевшего Москву, о которой он только слышал и читал, с ее старинными, каменными, с колоннами, особняками, многочисленными церквами с синими и зелеными с золотом куполами и золотыми крестами, вытряхивающими душу булыжными мостовыми, снующими взад и вперед чужими, невиданными прежде людьми. Всё это было ново, прекрасно, и Левочка жадно слушал рассказы отца о Москве, когда они въезжали в город.

Толстые поселились в большом, хорошем особняке. Уклад жизни мало изменился. Держали собственных лошадей, те же дворовые-крепостные обслуживали их. Мальчики учились, к ним приходили учителя; Николенька, которому было уже 14 лет, готовился к поступлению в университет. Левочка учился плохо, но попрежнему живо интересовался всем, что его окружало, гуляя с Федором Ивановичем по улицам Москвы. Отец то приезжал, то уезжал, тетенька Татьяна Александровна, как всегда, окружала детей своей лаской и любовью.

Никто толком не знал, как это случилось, кто сообщил бабушке и всей семье ужасную новость. Известие пришло из Тулы, куда Николай Ильич уехал по делам. Он вдруг, на улице, почувствовал себя дурно, упал и, не приходя в сознание, умер. Прошел слух, что братья-камердинеры, Петруша и Матюша, которые всегда были при нем, его отравили. Деньги и бумаги, бывшие при Николае Ильиче, исчезли. Деньги так и не нашлись, а бумаги были доставлены семье, в Москве, некоторое время спустя, какой-то таинственной нищенкой, которая нашла их будто бы на паперти церкви.

Горе потрясло всю семью. Дети Толстые остались круглыми сиротами, бабушка потеряла единственного

---

*) Во время революции 1917-19 гг. башня была разрушена и кирпич разобран крестьянами на постройки. А. Т.

сына — радость и гордость всей ее жизни, тетушка Алин — горячо любимого ею брата, тетенька Татьяна Александровна — человека, которого она молча и бескорыстно любила всю свою жизнь.

Левочка первое время не верил в смерть отца. Представить себе, что его живой, энергичный, красивый, жизнерадостный отец уже не существует, не смеется, не шутит, что он больше никогда его не увидит — он не мог. Здесь была какая-то ошибка, недоразумение. Гуляя по улицам, он искал его среди встречающихся ему людей... Он ждал, надеялся, что вот он увидит его... И Левочка тосковал, сознавая сильнее, чем когда-либо, как сильно он любил отца.

Первое время не верила и бабушка. Она бурно переживала свое горе, примириться с ним, утешиться она не могла. Она слегла и меньше чем через год скончалась.

Ближайшей родственницей детей Толстых была тетенька Александра Ильинична Остен-Сакен, тетенька Алин, которая и была назначена их опекуншей.

Состояние Толстых было передано в опекунский совет, надо было сократить расходы и Толстые переехали в более скромный дом. Никто не страдал от внешней перемены жизни, всем даже нравился новый, маленький домик в пять комнат, который случайно нашел для семьи маленький Левочка в одну из своих прогулок по Москве с Федором Ивановичем. Смерть бабушки, кроме ужаса перед покойником, которого впервые увидел маленький Лев, мало огорчила его. У него было другое горе, — отставка добрейшего немца, Федора Ивановича, и передача Левочки, еще при жизни бабушки, в ведение нового гувернера, Сен-Тома — ограниченного, самовлюбленного, молодцеватого француза, весь облик которого, с его неестественной напыщенностью, почти театральной деланностью — отвращал чуткого мальчика. У Сен-Тома была своя теория воспитания и дисциплины, он смотрел сверху вниз на глупые, сентиментальные психологические рассуждения доброго немца, презирая его. У Федора Ивановича не было никакой теории воспитания, очень мало знаний и настоящей дисциплины, он просто любил

своих воспитанников, понимал их, и чутко разбирался в особенностях их характеров.

И Левочка не взлюбил Сен-Тома: и за его презрение к Федору Ивановичу, и за его нежелание понять каждого из них, что для него было особенно важно, и за его самонадеянность.

«Это было настоящее чувство ненависти, — пишет Толстой, — той ненависти, которая внушает вам непреодолимое отвращение к человеку, заслуживающему, однако, ваше уважение, делает для вас противным и его волосы, шею, походку, звук голоса, все его члены, все его движения и вместе с тем какой-то непонятной силой притягивает вас к нему и с беспокойным вниманием заставляет следить за малейшими его поступками».[2])

Страшно подумать, как страдал этот чуткий, всегда готовый сторицей отплатить за всякую ласку, внимание и доброту, ребенок. «Никогда не забуду я, — вспоминал Толстой в «Отрочестве», — как Сен-Жером (Сен-Тома), указывая на пол перед собою, приказывал стать на колени, а я стоял перед ним, бледный от злости, и говорил себе, что лучше умру на месте, чем стану на колени, и как он изо всей силы придавил меня за плечи и, повихнув спину, заставил-таки стать на колени»...[3])

Была ли эта сцена вымышлена Толстым — неизвестно, но в своих воспоминаниях он пишет:

«Не помню уж за что, но за что-то, самое незаслуживающее наказания, Сен-Тома, во-первых, запер меня в комнате, а потом, угрожал розгой. И я испытал ужасное чувство негодования и возмущения, и отвращения не только к Сен-Тома, но к тому насилию, которое он хотел употребить надо мной».[4])

К счастью, со временем, отношения несколько сгладились и вспышки ненависти к гувернеру проявлялись все реже и реже в маленьком Льве. Может быть, самодовольный француз, несмотря на всю свою тупость, уловил нечто незаурядное в своем воспитаннике».

"Ce petit a une tête! C'est un petit Molière!" — говорил он.[5])

Годы шли. Душа маленького Льва все так же жаждала любви и ласки. Жажда эта проявлялась то в обо-

жании красивого, самоуверенного мальчика, Саши Мусина-Пушкина, смотревшего сверху вниз на вихрастого, застенчивого мальчика с маленькими серыми глазками, то в обожании хорошенькой девочки, Сонечки Калошиной. Он любил их, не думал о взаимности, наслаждаясь лишь тем чувством любви, которое он сам к ним испытывал. «Я не понимал, — пишет он в «Детстве», — чтобы за чувство любви, наполняющее мою душу отрадой, можно было требовать еще большего счастья и желать чего-нибудь, кроме того, чтобы чувство это никогда не прекращалось. Мне и так было хорошо».

Он был самым маленьким мальчиком в семье, он был некрасив и чувствовал себя одиноким. Он искал привязанностей, — у него их не было, он искал самоутверждения, чего-то такого, что вывело бы его из того заднего плана, на котором он находился — и не мог найти, он искал поощрения, — но над ним смеялись и никто не понимал его. Студент, дававший уроки трем братьям, сказал про них следующее: «Сергей и хочет и может, Дмитрий хочет, но не может, а Лев и не хочет и не может».[6])

А Левочка чувствовал, что он может, он чувствовал, что он не ничтожество, что в нем что-то есть, чего нет в других, но как он ни старался, он не мог выскочить из тупика. Почему Саша Мусин-Пушкин, которого он так бескорыстно и восторженно любил, презирал его? Почему Сонечка Калошина не обращала на него никакого внимания, почему учитель считал его таким бездарным и неспособным?

«На меня часто находили минуты отчаяния: я воображал, что нет счастья на земле для человека с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серыми глазами, как я: я просил Бога сделать чудо — превратить меня в красавца и всё, что имел в настоящем, всё, что мог иметь в будущем, я всё бы отдал за красивое лицо».[7])

Если бы живы были мать и отец, они помогли бы Левочке, развивая в нем те черты, которых он стыдился — стремление к добру, чуткость, скромность. Они, может быть, уловили бы в нем тот художественный огонь,

который ловил в нем отец, когда Левочка, еще совсем маленьким, с чувством декламировал выученные им и столь понравившиеся ему стихи Пушкина: «Прощай, свободная стихия!» и «Чудесный жребий совершился, угас великий человек». Но Левочка был одинок и бросался из стороны в сторону.

Одно время чувство патриотизма охватило его. Это было после приезда государя Николая I в Москву, и он стал мечтать о том, как он отличится на войне.

«Я поступаю в гусары и иду на войну, — описывает он размышления свои в повести «Отрочество», когда ненавистный гувернер запер его одного в темном чулане. — Со всех сторон на меня несутся враги, я размахиваю саблей и убиваю одного, другой взмах — убиваю другого, третьего. Наконец, в изнурении от ран и усталости, я падаю на землю и кричу: «Победа!» Генерал подъезжает ко мне и спрашивает: «Где он, наш спаситель?» Ему указывают на меня, он бросается мне на шею и с радостными слезами кричит: «Победа!» Я выздоравливаю и с подвязанною черным платком рукою, гуляю по Тверскому бульвару. Я генерал! Но вот государь встречает меня и спрашивает: «Кто этот израненный молодой человек?» Ему говорят, что это известный герой Николай. Государь подходит ко мне и говорит: «Благодарю тебя. Я все сделаю, что бы ты ни просил у меня».[8])

Эти детские мечты сменялись более серьезными. Левочка стал все чаще и чаще задумываться над различными философскими вопросами.

«Едва ли мне поверят, какие были любимейшие и постояннейшие предметы моих размышлений во время моего отрочества, так они были несообразны с моим возрастом и положением», — пишет Толстой в своей повести «Отрочество».

«В продолжение года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе жизнь, все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представлялись мне: и детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых состав-

ляст высшую ступень, до которой может достигать ум человека».[9])

В дневниках старости, заканчивая дневную запись, иногда поздно вечером, Толстой имел обыкновение записывать число и месяц и год следующего дня и часто прибавлял: «Е. Б. Ж.», т. е. «Если буду жив». Мысль, что завтра уже может не наступить — никогда не покидала его, ежечасно он готовился к смерти. В «Отрочестве» он вспоминает следующие свои рассуждения: «Вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим, и не думая о будущем».[10])

Рассуждения о вечной жизни, о счастии, волновали мальчика.

«Раз мне пришла мысль, что счастие не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив, — и чтобы приучить себя к труду я, несмотря на страшную боль, держал до пяти минут в вытянутых руках лексиконы (Татищева)... или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах».[11])

Хотя Толстой, будучи уже 24-х лет, когда он писал свою повесть «Детство, отрочество и юность», пишет о том, что «из всего морального труда», который он потратил на все свои детские философские размышления «я не вынес ничего, кроме изворотливости ума, ослабившей во мне силу воли, и привычки к постоянному моральному анализу, уничтожившей свежесть чувства и ясность рассудка».[12]) Эти детские рассуждения давали ему в то время какое-то самоутверждение, в котором он чувствовал насущную потребность.

«Философские открытия, которые я делал, чрезвычайно льстили моему самолюбию: я часто воображал себя великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины, и я с гордым сознанием своего достоинства смотрел на остальных смертных; но странно: приходя в столкновение с этими смертными, я

робел перед каждым, и чем выше ставил себя в собственном мнении, тем менее был способен с другими не только выказывать сознание собственного достоинства, но не мог даже привыкнуть не стыдиться за каждое самое простое слово и движение».[13])

Левочка шел своей дорогой, ощупью прокладывая свой собственный путь, а поделиться своими мыслями, посоветоваться ему было не с кем... Он был одинок.

---

1) Полн. собр. соч. Госизд. Т. 2. «Отрочество», гл. III.
2) Там же, гл. XVII.
3) Там же, гл. XVII.
4) Соч. Гр. Л. Н. Толстого. Изд. 12, 1911 года, Т. 1. «Восп. детства»
5) Там же, «Зап. гр. С. А. Толстой».
6) Там же, «Восп. детства» гл. IX.
7) Полн. собр. соч. Госиздат. Т. 1. «Детство», гл. XII.
8) Там же, Т. 2. «Отрочество», гл. XV.
9) Там же, Т. 2. «Отрочество», гл. XIX.
10) Там же.
11) Там же.
12) Там же.
13) Там же.

ГЛАВА IV

ПЕРЕЛОМ

Осенью 1841 года около монастыря Оптиной Пустыни умерла опекунша детей Толстых, Александра Ильинична Остен-Сакен — тетенька Алин.

— Ne nous abandonnez pas, chère tante, il ne nous reste que vous au monde, — с такими словами обратился Николай к единственной оставшейся в живых родственнице, тетеньке Пелагее Ильиничне Юшковой — тетеньке Полин.[1])

Николай в то время был студентом первого курса, а младшим, Левочке и Машеньке, было 13 и 11 лет.

Добрая тетенька растрогалась, расплакалась, решила принести себя в жертву и забрать всех пятерых Толстых к себе, в Казань.

Из Ясной Поляны двинулись на нескольких повозках на лошадях, а дальше, вниз по Волге, на двух барках, которые специально наняла для этой цели тетенька. Грузились крепостные: повара, лакеи, портные, столяры, четыре камердинера-мальчика, приставленные к каждому из братьев Толстых, грузились вещи. Ехали на лошадях долго и весело, останавливались, отдыхали, по дороге купались, собирали грибы.

Казань в то время была, благодаря своему университету, культурным центром всего Поволжья, и на зиму сюда съезжались помещики из соседних уездов и губерний. Детей отдавали в школу, молодые люди посещали университет, девицы вывозились в свет и находили себе женихов, и все веселились. Лукулловские обеды сменялись балами, вечерами, спектаклями, ужинами, после которых танцовали, играли в карты; золотая молодежь кутила.

В Казани Левочка был так же, если не более, одинок, чем прежде. Не было около него даже его люби-

мой тетеньки Татьяны Александровны, которая не поехала с детьми в Казань. Тетенька Полина не любила Татьяну Александровну. В ранней молодости добродушный муж тетеньки Полины, бывший гусар В. А. Юшков, был влюблен в прелестную Toinette и тетенька Полина никак не могла забыть и простить ей этого.

А как тетенька Татьяна Александровна переживала эту разлуку с племянниками, можно судить по нескольким словам тогда же написанного ею письма В. И. Юшкову: "qu'il est cruel, qu'il est barbare de me séparer de ces enfants, auxquels j'ai prodigué les soins les plus tendres pendant près de 12 ans." (Как жестоко, как бесчеловечно разлучать меня с детьми, которых я, в течение почти 12-ти лет, окружала самыми нежными заботами).[2])

Семья Толстых легко разместилась в просторном, большом доме Юшковых. В то время общество в Казани делилось на две группы. Одна, многочисленная — разночинцы, группирующиеся вокруг университета и профессоров, серьезно занимающиеся и занятые отвлеченными, социальными и научными вопросами; другая — местный «высший свет», в который входила аристократия, поместное дворянство и высший слой бюрократии. Эта группа была меньше, объединялась вокруг губернатора и держалась особняком от интеллигентов.

Дом Юшковых принадлежал к аристократическому кругу. Тетенька Полина держала себя с достоинством, ее уважали как очень религиозную и вместе с тем светскую женщину, а В. А. Юшков был приятным и веселым членом общества, шутник, балагур и гостеприимный хозяин.

Все три старших брата Толстые были уже в университете. Николай учился хорошо, легко переходил с одного курса на другой; Сергей с головой ушел в светские удовольствия, имел успех у дам, веселился, смотрел на жизнь легко и просто; Дмитрий вел уединенную жизнь, ходил в церковь, постился, товарищи его не любили и прозвали Ноем. Машенька училась в институте.

Льву было 14 лет. Ни недалекая, ограниченная тетенька Полина, ни ее заурядный, светский муж, ни Ст. Тома не могли ему дать нравственного руководства и он продолжал, спотыкаясь, брести своим собственным путем. «Я всей душой желал быть хорошим, — пишет он в «Исповеди» — но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, как я пытался высказывать то, что составляло самые задушевные мои желания, то, что я хочу быть нравственно хорошим, — я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть — всё это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны».[3])

Не это ли желание — подражание старшим, привело Толстого к его первому падению? Половое влечение пробудилось в нем рано. Оно зашевелилось в нем, когда брат Сергей легко и просто заигрывал с горничной, и Лев одновременно и завидовал Сергею и испытывал неясное чувство отвращения. Но могла ли страсть так сильно разыграться в мальчике, чтобы побудить его пойти с братьями в дом терпимости? Вряд ли. Он пошел, потому что боялся насмешек, и потому, что некому было остановить его, он хотел быть настоящим мужчиной. И тут же, горько плача у постели женщины, с которой он впервые познал грех, он мучительно раскаялся. Он плакал об утрате невозвратимого, цельного, здорового, плакал о загрязнении своего молодого, почти детского тела, может быть, он плакал и от жалости к той женщине, которая занималась таким грязным делом...

«Мне не было внушено никаких нравственных начал, — никаких, — а кругом меня — большие — с уверенностью курили, пили, распутничали (в особенности распутничали), били людей и требовали от них труда. И многое дурное я делал, не желая делать, только из подражания большим».[4])

Муки раскаяния, угрызения совести — Лев прятал в себе. Разве кто-нибудь понял бы его? Сергей, вероятно, посмотрел бы на него сверху вниз (он был выше Льва ростом), черные глаза его загорелись бы насмешкой и красивый рот с темными, пробивающимися усиками над верхней губой, чуть повело бы от саркастической улыбки, и для братьев и их товарищей снова подтвердилось бы то, что они всегда знали, что Лев странный, не такой как все, рева и молокосос.

Кто не знает трудности перехода от отрочества к юности? Когда мальчик вдруг вытягивается, ломается его голос, движения неуклюжи и неуверенны, длинные руки болтаются и неизвестно что с ними делать. И чем сложнее, богаче, и чем застенчивее молодое существо, тем труднее совершается этот перелом. Невольно вспоминается стихотворение Пушкина:

Пятнадцать лет уж скоро минет;
Дождусь ли радостного дня?
Как он вперед меня подвинет!
Но и теперь никто не кинет
С презреньем взгляда на меня.
Уж я не мальчик; уж над губой
Могу свой ус я защипнуть...

И Левочке страстно хотелось быть скорее взрослым, наверное, и он пощипывал свой только-только пробивающийся ус, неистово приглаживая перед зеркалом свои непокорные, торчащие вихры мокрой щеткой, с ужасом смотрел на свои маленькие серо-голубые глаза, широкий нос, толстые губы и решительный, ярко очерченный подбородок.

«Он всегда преувеличивал свою некрасивость, — говорила про него его сестра Мария Николаевна, — он был очень мил и привлекателен, когда, бывало, в минуты оживления, он всех нас заражал своим веселием. В эти минуты его лицо озарялось задорной улыбкой, сияли остроумием его лучезарные, проницательные глаза и совершенно забывались неправильные черты его лица».

Науки не интересовали Льва, но тетенька Полина настаивала, чтобы он готовился к университету, и Льву

самому хотелось поскорее надеть мундир с золотыми пуговицами, треуголку, прицепить шпагу и, наконец, сделаться «совсем большим».

«Помню, как я, когда мне было 15 лет, вдруг пробудился от детской покорности чужим взглядам, в которой жил до тех пор, и я в первый раз понял, что мне надо жить самому, самому избирать путь, самому отвечать за свою жизнь перед тем началом, которое дало мне ее.

Помню, что я тогда хоть и смутно, но глубоко чувствовал, что главная цель моей жизни — это то, чтобы быть хорошим, — хорошим в смысле евангельском, в смысле самоотречения и любви. Помню, что я тогда же попытался жить так, но это продолжалось не долго. Я не поверил себе, а поверил всей той внушительной, самоуверенной, торжествующей мудрости людской, которая внушалась мне сознательно и бессознательно всем окружающим. И мое первое пробуждение заменилось очень определенными, хотя и разнообразными желаниями успеха перед людьми: быть знатным, ученым, прославленным, богатым, сильным, т. е. таким, которого бы не я сам, но люди считали бы хорошим».[5])

В период этого внутреннего одиночества жизнь Льва озарилась для него большим счастьем. Это была его горячая, почти страстная дружба с Дмитрием Дьяковым. Вероятно Дмитрий, такой же чуткий и застенчивый, как Толстой, почувствовал что-то необыкновенное в робком и одновременно смелом в своих суждениях Толстом.

Вот как описывает начало этой дружбы Толстой в своей повести «Отрочество», когда Дмитрий (Нехлюдов) с удивлением заявил, что он не думал, что Толстой такой умный. «Похвала так могущественно действует не только на чувство, но и на ум человека, что под ее приятным влиянием мне показалось, что я стал гораздо умнее, и мысли одна за другой с необыкновенной быстротой набирались мне в голову... Несмотря на то, что наши рассуждения для постороннего слушателя могли показаться совершенной бессмыслицей, так они были неясны и односторонни, для нас они имели высокое значение. Души наши так хорошо были настроены на один

лад, что малейшее прикосновение к какой-нибудь струне одного находило отголосок в другом... Нам казалось, что недостает слов и времени, чтобы выразить друг другу все те мысли, которые просились наружу».[6])

Легко себе представить, с какой жадностью и восторгом Толстой отвечал на те чувства, которые выказывал ему Дмитрий. Как голодный, он не мог насытиться разговорами, обменом мыслей, которые бурлили в нем, душили его, не находя исхода. Левочка был счастлив, он был благодарен судьбе и Дмитрию за то, что он есть, за то, что он давал ему ту внутреннюю духовную пищу, которой он столько времени жаждал.

«Я сказал, что дружба моя с Дмитрием открыла мне новый взгляд на жизнь, ее цель и отношения. Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному совершенствованию, что усовершенствование это легко, возможно и вечно».

«Пришло время, когда эти мысли с такой свежей силой морального открытия пришли мне в голову, что я испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тотчас же, в ту же секунду, захотел прилагать эти мысли к жизни, с твердым намерением никогда уже не изменять им».[7])

Со временем, разумеется, первый пыл, восторженность этой новой любви ослабели: «в первой молодости мы любим только страстно и поэтому только людей совершенных», а «я слишком давно начал обсуждать его, для того чтобы не найти в нем недостатков», — писал Толстой. Но привязанность его к Дьякову и теплое чувство благодарности за то, что он дал ему в ранней юности, остались в нем на всю жизнь.

В то время в Казанском университете самым блестящим был факультет Восточных языков с кафедрами китайского, персидского, армянского, санскритского языков, на котором изучались арабский, монгольский, тюркский, манджурский и другие языки, и Лев Толстой решил, что он будет дипломатом. Он держал вступительный экзамен 5 июня 1844 года, но провалился, и снова держал вступительный экзамен 4-го августа того же года по

арабскому и турецко-татарскому языкам, и на этот раз выдержал. Он был в восторге. Наконец-то, он взрослый. У него появился собственный выезд, будочники будут отдавать ему честь, он будет всюду принят, Ст. Тома ему более не нужен и никто не может запретить ему курить. Первое время он занимался в университете очень хорошо, но веселая, светская жизнь Казани захватила его, и он стал все реже и реже посещать лекции.

Несмотря на то, что Толстой был принят в Казанское общество с распростертыми объятиями, он все же не сумел в него влиться так легко и свободно, как брат Сергей. И он постоянно завидовал брату, его умению подойти к красивым женщинам, свободно и легко обращаться с ними, ухаживать за ними, умению носить мундир и шинель с бобровым воротником, веселиться и грешить, не мучаясь потом раскаянием, словом, быть до мозга костей «ком иль фо».

«Зимний сезон 1844-45 годов, когда Толстой стал уже выезжать в свет, был очень шумен. Балы, то у губернатора, то у предводителя, то в женском Родионовском институте, частные танцовальные вечера, маскарады в дворянском собрании, благородные спектакли, живые картины, концерты — непрерывной цепью следовали один за другим, — пишет Загоскин. — Казанские старожилы помнят его (Льва Толстого) на всех балах, вечерах и великосветских собраниях, всюду приглашаемым, всюду танцующим, но далеко не светским дамским угодником, какими были другие его сверстники, студенты-аристократы; в нем всегда наблюдали какую-то странную угловатость, застенчивость... Бирюк, которого все мы звали не иначе, как философом и Левушкой, неуклюжий и постоянно стесняющийся».[8])

И между тем он с невероятным упорством стремился к светскости, к идеалу, созданному им в брате Сергее, стремился к людям, с которыми инстинктивно чувствовал себя несвободно и непросто.

«Мое любимое и главное подразделение людей в то время, о котором я пишу, — было на людей ком иль фо и на ком иль не фо па. Второй род подразделялся еще на людей собственно не ком иль фо

и простой народ. Людей ком иль фо я уважал и считал достойными иметь со мной равные отношения; вторых, притворялся, что презираю, но, в сущности, ненавидел их; третьи для меня не существовали — я их презирал совершенно.»

... «Ком иль фо было для меня не только важной заслугой, прекрасным качеством, совершенством, которого я желал достигнуть, но это было необходимое условие жизни, без которого не могло быть ни счастья, ни славы, ничего хорошего на свете».[9])

В таких преувеличенных выражениях пишет Толстой в своей повести «Юность» о своем увлечении внешней формой жизни, которой, по существу, он никогда не придавал ни малейшего значения.

Возможно, что если бы окружающая жизнь так явно не противоречила всему его разумному существу, его простым, естественным, безыскусственным потребностям, он легко и просто чувствовал бы себя в этой среде, как это и было со всеми близкими ему людьми. Но жизнь эта была противна всему его существу и он чувствовал себя чужим в светском обществе, и старался выдумать свои теории, которые бы помогли ему.

Трудно представить себе тот рой разнообразных и противоречивых мыслей и чувств, которые обуревали юношу в этот период его жизни. Он много читал. Среди любимых его книг мы встречаем «Евгения Онегина» Пушкина, «Разбойников» Шиллера, «Героя нашего времени» и «Тамань» Лермонтова, «Завоевание Мексики» Прескотта, «Сентиментальное путешествие» Стерна, всего Руссо, и... Нагорную Проповедь, Евангелие от Матфея.

Об этом периоде, который он считал переломом между отрочеством и юностью, в повести своей «Юность» он пишет:

«Основой моих мечтаний было четыре чувства: первое... любовь к н е й, к воображаемой женщине... второе... было любовь любви. Мне хотелось, чтобы все меня знали и любили... третье — было надежда на необыкновенное тщеславное счастье, — такая сильная и твердая, что она переходила в сумасшествие... Наконец, четвертое и главное чувство было — отвращение к самому себе и

раскаяние, раскаяние до такой степени слитое с надеждой на счастье, что оно не имело в себе ничего печального... Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний прошедшего, тем чище и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего и разливались радужные цвета будущего. Этот голос раскаяния и страстного желания совершенства и был главным новым ощущением в ту эпоху моего развития, и он-то положил новые начала моему взгляду на себя, на людей и на мир Божий».[10])

В Казани Толстой в первый раз влюбился.

Зинаида Молоствова училась в институте вместе с Машенькой Толстой. Вероятно, не наружность ее, хотя она была и миловидна и очень грациозна, пленила Толстого, а ее наблюдательность, острый ум, юмор и, главное, доброта, деликатность и мечтательность. Любовь эта осталась чудесным, светлым воспоминанием. В то время мечты о «ней», о воображаемой женщине, часто занимали мысли Толстого.

«В полнолуние я часто целые ночи напролет проводил сидя на своем тюфяке, вглядываясь в свет и тени, вслушиваясь в тишину и звуки, мечтая о различных предметах, преимущественно о поэтическом, сладострастном счастии, — писал он в »Юности». — И вот являлась «она» с длинной, черной косой, высокой грудью, всегда печальная и прекрасная, с обнаженными руками, с сладострастными объятиями. Она любила меня, я жертвовал для одной минуты любви своей жизнью. Но луна все выше, светлее и светлее стояла на небе, пышный блеск пруда, равномерно усиливающийся, как звук, становился всё яснее и яснее, тени становились всё чернее и чернее, свет прозрачнее и прозрачнее, и вглядываясь и вслушиваясь во все это, что-то говорило мне и что она с обнаженными руками и пылкими объятиями — еще далеко-далеко не всё счастье, что и любовь к ней — далеко-далеко еще не всё благо; и чем больше я смотрел на высокий полный месяц, тем истинная красота и благо казались мне выше и выше, чище, и ближе и ближе к Нему, к источнику всего прекрасно-

го и благого, и слезы какой-то неудовлетворенной но волнующей радости навертывались мне на глаза.

И всё я был один, и всё мне казалось, что таинственно-величавая природа, таинственно притягивающий к себе светлый круг месяца, остановившийся зачем-то на одном высоком, неопределенном месте бледно-голубого неба и вместе стоящий везде и как будто наполняющий собой все необъятное пространство, и я, ничтожный червяк, уже оскверненный всеми мелкими, бедными людскими страстями, но со всею необъятною, могучей силой воображения и любви — мне всё казалось в эти минуты, что как будто и природа, и луна, и я — мы были одно и тоже».[11])

Ничто не может дать нам лучшего понятия о Толстом, чем эти слова, выражающие всю его духовную сущность. Как бы он ни падал, ни грязнил своей души земными, человеческими страстями — зародыши его духовной силы, стремление к добру могучими порывами вздымали его кверху к новым и новым исканиям.

---

1) Воспоминания, предоставленные в распоряжение Бирюкова. Бирюков, П. И. Биография Л. Н. Толстого, т. 1, стр. 106.

2) Записки Отдела Рукописей. Вып. 4. Архив Т. А. Ергольской, стр. 62, Публ. Библ. им. Ленина. Соцэкгиз. 1938.

3) Исповедь. Соч. гр. Л. Н. Толстого, изд. 1911 года, т. 13, стр. 9.

4) Гусев, Н. Н. Жизнь Л. Н. Толстого, т. 1, стр. 107.

5) Там же, т. 1, стр. 109.
Там же: «Верьте себе. Обращение к молодежи». Сочин. Изд. 1913 г. т. 21, стр. 7.

6) «Отрочество», гл. XXVI.

7) «Юность», гл. I.

8) Загоскин, Н. П. — «Гр. Л. Н. Толстой и его студенческие годы». «Исторический Вестник», январь 1894 г.

9) «Юность», гл. XXXI.

10) «Юность», гл. XXXII.

11) «Юность», гл. XXXII.

ГЛАВА V

НЕРАДИВЫЙ СТУДЕНТ

На второй курс Толстой не перешел. Он провалился по истории и немецкому языку. Профессор, экзаменовавший его, поссорился перед этим с родственниками Льва, придрался к нему и, несмотря на то, что оба эти предмета Лев знал хорошо — не пропустил его. Толстой был глубоко возмущен этой несправедливостью и решил перейти на юридический факультет. Насколько был блестящ по составу профессоров факультет Восточных языков, настолько был слаб состав профессоров юридического факультета, где сосредоточивались наиболее слабые студенты, большинство — представители так называемой золотой молодежи.

Зимний сезон 1845-46 года был особенно оживленный в Казани. Толстой попрежнему принимал участие во всех развлечениях, занимался вяло, пропускал лекции. К профессорам, большинству из них немцам, он относился безо всякого уважения и часто, вместе с другими студентами, остро и метко издевался над ними. Но было среди них и несколько талантливых профессоров и в особенности выделялся молодой профессор Мейер, читавший историю русского права. Во время полугодичных экзаменов, в январе 1847 года, Мейер, несмотря на то, что должен был поставить Толстому плохую отметку, обратил на него внимание и заинтересовался им; он спросил одного из своих слушателей, знает ли он Толстого? Студент ответил, что знаком с ним. «Сегодня его экзаменовал, — продолжал профессор, — и заметил, что у него вовсе нет охоты серьезно заниматься, а это жаль; у него такие выразительные черты лица и такие умные глаза, что я убежден, что при доброй воле и самостоятельности, он мог бы сделаться замечательным человеком».[1])

Повидимому, Мейер решил заинтересовать Толстого и заставить его заниматься. Он дал задание студентам, в том числе и Толстому, провести сравнение «наказа» Екатерины с «Духом законов» Монтескье. И Толстой впервые серьезно увлекся научной работой. Молодой, талантливый профессор хотел привлечь молодого Толстого к научной работе и тем самым удержать его в университете. Но, как всегда с Толстым, случилось то, чего профессор не мог предвидеть: самостоятельная работа над «Наказом» и «Духом законов» убедила его в том, что вне университета он мог бы гораздо свободнее заниматься тем, что его интересует и не быть связанным теми предметами, которые задавали его профессора.

«Помню, как на втором курсе меня заинтересовала теория права, и я не для экзамена только начал изучать ее, думая, что я найду в ней объяснение того, что мне казалось странным и неясным в устройстве жизни людей. Но помню, что чем больше я вникал тогда в смысл теории права, тем все более и более убеждался, что или есть что-то неладное в этой науке, или я не в силах понять ее», — писал Толстой.[2])

Как-то раз Толстой, вместе с своим однокурсником, студентом Назарьевым, попал в карцер. Толстому, видимо, хотелось говорить и он всю ночь рассуждал о тщете наук, преподаваемых в университете.

«История, — рубил он с плеча, — это ничто иное, как собрание басен, бесполезных мелочей, пересыпанных массой ненужных цифр и собственных имен... А как пишется история? Всё пригоняется к известной мерке, измышленной историком. Грозный царь, о котором в настоящее время читает профессор, вдруг из добродетельного и мудрого превращается в бессмысленного, свирепого тирана. Как и почему, об этом уж не спрашивайте...

... А между тем, — заключил Толстой, — мы с вами в праве ожидать, что выйдем из этого храма полезными, знающими людьми. А что вынесем мы из этого университета? Подумайте и отвечайте по совести. Что вынесем мы из этого святилища, возвратившись восвояси, в деревню? На что будем пригодны?»...

Увлеченный рассуждениями о «храме» наук, Толстой даже не заметил, как утомил своего, повидимому, несогласного с ним собеседника: «Толстой нахлобучил фуражку на глаза, завернулся в шинель с бобрами, — заключает Назарьев свой рассказ, — слегка кивнул мне головой, еще раз ругнул храм и скрылся в сопровождении вахмистра. Я тоже поспешил выбраться и вздохнул во всю грудь, отделавшись от своего собеседника и очутившись на морозе, среди безлюдной, только-только просыпавшейся улицы. Отяжелевшая, точно после угара голова была переполнена никогда еще не забиравшимися в нее сомнениями и вопросами, наведенными странным, решительно непонятным для меня товарищем по заключению».[3])

Толстой был «странным» и «непонятным» для всех тех рядовых людей, с которыми он встречался.

Товарищи настолько не понимали его, что когда Толстой написал серьезнейшую философскую статью о симметрии и один из товарищей брата, зашедший к ним с бутылками в кармане, просмотрел эту статью, лежавшую на столе и спросил, кто написал ее и Лев сказал, что он, молодой человек рассмеялся и не поверил ему.

С осени 46-го года братья жили на отдельной квартире. Братья были дружны, хотя и совершенно различны. Повидимому, больше всех в стороне держался Митенька.

«В Казани начались его странности, — пишет о нем Толстой в своих воспоминаниях. — Учился он хорошо, ровно, писал стихи очень легко. Мало общался с нами, всегда был спокоен, серьезен и задумчив... Мы, главное Сережа, водили знакомство с аристократическими товарищами и молодыми людьми; Митенька, напротив, из всех товарищей выбрал жалкого, бедного, оборванного студента, Митенька дружил с несчастной, забитой девушкой, жившей у Юшковых, у которой была какая-то странная болезнь на лице, оно было такое распухшее, что казалось, что его искусали пчелы. От нее всегда дурно пахло, говорила она с трудом, так как, повидимому, и во рту у нее была опухоль. Она была настолько физи-

чески отталкивающа, что все ее с трудом переносили. Митенька же ходил к ней, слушал ее рассказы, разговаривал с ней и читал ей. Эти добрые чувства к обиженным, обездоленным, были следствием того христианско-православного настроения, которым был захвачен брат Дмитрий, — претворение на деле учения Христа».[4])

С 16-ти летнего возраста в душу Льва стали закрадываться сомнения в истинности православной веры.

«Сообщенное мне с детства вероучение исчезло во мне, — пишет он в «Исповеди». — С 15-ти летнего возраста я стал читать философские сочинения... мое отречение от вероучения стало сознательным. Я с 16-ти лет перестал становиться на молитву и перестал, по собственному побуждению, ходить в церковь и говеть. Я не верил в то, что мне было сообщено в детстве, но я верил во что-то. Во что я верил, я никак не мог бы сказать. Верил я и в Бога, или скорее, я не отрицал Бога, но какого Бога, я не мог бы сказать. Не отрицал я и Христа и Его учение, но в чем было Его учение, я тоже не мог бы сказать.

Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вера моя — то, что кроме животных инстинктов двигало моей жизнью, — единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование. Но в чем было совершенствование и какая была цель его, я бы не мог сказать. Я старался совершенствовать свою волю, составлять себе правила, которым старался следовать; совершенствовал себя физически, всякими упражнениями изощряя силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению. И всё это я считал совершенствованием. Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование, но скоро оно подменилось совершенствованием вообще, т. е. желанием быть лучше не перед самим собою или перед Богом, а желанием быть лучше перед людьми. И скоро это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, т. е. славнее, важнее, богаче других».[5])

Возможно, что в этом беспощадном анализе, бичевании самого себя было сильное влияние Руссо, которым Толстой в то время зачитывался, главным образом его «Исповеди». Постоянно, всю свою жизнь, идя по пути самосовершенствования, Толстой безжалостно бичевал самого себя. Он не любил вспоминать о своей юности и когда близкие расспрашивали его о его молодости, он морщился от внутренней боли и неохотно отвечал на вопросы. Естественную черту, свойственную почти каждому человеку, в особенности же ребенку или юноше, который, как Лев, был с детства лишен родителей и всякого морального руководства — желание выдвинуться, проявить незаурядный ум свой и талант, которые он несомненно ощущал в себе — он считал величайшим недостатком. А между тем, свойство это — честолюбие, присущее почти всем без исключения людям, часто поощряемое, особенно в детях, Толстой называл тщеславием и всю жизнь боролся с этим своим грехом.

Но больше всего Толстой мучился от обуревавших его страстей и от своих падений. Здоровый, сильный, необычайно страстный, он то и дело впадал в этот грех, возмущался своей собственной гадостью и жестоко бичевал себя. И точно сам себя ограждая от женщин и того соблазна, который они представляли для него, он пишет в своем дневнике:

«Смотри на общество женщин, как на необходимую неприятность жизни общественной и, сколько можно, удаляйся от них. В самом деле, от кого получаем мы сластолюбие, изнеженность, легкомыслие и множество других пороков, как не от женщин. Кто виноват в том, что мы лишаемся врожденных в нас чувств: смелости, твердости, рассудительности, справедливости и других, как не женщины. Женщина восприимчивее мужчины, поэтому в века добродетели женщины были лучше нас; в теперешний же развратный, порочный век, они хуже нас».[6])

Всё больше и больше назревает в нем мысль об оставлении университета: «Причин выхода моего из университета было две, — писал он, — 1) что брат Сер-

гей кончил курс и уезжал; 2) как это ни странно сказать, работа с «Наказом» и «Духом законов» открыла мне новую область самостоятельного труда, а университет со своими требованиями не только не содействовал такой работе, но мешал ей».[7])

В то время юридические науки всё меньше и меньше интересовали его и он увлекается философией. «Философия всегда занимала меня, я любил следить за этим напряженным и стройным ходом мыслей, при которых все сложные явления мира сводились — их разнообразия — к единому».[8]) Толстой читал Гегеля, Вольтера, но главное влияние на ход его мыслей, несомненно, имел Руссо. В 1905 году Толстой писал: «Руссо был моим учителем с 15 лет. В моей жизни было два великих и благотворных влияния: Руссо и Евангелие. Руссо не стареется. Совсем недавно мне случилось перечесть некоторые из его произведений и я испытал то же самое чувство возвышения и удивления, которое я испытал, читая его в первой молодости».[9])

Философские мысли настолько захватили его, что он сам делал попытки изобразить свои мысли на бумаге в виде комментариев к «Дискур» Руссо: «О цели философии». Толстому было в то время 18 лет.

Сестра Льва Николаевича, Мария Николаевна Толстая, очень забавно, со свойственным ей юмором, рассказывала о том времени, когда Лев приезжал в Ясную Поляну на каникулы, во время своего увлечения философией.

«Левочка, вероятно, вообразил себя Диогеном, а, может быть, под влиянием Руссо, желая жить простой, первобытной жизнью, совсем опростился, куда только девалось его стремление быть ком иль фо. Он сшил себе какой-то ужасный, длинный балахон, в котором ночью спал, а днем ходил и чтобы полы не мешали ему, он пришил к ним пуговицы, которые пристегивал во время ходьбы. Целыми днями он бродил по лесам, и когда уставал, отдыхал, подкладывая под голову толстые томы философских книг: Вольтера, Руссо или Гегеля. Один раз тетенька Татьяна Александровна послала

за ним, когда приехали гости, и когда он вышел в таком виде в гостиную к гостям, в своем парусиновом балахоне с туфлями на босу ногу, тетенька пришла в дикий ужас, а Левочка спокойно стал доказывать тщету всяких условностей и необходимость жить простой, естественной жизнью».[10])

Неудовлетворенность ли светской, пустой жизнью Казанского общества, еще бо́льшее одиночество, которое он ожидал после отъезда его братьев из Казани, неудовлетворение теми занятиями, которые он получал в университете, стремление ли к простой, естественной жизни в Ясной Поляне, а, может быть, вследствие совокупности всех этих причин, Толстой, не дожидаясь экзаменов, в то время как братья сдавали свои выпускные экзамены, уехал в Ясную Поляну.

«Перемена в жизни должна произойти, — пишет он в дневнике от 17 апреля 1847 года, — но нужно, чтобы эта перемена не была произведением внешних обстоятельств, но произведением души».

«Цель жизни есть сознательное стремление к всестороннему развитию всего существующего».[11])

Но, покидая университет, Толстой совершенно не был намерен оставаться необразованным человеком. Наоборот, со смелостью и предприимчивостью юности он наметил себе грандиозную программу:

«1) Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в Университете. 2) Изучить практическую медицину и часть теоретической. 3) Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский. 4) Изучить сельское хозяйство как теоретически, так и практически. 5) Изучить историю, географию и статистику. 6) Изучить математику, гимназический курс. 7) Написать диссертацию. 8) Достигнуть высшей степени совершенства в музыке и живописи. 9) Написать правила и 10) Получить некоторые познания в естественных науках. 11) Составить сочинения из всех предметов, которые буду изучать». [12])

Программа, казалось бы, невыполнимая. Но, за исключением юридических наук, живописи и медицины, во всех остальных областях он достиг серьезных знаний, никогда, до самых последних своих дней, не переставая самообразовываться во всех возможных областях.

---

[1]) Гусев, Н. Н. Жизнь Л. Н. Толстого. Т. 1, стр. 122.
[2]) Письмо студенту о праве (1909 г.). Гусев, Н. Н. «Жизнь Л. Н. Толстого», т. 1, стр. 121.
[3]) Назарьев, В. Н. «Жизнь и люди былого времени». «Историч. Вестн.» Ноябрь, 1890.
[4]) Бирюков, П. И. «Биография Л. Н. Толстого». Т. 1, стр. 142, 146.
[5]) «Исповедь». Сочинения гр. Л. Н. Толстого, т. 13, стр. 8. Изд. 1911 г.
[6]) Полное Собр. Соч. Госиздат. т. 46, стр. 82.
[7]) Бирюков, П. И. «Биогр. Л. Н. Толстого», т. 1, стр. 139.
[8]) Гусев, Н. Н. «Жизнь Л. Н. Толстого», т. 1, стр. 135.
[9]) Там же, т. 1, стр. 136.
[10]) Там же, т. 1, стр. 138.
[11]) Полн. Собр. Соч. Госизд., т. 46, стр. 80.
[12]) Там же, стр. 80.

ГЛАВА VI

ПОМЕЩИК

«Я принял решение, — пишет Толстой в своей повести «Утро помещика», где, несомненно, описывает самого себя, — от которого должна зависеть участь всей моей жизни. Я выхожу из университета, чтобы посвятить себя жизни в деревне, потому что чувствую, что рожден для нее... Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастии этих семисот человек, за которых я должен буду отвечать Богу? Не грех ли покидать их на произвол грубых старост и управляющих из-за планов наслаждения или честолюбия? И зачем искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается такая блестящая и ближайшая обязанность?»[1])

Откуда пришла ему эта мысль?

До этого Толстой почти не задумывался над положением крестьянства, среди которого вырос и в чьей среде с детства привык многих любить, а другими и любовался... Одно из событий, которое много содействовало тому уважению и любви к народу, которое смолоду начал испытывать Лев Николаевич, он описывает сам:

«У отца была пара своего завода вороных, очень горячих лошадей. Кучером был Митька Копылов. Он же был стремянным отца. Ловкий ездок, охотник и прекрасный кучер и, главное, неоценимый форейтор. Неоценимый форейтор потому, что при горячих лошадях мальчик не мог бы управляться с ними, старый же человек был тяжел и неприличен для форейтера, так что Митька соединял качества, нужные для форейтора. Качества эти были: малый рост, легкость, сила и ловкость. Помню раз отцу подали фаэтон, и лошади подхватили, пронесясь из ворот. Кто-то крикнул: «Понесли графские лошади!» С Пашенькой сделалось дурно, тетушки бросились к бабушке успокаивать ее, но

оказалось, что отец еще не садился, а Митька ловко удержал лошадей и вернулся во двор.

Вот этот самый Митька, после уменьшения расходов, был отпущен на оброк. Богатые купцы наперебой приглашали его к себе и взяли бы на большое жалованние, так как Дмитрий уже щеголял в шелковых рубашках и бархатных поддевках. Случилось, что брат его по очереди должен быть отдан в солдаты, а отец его, уже старый, вызвал его к себе на барщинскую работу. И этот маленький ростом щеголь Дмитрий через несколько месяцев преобразился в серого мужика в лаптях, правящего барщину и обрабатывающего свои два надела, косящего, пашущего и вообще несущего всё тяжелое тягло того времени. И всё это без малейшего ропота, с сознанием, что это так должно быть и не может быть иначе».[2])

Событие это в ту минуту произвело впечатление на мальчика но, вероятно, скоро забылось. В самой ранней юности он писал о том, что простой народ не существует для него.

В 1847 году появился рассказ Григоровича «Антон Горемыка» и первый рассказ Тургенева из «Записок охотника». Оба эти рассказа произвели сильное впечатление на юношу. Впоследствие Толстой говорил, что «Записки охотника» — лучшее произведение, которое когда-либо написал Тургенев.

«Помню умиление и восторг, — писал он Григоровичу осенью 1893 года, по случаю 50-ти летнего юбилея автора, — произведенный на меня, не смевшего верить себе, «Антоном Горемыкой», бывшим для меня радостным открытием того, что русского мужика — нашего кормильца и — хочется сказать — учителя, можно и должно описывать не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно писать во весь рост, не только с любовью, но с увлечением и даже трепетом».[3])

Как иногда случайно запавшая искра долго тлеет и вдруг неожиданно, под влиянием дуновенья ветра, разгорается ярким пламенем, так искра заброшенная в душу Толстого, вдруг разгорелась и он почувствовал, что все семьсот человек, живущие в Ясной Поляне — мужи-

ки — не только крепостные, которые исполняют барщину и отпускаются на оброк, а что это живые, думающие, чувствующие, страдающие и радующиеся люди. И как только он это понял, он должен был немедленно что-то делать, как-то помочь...

В таком повышенном настроении он приехал в свое имение Ясную Поляну.

Бурлили разлившиеся реки, набухали и кое-где лопались почки деревьев, над оживающими зеленями реяли жаворонки, наполняя воздух радостным пением. Была весна, весна которая всегда так вдохновляла Толстого, открывая ему какие-то фантастические, ему одному понятные горизонты, возбуждая в нем сверхчеловеческую энергию, смутные желания, стремления.

Его встретили любимая им тетушка Татьяна Александровна, привычные, старые служащие, дворовые — крепостные.

Намерения Толстого помогать крестьянам были для тетеньки непонятны, это были опять какие-то странности, чудачества ее любимца Левочки. А Левочка бодро шагал по широкой, грязной улице деревни Ясной Поляны, с обеих сторон которой тянулись деревянные избы, с соломенными, побуревшими от дождя и снега крышами, где на заваленках грелись на солнце старики. Он заходил в избы, разговаривал с мужиками. Крестьяне называли его «Ваше Сиятельство», и не понимали почему к ним пришел барин, и что ему нужно, белоголовые ребята, в посконных, домотканных рубашенках, в страхе жались к матерям. Везде нужда, грязь, захудалый скот в плетневых сараях, утопающий в навозе.

Толстой никогда не представлял себе той ужасающей картины бедности и темноты, в которой жили его крепостные. Он понял, что помочь им нелегко. Главное же, что поразило его — это недоверие крестьян. Некоторые смотрели на него, как на чудака, с которого можно было что-то сорвать, другие видели в нем барина, который хотел что-то сделать для собственной выгоды, в некоторых из них он чувствовал их явное превосходство над его молодостью, неопытностью.

Люди его круга, тетенька, управляющий считали крепостных людьми низшего разряда, созданными только для того, чтобы работать на помещиков.

А Толстой был слишком молод, чтобы понять, что только изменение основных законов — раскрепощение крестьян — могло искоренить бедность, нужду, подавленность и темноту крестьянства, которые так сильно его встревожили. Мысль о том, чтобы отпустить крестьян на волю пришла ему лишь позднее.

Наступило горькое разочарование.

«Боже мой, Боже мой, неужели пустяки были все мои мечты о цели и обязанностях моей жизни? Отчего мне тяжело, грустно как будто я недоволен собой, тогда как я воображал, что раз найдя эту дорогу, я постоянно буду испытывать ту полноту нравственного удовлетворенного чувства, которую я испытал в то время, когда мне в первый раз пришли эти мысли... Я недоволен, потому что я здесь не знаю счастья, а желаю, страстно желаю счастья. Я не испытал наслаждений и уже отрезал от себя всё, что дает их. Зачем? За что? Кому от этого стало легче?.. Разве богаче стали мои мужики, образовались или развились нравственно? Нисколько. Им стало не лучше, а мне с каждым днем становится тяжелее. Если бы я видел успех в своем предприятии, если бы я видел благодарность, но нет, я вижу ложную рутину, порок, недоверие, беспомощность. Я даром трачу лучшие годы жизни».

Так пишет Толстой, заканчивая свою повесть «Утро помещика».

Жажда личного счастья, веселья охватили его. Он бросил свою работу в Ясной Поляне, свои несбывшиеся благие намерения и укатил в Москву.

«Я жил очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели... жил так... просто потому, что такого рода жизнь мне нравилась», — писал он. Дневника в ту пору Толстой не вел, ему было некогда, он с головой ушел, как он впоследствии сам говорил, в «беспутную городскую жизнь кутежей, пьянства, развратной, светской жизни».

Зиму 49 года Толстой провел в Петербурге. «Неопределенная жажда знанья снова увлекла меня вдаль», — говорил он. Он решил бросить ни к чему не ведущие философские размышления, выдержать кандидатский экзамен при университете и начать служить, как все порядочные молодые люди его круга.

«Я знаю — писал он брату Сергею, — что ты никак не поверишь, чтобы я переменился, скажешь: «это уже в двадцатый раз, и всё из тебя пути нет», «самый пустяшный малый», — нет, я теперь совсем иначе переменился, чем прежде менялся; прежде я скажу себе: «дай-ка я переменюсь», а теперь я вижу, что я переменился и говорю: «я переменился».[4])

Но перемениться он не мог. Не мог изучать юридические науки, еще менее того мог сделаться исправным чиновником, 20-го числа получающим жалование и исправно посещающим контору. Вместо этого, он кутил, играл в карты, в конце концов провалился на экзаменах и в полном отчаянии писал покаянное письмо своему брату Сергею:

«Сережа! Ты, я думаю, уже говоришь, что я «самый пустяшный малый», и говоришь правду. Бог знает, что я наделал!». И он умоляет брата прислать ему как можно скорее 3.500 денег, а то «сверх денег потеряю и репутацию». «Я знаю, ты будешь ахать, но что же делать. Глупость делают раз в жизни. Надо было мне поплатиться за свою свободу (некому было сечь, это главное несчастье) и философию, вот я и поплатился... Бог даст я исправлюсь и сделаюсь когда-нибудь порядочным человеком».[5])

Что было делать? Идти в юнкера и присоединиться к венгерскому походу? Служить? Ехать в Ясную Поляну? Толстой избрал последнее и, прихватив с собой пьяницу музыканта Рудольфа, поразившего его своим необычайным талантом, Толстой уехал в Ясную Поляну. Он записался в Туле на службу в канцелярию Тульского Дворянского Собрания, продолжая вести тот же образ жизни, проводя время в кутежах с цыганами, играя в карты и находя отдых и успокоение только в Ясной Поляне.

«Помню осенние и зимние длинные вечера, — писал он в своих «Воспоминаниях», — и эти вечера остались для меня чудесным воспоминанием»... «После дурной жизни в Туле, у соседей, с картами, цыганами, охотой, глупым тщеславием, вернешься домой, придешь к ней (тетеньке), по старой привычке поцелуешься с ней рука в руку, я — ее милую, энергическую, — она — мою грязную порочную руку... и сядешь в покойное кресло. Она знает всё, что я делал, жалеет об этом, но никогда не упрекнет, всегда с той же ровной лаской, с любовью».[6])

В этот очень дурной для него, как он говорил, период времени, он находил некоторое успокоение в музыке. Талантливый немец Рудольф вдохновил его. Он томился... Художественная натура его искала проявления и он решил, что может сделаться великим музыкантом-композитором. Он часами играл на рояле, вдохновляясь сочетаниями звуков, пытаясь даже сочинить свою теорию под заглавием: «Основные начала музыки и правила для изучения оной».

Музыка всегда сильно действовала на Толстого. Моцарт, Гайдн, Шуберт, Шопен были любимыми его композиторами. Но любовь к классической музыке не мешала ему любить и народную и цыганскую песню.

В то время в Туле был прекрасный хор цыган и Лев, вместе со своим братом Сергеем, были у них завсегдатаями. Большинство русской аристократической молодежи увлекались в то время цыганами. К ним влекла их бесшабашная, разгульная жизнь, музыкальность, доброта и ласковая простота их женщин, причем, как ни странно, была какая-то патриархальность в укладе их жизни, строгость и чистота нравов. Редко случалось, чтобы девушка или женщина соглашалась жить с мужчиной вне брака. Собирались цыгане обычно на чьей-нибудь квартире, в предместьях Тулы. Составлялся хор. Женщины, в разноцветных платьях, ярких повязках, с перекинутыми цветными шалями через одно плечо, рассаживались полукругом впереди, за ними выстраивались стройные, смуглые човалы с гитарами, в разноцветных шелковых рубахах и плисовых безрукавках. Перебирая

струны, стоя впереди хора, дирижер вдруг едва заметно поводил гитарой и тихо, чуть слышно, одним дружным вздохом поднималась песня; громче и громче, быстрее, резче звенели богатые, могучие аккорды гитаристов. Темп все ускорялся, гости в такт притоптывали ногами; быстрее, быстрее, громче, не теряя ритма, гитаристы уже всей кистью били по струнам, и вдруг спокойно выплывали цыганки, одна, другая. Они шли то простирая к кому-то руки, то падая вперед, то гордо откинув голову снова опрокидывались назад, дрожа плечами и отбивая чечетку. Сверкали зубы, тряслись на шее золотые монисты. Кричали и гикали човалы, какими-то гортанными отрывистыми восклицаниями поощряли сами себя плясуньи, кричали гости... И вдруг из задних рядов вылетал плясун-човал. Он бил себя руками о колени, бил о пол, как сатана кружился между двумя женщинами, метался между ними в бешеной чечотке, темп нарастал, гиканье становилось громче, гости кричали, возбуждение доходило до крайних пределов. Последний аккорд гитар, плясуны замирали... наступала тишина.

Утирая пот, дирижер-цыган становился перед маленькой, смуглой, с кротким, милым выражением лица красавицей цыганкой Машей. Маша пела... Она пела о широкой степи, о потухающей заре, о лихих степных лошадях, о любви. Низкий голос ее проникал в самую душу, сквозь затуманенные вином и шампанским головы бродили неясные мечты о прекрасном, недостижимом...

У Маши много поклонников, но она любит одного — красавца Сергея Николаевича Толстого. Маша полюбила его горячо, крепко, полюбила в первый раз и на всю жизнь. И светский, блестящий молодой человек ради Маши сломал всю свою будущность. Он привязался к ней, он не мог бросить ее и впоследствии женился на ней.

Вторым увлечением Льва Толстого в то время была охота. Осенью, с борзыми в отъезжее поле, где он проводил целые дни, или же с собакой и ружьем, в высоких сапогах, шлепал по болотам за дикими утками, бекасами и дупелями, весной стоя на опушке Заказа или Засеки, наблюдая как сквозь еще голые деревья прята-

лось весеннее робкое солнце, он с замираньем сердца ждал знакомого хорканья вальдшнепов.

Записей в дневнике он почти не делал. 8-го декабря 1850 года он записывает: «Большой переворот сделала во мне в это время спокойная жизнь в деревне; прежняя глупость и необходимость заниматься своими делами принесли свои плоды. Перестал я делать испанские замки и планы, для исполнения которых не достанет никаких сил человеческих. Главное же и самое благоприятное для меня убеждение — то, что я не надеюсь больше одним своим рассудком дойти до чего-либо, и не презираю больше форм, принятых всеми людьми».

И как бы искусственно, в противовес своей широкой, художественной, творческой натуре, он втискивает себя в эти «формы, принятые всеми людьми», и решение его немедленно же отражается в записях его дневника: «Ни малейшей неприятности или колкости не пропускать никому, не отплативши вдвое»... «Попасть в круг игроков и при деньгах — играть; 1) попасть в высокий свет и при известных условиях жениться; 2) найти место, выгодное для службы».

Но правила эти были написаны только для того, чтобы немедленно же их нарушить.

«Приехал я в Москву с тремя целями», пишет он в дневнике, «1) играть, 2) жениться, 3) получить место».

«Первое скверно и низко и я, слава Богу, осмотрев положение своих дел и отрешившись от предрассудков, решился поправить и привести в порядок дела продажею части имений. Второе — благодаря умным советам брата Николая, оставил до тех пор, пока принудит к тому или любовь, или рассудок, или даже судьба, которой нельзя во всем противодействовать. Последнее невозможно до двух лет службы в губернии, — да и по правде сказать не хочется много других вещей... Поэтому погожу, чтобы сама судьба поставила в такое положение. Много слабостей имел я в то время. Главное — мало обращал внимания на правила нравственные, завлекаясь правилами, нужными для успеха».[7])

В биографии Франклина он читал, что Веньямин Франклин вел особую записную книжку, где он записы-

вал все свои слабости, которые надо исправить, и он немедленно заводит себе такой дневник. К сожалению, записи эти не сохранились.

Все эти колебания, падения и взлеты привели его к новой вспышке религиозного, покаянного настроения, которое он описал в отрывке «История вчерашнего дня».

«В Франклиновском журнале у меня по графам расписаны слабости: лень, ложь, обжорство, нерешительность, желание себя выказать, сладострастие, мало фиертэ и т. д., все вот такие мелкие страстишки. В этих группах я из дневника выписываю свои преступления и отмечаю крестиками по графам», — писал он в дневнике.

В Москве Толстой поехал к Иверской, отслужил молебен, говел.

«Ужасное раскаяние; никогда я его не чувствовал так сильно... Я стал религиозен, еще более в деревне», — писал он.

Желая перевернуть новую страницу во всей своей жизни, Лев естественно очень обрадовался предложению старшего брата Николая поехать с ним на Кавказ.

---

1) «Утро помещика», Полн. собр. соч., Госиздат. Т. 4, стр. 123.
2) Бирюков, П. И., «Биография Л. Н. Толстого», т. 1, стр. 117-118.
3) Гусев Н. Н., «Жизнь Л. Н. Толстого», т. 1, стр. 150.
4) Полн. собр. соч. Госиздат. Т. 59, стр. 28.
5) Там же, т. 59, стр. 44.
6) Из вставок Л. Н. в его «Краткий биографический очерк», составленный его женой. Гусев, «Жизнь Л. Н. Толстого», т. 1, стр. 156.
7) Полн. собр. соч. Госиздат., т. 46, стр. 52.

ГЛАВА VII

КАВКАЗ

Может быть, старший брат Николай чутким умом своим понял, как нужна была перемена Льву. Он видел, что Лев не спокоен, нерешителен и не находя себе дела, которое могло бы увлечь его, мечется между Москвой, Тулой и Ясной Поляной и запутывается всё больше и больше.

Николай поступил на военную службу, его переводили на Кавказ и он предложил Льву поехать с ним.

Кавказ! Не даром и Пушкин и Лермонтов воспели его во многих своих стихотворениях и поэмах.

Кавказ подо мной. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины:
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно, со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.
Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады;
Там, ниже, мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.
А там уж и люди гнездятся в горах
И ползают овцы по злачным стремнинам,
И пастырь нисходит к веселым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых брегах,
И нищий наездник таится в ущелье,
Где Терек играет в свирепом веселье;
Играет и воет, как зверь молодой,
Завидевший пищу из клетки железной,
И бьется о берег в вражде бесполезной,

И лижет утесы голодной волной...
Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады:
Теснят его грозно немые громады.

Так представлял себе Пушкин Кавказ в его величавом, разнообразном великолепии: с его голыми утесами, мрачными ущельями, снеговыми неприступными вершинами и ледниковыми полями, неудержимыми, бурными водопадами; с его мягкими, зелеными склонами гор, фруктовыми садами, мирными аулами, населенными полудикими племенами, живущими своей особой, примитивной жизнью, со своими обычаями и понятиями о благородстве — жестокими, независимыми и мстительными.

Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я снова посвящаю стих небрежный,
Как сына ты его благослови
И осени вершиной белоснежной.
От ранних лет кипит в моей крови
Твой жар и бурь твоих порыв мятежный;
На севере, в стране тебе чужой,
Я сердцем твой, всегда и всюду твой.

Это говорит Лермонтов, творчество которого расцвело на Кавказе.

Не удивительно поэтому, что и для Толстого Кавказ явился колыбелью как первых живых «потоков» вдохновенья, так и первых «грозных обвалов» мыслей и чувств.

В девятнадцатом столетии южная часть Кавказа, Грузия, которая до этого времени управлялась самостоятельно своим царем, перешла в подданство России. Другие же независимые горные племена, между Грузией и Россией, держались своей самостоятельности и в продолжение полувека отчаянно защищались от русских. Шла непрерывная борьба между горцами и русскими, главным образом казаками, которыми, для защиты от горцев, были заселены левый берег Терека и правый берег Кубани.

Сильные и ловкие горцы знали каждую тропинку, как кошки умели карабкаться по крутым горам. Внезапно появляясь на своих крепких, небольших лошадях, они нападали на станицы, грабили жителей, вырезывали население, а иногда брали в плен и мужчин и женщин, и уводили их в горы.

Толстой был счастлив, что он едет. Он радовался тому, что ехал со своим любимым братом Николаем, что была весна, что он молод, а главное радовался тому, что начиналось нечто новое, захватывающе интересное, такое, от чего изменится вся его жизнь и он избавится от своих пороков и найдет самого себя.

Описывая своего героя в «Казаках», не о себе ли писал Толстой:

«Для него не было никаких — ни физических, ни моральных оков; он всё мог сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал. Но, ничего не признавая, он не только не был мрачным, скучающим и резонирующим юношей, а напротив увлекался постоянно. Он решил, что любви нет, а всякий раз присутствие молодой и красивой женщины заставляло его замирать. Он давно знал, что почести и звание — вздор, но чувствовал невольное удовольствие, когда на бале подходил к нему князь Сергий и говорил ласковые речи. Но отдавался он всем своим увлечениям лишь настолько, насколько они не связывали его. Как только, отдавшись одному стремлению, он начинал чувствовать приближение труда и борьбы, мелочной борьбы с жизнью, он инстинктивно торопился оторваться от чувства или дела и восстановить свою свободу. Так он начинал светскую жизнь, службу, хозяйство, музыку, которой он одно время думал посвятить себя, и даже любовь к женщинам, в которую он не верил. Он раздумывал над тем, куда положить всю эту силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке, — на искусство ли, на науку ли, на любовь к женщине, или на практическую деятельность, — не силу ума, сердца, образования, а тот неповторяющийся порыв, ту на один раз данную чело-

веку власть сделать из себя, что он хочет, и как ему кажется, и из всего мира всё, что ему хочется»...

... «Уезжая из Москвы, он находился в том счастливом, молодом настроении духа, когда, сознав прежние ошибки, юноша вдруг скажет себе, что всё это было не то, что всё прежнее было случайно и незначительно, что он прежде не хотел жить х о р о ш е н ь к о, но что теперь, с выездом его из Москвы, начинается новая жизнь, в которой не будет больше тех ошибок, не будет раскаяния, а наверное будет одно счастье».

Всё было чудесно: он ехал с Николенькой, которого он уважал за его глубокую порядочность, презрение к мнению людей, чуткость; чудесный был и маршрут, придуманный Николенькой — на лошадях до Саратова, оттуда, погрузивши тарантас на косовушку, вниз по Волге; чудесна была и полноводная после весеннего разлива, красавица Волга.

По дороге братья остановились в Казани. В том настроении, в котором находился Толстой, неудивительно было, что потребность любви била в нем ключом и в нем снова разгорелась любовь к Зинаиде Молоствовой, за которой он ухаживал, когда был студентом в Казани.

«Любовь и религия — вот два чувства чистые, высокие, — пишет он в дневнике от 8 июля 1851 г. — Не знаю, что называют любовью. Ежели любовь то, что я про нее читал и слышал, то я ее никогда не испытывал. Я видал прежде Зинаиду институточкой, она мне нравилась, но я мало знал ее. Я жил в Казани неделю. Ежели бы у меня спросили, зачем я жил в Казани, что мне было так приятно? Отчего я был так счастлив? Я не сказал бы, что это потому, что я влюблен. Я не знал этого. Мне кажется, что это-то незнание и есть главная черта любви и составляет всю прелесть ее. Как морально легко мне было в это время! Я не чувствовал этой тяжести всех мелочных страстей, которая портит все наслаждения жизни. Я ни слова не сказал ей о любви, но я так уверен, что она знает мои чувства, что ежели она меня любит, то я приписываю это только тому, что она меня поняла».

Но любовь к Зинаиде была лишь мимолетным чувством. Скоро, под новыми впечатлениями, он забывает о ней: «Зинаида выходит замуж, — пишет он год спустя. — Мне досадно, и еще более того, что это было встревожило меня».

Впоследствии Лев говорил о том, что никогда не забудет этой поездки вниз по Волге. Медленно, встречая на своем пути важно и спокойно скользящие по реке суда, тянущиеся вверх по течению нагруженные барки, которые с песнями тащили сильные, обветренные люди, плыли братья вниз по Волге на своей примитивной косовушке, любуясь берегами могучей реки, перелесками, полями, пологими, сыпучими берегами, едва виднеющимися иногда в дымке утреннего тумана. В Астрахани выгрузились и до Старогладковской станицы продолжали путь на лошадях.

Когда, в первый раз, Толстой увидал горы, они потрясли его:

«Утро было совершенно ясное, — пишет он в «Казаках», — вдруг он увидал шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту — чисто белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между и горами и небом, всю громадность гор и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался»...

Общество офицеров, в которое попали братья Толстые, было несомненно гораздо ниже их и по социальному положению и по воспитанию. «Признаюсь, — писал он тетеньке Татьяне Александровне в Ясную Поляну, — сначала многое в этом обществе коробило меня, но я привык, хотя и не сдружился с этими господами. Я нашел счастливое средство общения, в котором нет ни гордости, ни запанибратства. Впрочем, в этом мне оставалось только следовать примеру Николеньки».[1])

Его тянули к себе примитивные, здоровые, простые люди. Они не коробили его своей банальностью, искусственностью. «Люди живут, — пишет он в «Казаках», — как живет природа: умирают, родятся, совокупляются, опять родятся, дерутся, пьют, едят, радуются и опять

умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет...»

Куда девались убеждения Толстого о необходимости быть ком иль фо? О том, что человек без перчаток «дрянь»? Он впадает в другую крайность.

«Надо раз испытать жизнь во всей ее безыскусственной красоте. Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу перед собой — вечные, неприступные снега гор и величавую женщину в той первобытной красоте, в которой должна была выйти первая женщина из рук своего Творца».

Женщины, как всегда, тянули его к себе, нарушая его душевный покой, мешая ему жить и работать. Как глубоко он привязался к красавице-казачке, с которой он жил, — неизвестно. Но смутные мысли об опрощении, женитьбе на казачке — бродили в его голове. Женщины здесь, на Кавказе, как старый друг его казак Епишка, или лихой джигит приятель его Садо, и лошади, и дикие кабаны, фазаны, горный бодрящий воздух, быстрые мутные реки — сливались в одно целое: «Я верил, что могу полюбить эту женщину. Я любовался ею, как красотой гор и неба, и не мог не любоваться ею, потому что она прекрасна, как они. Потом я почувствовал, что созерцание этой красоты сделалось необходимостью в моей жизни, и я стал спрашивать себя: люблю ли я ее...»

Не свои ли чувства описывает в «Казаках» Толстой, когда он пишет: «Мое будущее представляется мне еще безнадежнее. Каждый день передо мной далекие снежные горы и эта величавая счастливая женщина. И не для меня единственное возможное на свете счастье, не для меня эта женщина»...

И дальше идет описание, как Оленин целыми ночами простаивает под окном казачки, не в силах справиться с обуревающим его чувством.

За два с половиной года пребывания Толстого на Кавказе, главными его приятелями были старый казак Епишка — «молодец, вор, мошенник, табуны угонял, людей продавал, чеченцев на аркане водил. Он никогда

не работал. Он или был переводчиком, или исполнял такие поручения, которые исполнять мог, разумеется, только он один: например, привести какого-нибудь абрека, живого или мертвого, из его собственной сакли в город, поджечь дом... известного в то время предводителя горцев, привести к начальнику отряд почетных стариков, или атаманов из Чечни... Охота и бродяжничание — вот две страсти нашего старика: они были и теперь остаются его единственным занятием, все другие его приключения — только эпизоды».

«Милейший человек, простодушнейший, веселый, — говорил про него Толстой в старости. — В этом могучем, громадного роста человеке сочетались и лихость и храбрость, неимоверная жестокость к врагу и жалость к бабочке, летевшей на огонь, оправдание греха и вместе с тем боязнь его».

В «Казаках» описывается, как рассердился старик, когда молодой юнкер спрашивает его:

— А ты убивал людей?

Старик вдруг поднялся на оба локтя и близко придвинул свое лицо к лицу Оленина.

— Чорт! — закричал он на него. — Что спрашиваешь? Говорить не надо. Душу погубить мудрено, ох, мудрено! Прощай...

В старости Епишка пошел в скит и там умер, замаливая свои грехи.

Вторым приятелем Толстого был молодой чеченец Садо, сын богатого мирного чеченца, который денег Садо не давал, а закопал их в землю, чтобы не отняли враги. Садо часто приезжал в лагерь играть в карты с офицерами. Садо плохо считал, некоторые офицеры обыгрывали его и обсчитывали. Толстой это заметил и предложил Садо играть за него. С тех пор Садо стал считать Толстого своим другом — кунаком. Несколько раз они обменивались подарками. Садо был лихой джигит, вор, с опасностью для жизни крал лошадей и коров у неприятеля, продавал накраденное и этим жил. Когда у Толстого заболела лошадь, и он хотел купить другую, Садо привел ему свою и потребовал, чтобы Толстой ее взял. Не принять подарка по традициям гор-

цев значит нанести им большую обиду. А если гостю понравится что-либо, принадлежащее горцу, и он похвалит ружье ли, седло или кинжал, даже лошадь — эта вещь уже ваша, горец должен подарить ее вам.

Вскоре по приезде на Кавказ Толстой сильно проигрался и вынужден был выдать вексель, так как уплатить всей проигранной суммы не мог. Долг его мучил, он подумывал даже о необходимости продажи части Ясной Поляны. Садо это знал. Срок векселя приближался, платить было нечем. Как-то раз, ложась спать, Толстой даже молился о том, чтобы Бог помог ему выйти из этого тяжелого положения. И вдруг, на утро, он неожиданно получил письмо от брата Николая: «На-днях был у меня Садо, — пишет ему брат из Старого Юрта. — Он выиграл... твои векселя и принес мне их. Он так был доволен этому выигрышу, так счастлив и так много меня спрашивал: «Как ты думаешь, брат рад будет, что я это сделал?» — что я очень его за это полюбил. Этот человек, действительно, к тебе привязан».[2])

В июне 51 года Толстой, как доброволец, участвовал в набеге на горцев. Его храбрость была отмечена, и главнокомандующий, которому он был представлен, посоветовал ему поступить на военную службу, что Толстой и сделал.

В то время как Толстой привыкал к воинственной, красочной, полной опасностей и приключений жизни на Кавказе, в нем напряженно шла внутренняя работа и он не переставая искал, нащупывая то поприще, куда он должен был «положить всю силу... молодости, только раз бывающую в человеке».

Впечатлительность, острая наблюдательность, любовь к людям и понимание их, умение улавливать тончайшие изгибы в душах человеческих, разносторонность интересов и мыслей, острое желание поделиться с другими накопленным богатством — всё это вместе заставило Толстого взяться за перо. Он начал писать «Историю моего детства».

Он пробовал писать и раньше, но ничего не выходило. Очевидно он не был еще готов к оформлению тех образов, которые складывались в его воображении.

Образы эти — немец Карл Иванович, родные, предки Толстого, казак Епишка, Садо, Хаджи Мурат, впечатления природы, Толстой хранил в своей памяти, как драгоценный материал, из которого он позднее черпал то, что ему было нужно для художественного произведения. Иногда материал этот употреблялся немедленно, иногда проходили долгие годы прежде, чем Толстой извлекал из своей сокровищницы то, что его интересовало.

Так было с Хаджи Муратом, о котором он впервые узнал на Кавказе, но повесть о котором он написал только 50 лет спустя.

«Ежели хочешь щегольнуть известиями с Кавказа, — писал Толстой брату Сергею, — то второе лицо после Шамиля некто Хаджи Мурат, на днях передался русскому правительству. Это был первый лихач и джигит во всей Чечне, а сделал подлость».[3])

Толстой писал «Историю моего детства» с увлечением, не зная еще, что выйдет из его писания. Он переносился мыслями в прошлое, события же сегодняшнего дня, — набег, в котором участвовал Толстой, он описал только через год (в 1852 г.).

Этот набег был в сущности первым военным действием, в котором Толстому пришлось участвовать и оно произвело на него сильное впечатление.

Уже тогда, в молодом 24-летнем человеке, наблюдаются начала того миросозерцания, к которому пришел Толстой после 80-го года: отрицание всякого убийства.

«Меня занимал только вопрос, — спрашивал он себя, — под влиянием какого чувства решается человек без видимой пользы подвергать себя опасности и, что еще удивительнее, убивать себе подобных?

Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных. Всё недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в соприкоснове-

нии с природой, этим непосредственнейшим выражением красоты и добра!

Вчера я почти всю ночь не спал. Пописавши дневник, я стал молиться Богу. Сладость чувства, которое я испытал на молитве — передать невозможно... Мне хотелось слиться с Существом всеобъемлющим, я просил Его простить преступления мои, — но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что мне нечего просить, и что я не могу и не умею просить. Я благодарил Его, но не словами, не мыслями. Я в одном чувстве соединял всё — и мольбу и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств — Веры, Надежды и Любви я не мог бы отделить от общего чувства.

Нет — вот оно чувство, которое я испытал вчера — это любовь к Богу, любовь высокую, соединяющую в себе всё хорошее, отрицающую в себе всё дурное.

Как странно мне было смотреть на всю мелочную, порочную сторону жизни. Я не мог постигнуть, как она могла завлекать меня. Как от чистого сердца просил я Бога принять меня в лоно Свое. Я не чувствовал плоти, я был»...

Но страстная, бушующая плоть, человеческие слабости брали свое...

«не прошло часу — и почти сознательно слышал голос порока, тщеславия, пустую сторону жизни; знал, откуда этот голос, знал, что он погубил мое блаженство; боролся и поддался ему. Я заснул, мечтая о славе, о женщинах. Но я не виноват, я не мог.

Вечное блаженство з д е с ь — невозможно. Страдания — необходимы. Зачем? Не знаю. И как я смею говорить: не знаю. Как смел я думать, что можно знать пути Провидения? Оно — источник разума, и разум хочет постигнуть Его.

Ум теряется в этих безднах премудрости, а чувство боится оскорбить Его. Благодарю Его за минуту блаженства, которая показала мне и ничтожность и величие мое. Хочу молиться, но не умею. Хочу постигнуть, но не смею»...

В такие минуты он переживал ощущения человека, вознесшегося до вершины неприступной горы, перед ко-

торым вдруг открывается необъятный вид, с страшной силой он ощущает всё великолепие мироздания, его потрясает ощущение высоты, близости к высшему, к Богу. «Я царь мира, я достиг того, что недоступно людям», — думает человек, глядя на едва заметных людей-букашек, ползающих внизу, его охватывает восторг... но вдруг он чувствует, что ему нехорошо, тяжко дышать, кружится голова, глаза слепит девственная белизна снега, человек шатается, слабеет, быстро спускается вниз...

Такие минуты потрясали всё существо Толстого. Он испытывал чувства полного духовного наслаждения, почти восторга, когда вдруг, в порывах этих могучих взлетов, людские страсти, чувственные наслаждения, тщеславие, гордость, мелкие привычки и слабости людские рассматривались им с высоты и казались такими мелкими, ничтожными и гадкими... Но чем выше и могучее были взлеты, тем мучительнее падения...

Он был «не виноват». Духовная сила Толстого даже в то время, когда грехи одолевали его, была в одном; о н н е о п р а в д ы в а л г р е х а, не узаконял его, он клеймил себя за него и утешался только тем, что это был тот навоз, который мог или засорять или удобрять почву, выращивать дурные или полезные растения.

Повидимому, эти минуты душевного подъема были настолько насыщены, духовно великолепны, что выразить он их не мог:

«Зачем писал я это, — восклицает он с горечью после того, как он пытается изобразить свое душевное состояние в дневнике. — Как плоско, вяло, даже бессмысленно выразились чувства мои. А были как высоки!»...[4])

Всё чаще и чаще проглядывает в Толстом желание найти художественное отображение своих мыслей и чувств. Постепенно работа над формой изображения входила в привычку, Толстой, сам того не ведая, учился писать.

«Сейчас лежал я за лагерем. Чудная ночь! Луна только выбиралась из-за бугра и освещала две маленькие, тонкие, легкие тучки; за мной свистал свою заунывную,

непрерывную песню сверчок; вдали слышна лягушка, и около аула то раздается крик татар, то лай собаки, и опять всё затихает, и опять слышен только один свист сверчка и катится легонькая, прозрачная тучка мимо дальних и ближних звезд. Я думал: пойду, опишу я, что вижу. Но как написать это? Надо пойти, сесть за закапанный стол, взять серую бумагу, чернила; пачкать пальцы и чертить по бумаге буквы. Буквы составляют слова, слова — фразы. Но разве можно передать чувства? Нельзя ли как-нибудь перелить в другого свой взгляд при виде природы? Описание недостаточно. Зачем так тесно связана поэзия с прозой, счастье с несчастьем? Как надо жить? Стараться ли соединить вдруг поэзию с прозой, или насладиться одною и потом пуститься жить на произвол другой?

В мечте есть сторона, которая лучше мечты. Полное счастье было бы соединение того и другого».[5])

В дневнике от 4-го июля Толстой снова возвращается к этим мыслям:

«Мне кажется, что о п и с а т ь человека собственно нельзя: но можно описать, как он на меня подействовал. Говорят про человека: он человек оригинальный, добрый, умный, глупый, последовательный и т. д. — слова, которые не дают никакого понятия о человеке, а имеют претензию обрисовать человека, тогда как часто только сбивают с толку».[6])

Видимо, он искал художественного изображения в прозе, которым он всегда восхищался в своих любимых писателях, в Гоголе, в Пушкине, которого он называл своим учителем: «Где границы между прозой и поэзией, — пишет он дальше в своем дневнике, — я никогда не пойму, хотя есть вопрос об этом предмете в словесности, но ответ нельзя понять. Поэзия — стихи. Проза — не стихи, или поэзия — всё, исключая деловых бумаг и учебных книг. Все сочинения, чтобы быть хорошими, должны, как говорит Гоголь в своей прощальной повести («она выпелась из души моей»), выпеться из души сочинителя»...[7])

17 августа 1851 г. он пишет в Ясную Поляну тетеньке Татьяне Александровне: «Вы мне много раз говори-

ли, что у вас нет привычки писать черновики для ваших писем; я следую вашему примеру, но у меня это не выходит так хорошо, как у вас, так как мне часто случается рвать письма после того, как я их перечитаю. Я делаю это не из ложного стыда. Орфографическая ошибка, клякса, неловкое выражение не стесняют меня; но дело в том, что мне не удается умение управлять своим пером и мыслями».[8])

В письме от 12 ноября 51 года из Тифлиса, куда Толстой ездил с братом Николаем для сдачи офицерского экзамена и определения на службу, он пишет тетеньке Татьяне Александровне:

«Помните, добрая тетенька, совет, который вы раз мне дали — писать романы. Так вот, я следую вашему совету, и занятия, о которых я вам писал, состоят в литературе. Я еще не знаю, появится ли когда-нибудь в свет то, что я пишу; но эта работа, которая меня занимает, и в которой я уже слишком далеко зашел, чтобы ее оставить».[9])

---

[1]) Полн. собр. соч. Юбилейн. Гос. изд. т. 59, стр. 102.
[2]) Там же, стр 153.
[3]) Там же, стр. 129.
[4]) Там же, т. 46, стр. 79.
[5]) Там же, т. 46, стр. 65.
[6]) Там же, т. 46, стр. 67.
[7]) Там же, т. 46, стр. 71.
[8]) Там же, т. 59, стр. 114.
[9]) Там же, т. 59, стр. 116.

ГЛАВА VIII

ПЕРВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Попрежнему Толстой был одинок. Для окружавших его людей он оставался странным или гордым и сойтись с ними он не мог.

«Отчего, не только людям, которых я не люблю, не уважаю и другого со мной направления, но всем без исключения, — пишет он в дневнике 25 мая 1852 года, — неловко со мной. Я должен быть несносный, тяжелый человек».[1])

Даже казак Епишка, по простоте душевной, сказал Толстому, что он «какой-то нелюбимый»[2]), и Толстой страдал от этого одиночества. «Надо привыкнуть, что никто никогда не поймет меня. Это участь, должно быть, общая людям слишком трудным».[3]) Толстой из скромности не написал «участь людей выдающихся», что было бы вернее.

В другой раз он пишет: «Раз навсегда надо привыкнуть к мысли, что я — исключение, что или я обогнал свой век, или одна из тех несообразных, неуживчивых натур, которые никогда не бывают довольны».[4]) Но одиночество удручало его. Потребность любви, ласки, участия были в нем так же сильны, как и прежде, и тетенька Татьяна Александровна была единственным близким человеком. Может быть, именно потому, что никого другого не было, кому он мог бы излить свои чувства, он писал ей в несколько преувеличенных выражениях: «Я не могу выразить того чувства, которое я питаю к вам, я боюсь, чтобы вы не подумали, что я преувеличиваю. А между тем я плачу горькими слезами пока пишу вам. Этой тяжелой разлуке я обязан сознанием того, какой вы для меня друг и как я вас люблю».[5])

Мечты о семейном счастии попрежнему не оставляют его. Описывая и снова ярко переживая свое дет-

ство, он вспоминал то время, когда была семья, дом, и он мечтал о том, что снова в Ясной Поляне создастся семья, «его» семья:

«Думал о счастии, которое меня ожидает. Вот как я его себе представляю. После определенного числа лет, — ни молодой, ни старый, я в Ясной Поляне, дела мои в порядке, у меня нет ни беспокойства, ни неприятностей. Вы тоже живете в Ясной... Это чудный сон... Я женат; моя жена тихая, добрая, любящая, вас любит так же, как и я; у нас дети, которые вас зовут бабушкой, вы живете в большом доме наверху, в той комнате, где жила бабушка. Весь дом содержится в том же порядке, какой был при отце, и мы начинаем ту же жизнь, только переменившись ролями. Вы заменяете бабушку, но вы еще лучше ее; я заменяю отца, хотя и не надеюсь никогда заслужить эту честь. Жена моя заменяет мать, — дети — нас. Маша берет на себя роль двух теток, исключая их горя... Будет три новых лица, которые будут иногда появляться среди нас — это братья, особенно один, который часто будет с нами. Николенька — старый холостяк, лысый, в отставке, всегда такой же добрый, благородный».[6])

Так мечтал Толстой о мирной, спокойной жизни в то время, как он уже юнкером участвует в ряде военных действий против чеченцев.

По его дневникам видно, как Толстой подоготовлял себя к опасности, даже к смерти, перед сражениями:

«Я равнодушен к жизни, — пишет он перед поездкой в отряд, — в которой слишком мало испытал счастья, чтобы любить ее, поэтому не боюсь смерти. Не боюсь и страданий, но боюсь, что не сумею хорошо перенести страданий и смерти. Я не совершенно спокоен и замечаю это потому, что перехожу от одного расположения духа и взгляда... к другому. Странно, что мой детский взгляд — молодечество — на войну, для меня самый покойный»...[7])

Вопрос о его не только поведении, но и самочувствии, беспокоил его: «Я силился воображать себя совершенно хладнокровным и спокойным, — пишет он 28 февраля 1852 года, после сражения, — но в делах 17 и 18

числа я не был таким... Это был единственный случай показать всю силу своей души, и я был слаб и поэтому собою недоволен».[8])

Усилия, которые он над собой делал, страх неминуемо испытываемый всяким человеком, участвующим в сражении, были им забыты, в памяти остались его действия и поведение. Повидимому, он был на высоте. 20 марта он записывает: «Февраль провел в походе — собою доволен... Отправляясь в поход, я до такой степени приготовил себя к смерти, что не только бросил, но и забыл про свои прежние занятия»...[9])

За время своего пребывания на Кавказе несколько раз Толстой бывал на волоске от смерти.

«Если бы дуло пушки, из которой вылетело ядро, на одну тысячную линии было отклонено в ту или другую сторону, — писал он одному своему другу, — я был бы убит».[10])

Благодаря своей храбрости, граничившей с молодечеством, Толстой чуть-чуть не попал в плен к чеченцам. Случай этот, изменив конец, много лет спустя, он отобразил в «Кавказском пленнике» — рассказе о двух русских военных, попавших в плен к татарам.

А дело было так:

Толстой с другом своим Садо провожал обоз в крепость Грозную. Обоз шел медленно, останавливался, Толстому было скучно. Он и еще четверо верховых, сопровождавших обоз, решили его обогнать и уехать вперед. Дорога шла ущельем, горцы ежеминутно могли напасть сверху, с горы, или неожиданно из-за утесов и уступов скал. Трое поехали по низу ущелья, а двое — Толстой и Садо — по верху хребта. Не успели они выехать на гребень горы, как увидали несущихся навстречу им чеченцев. Толстой крикнул товарищам об опасности, а сам, вместе с Садо, во весь дух помчался вперед к крепости. К счастью, чеченцы не стреляли, они хотели взять Садо в плен живым. Лошади были резвые и им удалось ускакать. Пострадал молодой офицер, убитая под ним лошадь придавила его и он никак не мог из-под нее высвободиться. Скакавшие мимо чеченцы до полусмерти изрубили его шашками и когда русские подо-

брали его, уже было поздно, он умер в страшных мучениях.

Походы, карты, охота, женщины — всё это не мешало той внутренней работе, сложный процесс которой шел, переплетаясь и порою сливаясь в единый поток, по двум руслам: собственное самосовершенствование и творчество.

«Сколько я мог изучить себя, мне кажется, что во мне преобладают три дурные страсти: игра, сладострастие и тщеславие... Страсть к игре проистекает из страсти к деньгам, но бóльшей частью (особенно те люди, которые более проигрывают, чем выигрывают), раз начавши играть от нечего делать, от подражания и из желания выиграть, не имеют страсти к выигрышу, но получают новую страсть к игре, к ощущениям. Источник этой страсти, следовательно, в одной привычке, и средство уничтожить страсть — уничтожить привычку. — Я так и сделал»...

«Сладострастие имеет совершенно противоположное основание: чем больше воздерживаешься, тем сильнее желание. Есть две причины этой страсти: тело и воображение. Телу легко противостоять, воображению же, которое действует и на тело, очень трудно. Средство, как против той, так и другой причины, есть труд и занятия, как физические — гимнастика, так и моральные — сочинения. Впрочем, нет. Так как это влечение естественное, и которое я нахожу дурным только по тому неестественному положению, в котором нахожусь (холостым в 23 года), ничего не поможет, исключая силы воли и молитвы к Богу — избавить от искушения»... «Тщеславие есть какая-то недозрелая любовь к славе, какое-то самолюбие, перенесенное в мнение других — он любит себя не таким, каким он есть, а каким показывается другим... Я много пострадал от этой страсти, она испортила мне лучшие годы моей жизни и навек унесла от меня всю свежесть, смелость, веселость и предприимчивость молодости. Не знаю как, но я подавил ее, и даже впал в противоположную крайность: остерегаюсь всякого проявления, обдумываю вперед, боясь впасть в прежний недостаток... Не могу сказать,

чтобы страсть эта была совершенно уничтожена, потому что часто я жалею о наслаждениях, которые она мне доставляла, но, по крайней мере, я понял жизнь без нее и приобрел привычку удалять ее. Я только недавно испытал в первый раз после детства чистые наслаждения молитвы и любви».[11])

Упражнения над волей, над улучшением своего внутреннего «я» идут наравне с физическими упражнениями — гимнастикой, фехтованием. Глубокие мысли перемежаются с мелкими, почти наивными мыслями: ему жалко отдать коробочку с музыкой, которую ему прислала тетенька Татьяна Александровна для его кунака Садо, он засматривается на хорошенькую казачку, он расстраивается тем, что увидел месяц с левой стороны... Работая над «Детством», он то приходит в полное отчаяние и ему кажется, что повесть его никуда не годится, то снова окрыляется и записывает в своем дневнике: «Детство порядочно» или «есть места прекрасные, но есть и плохие».

«С некоторого времени меня сильно начинает мучить раскаяние в утрате лучших годов жизни. И это с тех пор, как я начал чувствовать, что я бы мог сделать что-нибудь хорошее. Интересно бы было описать ход своего морального развития; но не только слова, но мысль даже недостаточна для этого. Нет границ великой мысли, но уже давно писатели дошли до непреступной границы их выражения... Меня мучит мелочность моей жизни, — я чувствую что это потому, что я сам мелочен; а все-таки имею силу презирать и себя и свою жизнь. Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть таким как все. Но отчего это происходит? Несогласие-ли, — отсутствие гармонии в моих способностях, или действительно я стою выше людей обыкновенных. Я стар, — пора развития или прошла, или проходит, а все меня мучит жажда... не славы, славы я не хочу и презираю ее, а принимать большое влияние в счастье и пользе людей».[12])

Переписка рукописи утомляет его и, переписав «Детство» три раза собственноручно, он сажает писаря переписывать последнюю редакцию. 3-го июля 1852 года

Толстой отправил первую часть своего романа «История моего детства», в редакцию «Современника». Рукопись была подписана двумя буквами Л. Н.

«Я с нетерпением ожидаю вашего приговора, — писал он Некрасову 3-го июля. — Он или поощрит меня к продолжению любимых занятий, или заставит сжечь все написанное».[13])

Вероятно, Толстому казалось, что он бесконечно долго ждал ответа от редактора «Современника». Может быть, он старался об этом не думать. У него болели и разрушались зубы, болели ноги и расстраивался желудок, ему нездоровилось. Он читал «Исповедь» Руссо, находя, как всегда, в авторе отзвуки собственных мыслей, и «Исповедь савойского викария», и продолжал писать «Роман помещика», переделанный потом в «Утро помещика», «Отрочество», «Письмо с Кавказа», получившее впоследствии название «Набег», «Записки маркера». И как всегда, когда силы его сосредоточивались на искании истины и на неизбежном для него претворении этих исканий в художественные образы — он был собою доволен. «Я знаю, что бабы счастливее, не зная этой работы. Но Бог поставил меня на этот путь. Надо идти по нем», — пишет он в дневнике от 25 августа 1852 года.

Некрасов, очевидно, сразу оценил молодого автора. Ответ, по тогдашним передвижениям на почтовых лошадях, пришел очень быстро. 29 августа Толстой получил письмо с извещением, что «Детство» принято: «Не зная продолжения, — писал Некрасов, — не могу сказать решительно, но мне кажется, что в авторе есть талант... Прошу вас прислать мне продолжение. И роман ваш и талант меня заинтересовали».[14])

«Письмо от редактора... которое обрадовало меня до глупости», — записал Толстой в своем дневнике (29 авг. 52 г.), и, по обыкновению, составляя себе программу завтрашнего дня, он кончает запись словом: ... «*сочинять*» (курсив мой).[15])

Никто, кроме тетеньки Татьяны Александровны и брата Николая, не знал, кто был автор романа «Детство»,

появившегося в сентябрьской книжке «Современника». Но о романе заговорили.

В это время Мария Николаевна Толстая жила в своем имении Покровское, Тульской губ. — их соседом по имению Спасское был Тургенев. Он часто навещал Толстых. Как-то раз он привез сентябрьскую книжку «Современника» и предложил прочитать начало романа «Детство» какого-то неизвестного, но очень талантливого автора, скрывшего свое имя под инициалами Л. Н.

«Каково же было наше удивление, когда в героях романа мы стали узнавать самих себя, описание всех родных, близких нашего дома... Кто бы мог это написать? Кто мог знать интимные подробности нашей жизни? Мы были так далеки от мысли, что Левочка мог быть автором романа, — рассказывала Мария Николаевна Толстая, — что мы решили, что автор книги был Николай».[16])

Вероятно, Некрасов не только вчитался в «Историю моего детства», но и обменялся мнениями в литературных кругах о произведении Л. Н. 30-го сентября Толстой получил второе письмо от редактора «Современника»:

«Я дал ее (рукопись) в набор в IX книжку «Современника» и, прочитав внимательно в корректуре, а не в слепо написанной рукописи, нашел, что эта повесть гораздо лучше, чем показалась мне с первого раза. Могу сказать положительно, что у автора есть талант. Убеждение это для вас, как для начинающего, думаю всего важнее в настоящее время».[17]) В этом письме Некрасов просит открыть ему имя автора.

Толстой, благодаря безалаберной жизни, проигрышам в карты, всегда нуждался в деньгах и очень огорчился, что «Современник» не заплатил ему денег за «Историю моего детства»: «Похвалы, но не деньги», — записывает он в дневнике. В письме от 30 октября Некрасов сообщает Толстому, что по правилам их журнала, первое произведение не оплачивается, но что все последующие произведения будут оплачиваться по самой высокой принятой журналом цене — 30 рублей серебром с печатного листа.

В литературных кругах Петербурга заволновались: сотрудник «Современника», писатель Панаев, ходил из

дома в дом по своим знакомым и читал выдержки из «Истории моего детства». «Все знакомые даже на Невском прячутся от Панаева, — говорил Тургенев, — боятся, чтобы даже на улице он не начал наизусть читать им из «Детства».[18])

«Это талант надежный, — писал Некрасову Тургенев. — Пиши к нему и понукай его писать. Скажи ему, если это может его интересовать, что я его приветствую, кланяюсь и рукоплещу ему».[19])

Во многих журналах появились хвалебные отзывы. «Если это первое произведение г. Л. Н., — гласила статья в «Отечественных Записках», — то нельзя не поздравить русскую литературу с появлением нового замечательного таланта».

Достоевский в то время был в ссылке. «Детство» произвело на него сильное впечатление и он просил своего знакомого непременно узнать, «кто этот таинственный Л. Н.».

В то время как две скромные буквы «Л. Н.» взволновали весь цвет русских писателей того времени и в литературных кругах шли толки и догадки о том, кто же этот таинственный, новый литературный, талант, внезапно и столь загадочно появившийся в их среде, одинокий, нелюдимый юнкер Л. Н. жил своей уединенной, первобытной жизнью, участвуя в военных действиях, в кутежах, в карточной игре с офицерами, огорчаясь тем, что не получил Георгиевского Креста, находя успокоение в охоте, радуясь убитым фазанам, восхищаясь красотой природы и непосредственностью своих друзей, казака Епишки и чеченца Садо. Казалось, в жизни юнкера ничто не изменилось, на самом же деле произошло нечто перевернувшее всю его жизнь, нечто, давшее не только русской литературе, но и миру одного из величайших гениев человеческой мысли и творчества. Трудно предположить, как повернулась бы жизнь неуверенного, сомневающегося в своем даровании Толстого, если бы редактор «Современника» Некрасов не оценил его по достоинству.

С момента этого признания его, как писателя, он начинает усиленно «сочинять». Он властно требует,

чтобы Некрасов не выпускал ничего и не переделывал его произведения. Новые темы нарождаются в его голове, определяются яркие образы, складываются мысли в определенные выводы... Метущаяся душа его определилась. С этого момента Толстой тяготится своей военной карьерой. Ему хочется быть свободным, писать, и он мечтает о любимой своей Ясной Поляне.

20 июля 1853 года он пишет брату Сергею: «Я уже писал тебе, кажется, что я подал в отставку. Бог знает, однако, выйдет ли и когда она выйдет теперь, по случаю войны с Турцией. Это очень беспокоит меня, потому что я теперь уже так привык к счастливой мысли поселиться скоро в деревне, что вернуться опять в Старогладовскую и ожидать до бесконечности — так, как я ожидаю всего, касающегося моей службы, — очень неприятно».

«Неприятно» было то, что Толстой давно мог бы быть произведен в офицеры. Вся беда была в том, что когда он так внезапно собрался с братом Николаем на Кавказ — он оставил в Ясной Поляне все свои бумаги. Огорчало Толстого и то, что он не получил Георгиевского Креста: «У меня постоянно является какая то помеха во всем, что я предпринимаю, — пишет он тётеньке в июне еще 52-го года. — Во время экспедиции у меня был два раза случай быть представленным к Георгиевскому Кресту, и я не мог его получить по причине опоздания на несколько дней этой проклятой бумаги... Я вам признаюсь откровенно, что из всех военных наград я имел тщеславие добиваться именно этого маленького крестика, и что это препятствие доставило мне большое горе».

Было еще два случая, когда Толстой мог получить Георгиевский Крест. Один раз он уступил свой крест старому солдату, другой раз Толстой сидел под арестом за то, что не был в карауле и командир отказался дать крест неисправному юнкеру.

Но помимо неудач по военной службе, у Толстого были более серьезные заботы: карточные долги мучили

его и он решил ликвидировать часть доставшегося ему по разделу имущества и дал распоряжение продать смежную с Ясной Поляной деревню с 26 душами мужеского пола.

Временами нездоровье мучило его и он ездил на воды — в Кисловодск, Железноводск и Пятигорск — лечиться. В Пятигорске он встречается со своей сестрой, Марией Николаевной Толстой, и ее мужем, Валерианом Петровичем.

Но все эти внешние заботы и огорчения уже не могли отвлечь его от писания. Он усиленно работает над «Отрочеством», то приходя в отчаяние, что повесть «никуда не годна», то снова воодушевляясь, пишет и отсылает Некрасову рассказ «Набег», работает над рассказом «Святочная ночь», бросает его но не окончательно, тема — падение невинного, запутавшегося юноши и гибель его воскресает в новом рассказе: «Записки маркера», задумывает ряд кавказских военных рассказов: «Рубка леса», «Встреча в отряде» и др.

«Как много значит общество и книги, — записывает Толстой в дневнике от 4 августа, — с хорошими и дурными совсем другой человек».

Он много читает: любимого своего Руссо, Пушкина, Лермонтова, Тургенева. Но Кавказ уже тяготит его, «невыносимо надоел», как он писал брату Сергею.

В июне 1853 г. Россия объявила войну Турции. Толстой отставки получить не мог и выхлопотал себе перевод в Дунайскую армию. Он считал, что два с половиной года на Кавказе имели для него огромное значение. Несмотря на те, как он называл, «падения» его, которые отвлекали его от основного дела его жизни, т. е. восхождения на пути самоусовершенствования, он сознавал, что, как он впоследствии писал своему другу и родственнице Александре Андреевне Толстой: «Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал т у д а, как в это время, продолжавшееся два года. И все, что я нашел тогда, навсегда останется моим убеждением».

---

1) Дневник 25 мая 1852 г. Полн. собр. соч. Госиздат. т. 46, стр. 118.
2) Дневник 13 ноября 1852 г. Полн. собр. соч. Госиздат. т. 46, стр. 149.
3) Дневник 17 ноября 1852 г. Полн. собр. соч. Госиздат. т. 46, стр. 149.
4) Дневник 3 ноября 1853 г. — Гусев, Н. Н. «Жизнь», т. 1, стр. 199.
5) Письмо к Т. А. Ергольской, 6 янв. 1852 г. Полн. собр. соч. Госиздат. т. 59, стр. 159.
6) Письмо к Т. А. Ергольской, 12 янв. 1852 г., там же, т. 59, стр. 159.
7) Дневник 5 февраля 1852 г., там же, т. 46, стр. 90.
8) Дневник 28 февр. 1852 г., там же, т. 46, стр. 91.
9) Дневник 20 марта 1852 г., там же, т. 46, стр. 92.
10) Письмо Л. Н. Т. к Г. А. Русанову от 18 февр. 1906 г. «Вестник Европы», 1915, № 4, стр. 18.
11) Дневник 20 марта 1852 г. Полн. собр. соч. Госизд. т. 46, стр. 92.
12) Дневник 29 марта 1852 г., там же, т. 46, стр. 102.
13) Письмо Л. Н. Т. к Некрасову, 3 июля 1852 г., там же, т. 59, стр. 193.
14) Письмо от Некрасова от первых чисел августа без даты, 1852, там же, т. 59, стр. 203.
15) Дневник 29 авг. 1852 г., там же, т. 46, стр. 140.
16) Бирюков, П. И. «Л. Н. Толстой. Биография». Т. 1, стр. 214.
17) Письмо от Некрасова от 5 сент. 1852 г. Полн. собр. соч. Госизд. т. 59, стр. 203.
18) Письмо Тургенева к Некрасову от 28 окт. 1852 г. «Русская Мысль» 1902 г. № 1, стр. 116.
19) То же.

ГЛАВА IX

ЛЕНЬ, РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ И БЕСХАРАКТЕРНОСТЬ ДУНАЙ

14 июня 1853 года Россия объявила войну Турции и под командованием знаменитого русского героя, адмирала Нахимова, уничтожила турецкий флот.

Англия и Франция не могли допустить владычества России над Турцией в Черном море. Началась знаменитая Крымская кампания и осада Севастополя французами и англичанами. Геройская защита Севастополя продолжалась 11 месяцев. Среди артиллеристов, отстаивавших город, был и только-что произведенный в прапорщики артиллерии Лев Толстой.

Отставки Толстому не дали и он был переведен в Дунайскую армию. Но прежде чем ехать в армию, он решил повидаться с братьями и тетенькой Татьяной Александровной, и покатил в Ясную Поляну.

Поездка на лошадях в зимнее время с юга до центра России — более двух тысяч верст — была делом не легким. Почтовая, наторенная дорога, обозначенная только верстовыми столбами среди равнин и снега часто заносилась, и не мало путников, попадавших в снежные бури, сбивались с почтовой дороги, плутали и иногда, выбившись из сил, замерзали в открытом поле.

Толстой ехал в Ясную две недели.

«Плутал целую ночь, — записывает он в дневнике на одной из остановок. — И пришла мне мысль написать рассказ «Метель». (27 янв. 54 г.)[1])

«Снег крутился спереди, сбоку, засыпал полозья, ноги лошадей по колени и сверху валил, — писал Толстой. — Становилось ужасно холодно и едва я высовывался из воротника, как морозный, сухой снег, крутясь, набивался в ресницы, нос, рот и заскакивал за шею: посмотришь кругом — все бело, светло и снежно, нигде ничего, кроме мутного света и снега. Мне стало серьезно

страшно». Только к утру почтовая тройка, наконец, прибилась к станции.

За два с половиной года, что Толстой не был, как тогда на Кавказе говорили, «в России», он возмужал и внешне и внутренно. Он сам про себя писал в дневнике от 4 февраля: «Главный недостаток моего характера и особенности его состоит в том, что я слишком долго был морально молод и только теперь, 25-ти лет, начинаю приобретать тот самостоятельный взгляд на вещи — мужа, который другие приобретают гораздо раньше — в 20 лет».

Для тетеньки Татьяны Александровны приезд ее любимца был большой радостью. Большие перемены произошли в Левочке с тех пор, как они не виделись. Он начал писать, его печатали, хвалили, он офицер, у него есть положение. Но странные фантазии его, отношение к крестьянам, желание отпустить их на волю, пугали ее. Инстинктом любви она чувствовала, что в нем кроется что-то особенное, незаурядное, но она не могла до конца, по-настоящему понять его. И, как это часто бывает, восторженная любовь и нежность Левочки, взлелеянные им в его одинокой оторванности от родственной ласки и любви, оказались сильно преувеличенными по отношению к бедной тетеньке, не могущей угнаться за бурными порывами его могучей мысли.

За короткое свое пребывание в мирной обстановке, Льву хотелось всех повидать, устроить свои дела. Он съездил к сестре в имение Покровское, где Мария Николаевна жила со своим мужем и детьми, увиделся в Ясной Поляне со всеми своими братьями, и это свидание навсегда оставило радостное воспоминание в его душе, ездил с ними в Москву, привел свои дела в порядок, составил завещание на случай смерти и в марте 1854 г. укатил в Дунайскую армию.

«Из Курска я ехал около 2.000 верст... — пишет он 13 марта тетеньке Татьяне Александровне. — До Херсонской губернии был хороший санный путь, но там я должен был бросить сани и сделать 1.000 верст на перекладных по ужасной дороге до границы и от границы до Бухареста. Эта дорога, не поддающаяся описанию, на-

до ее попробовать, чтобы понять удовольствие сделать 1.000 верст в тележке меньше нашей навозной... я приехал почти больной от усталости».[2])

В Дунайской армии Толстой пробыл до ноября. И за этот промежуток времени его перебрасывали с одного места на другое: из Бухареста — в местечко Ольтеница, затем обратно в Бухарест, где он был прикомандирован к начальнику артиллерийских войск и, наконец, под командованием князя Горчакова, Толстой должен был участвовать в штурме крепости Силистрии.

Эта военная, неспокойная жизнь мало способствовала его литературным занятиям и только в апреле ему удалось закончить и переслать Некрасову свое «Отрочество».

Почти три месяца Толстой не делал записей в дневнике, что всегда было для него признаком упадочного настроения. Среда, карты, неудовлетворенная страсть, жажда семейной жизни — мучили его, заставляли делать поступки, за которые он сам себя презирал, и за которые он жестоко расплачивался; он был болен, беспокоился и страдал.

Со свойственной ему острой наблюдательностью он видел ошибки командного состава, темноту солдат, распутство офицеров, но часто признавал, что среда затягивала его. Он восхищался храбростью русского воинства, а с другой стороны видел неорганизованность его. Он горел патриотизмом и глубоко страдал от всяких неудач.

Предполагавшийся штурм крепости Силистрии и внезапное снятие осады без всякой видимой причины — расстроили его. Он писал в письме к брату Николаю и тетеньке Татьяне Александровне:

«Около 500 орудий открыли огонь против форта, который хотели взять, и этот огонь продолжался всю ночь. Это зрелище и эти чувства никогда не забудешь. Вечером, со всей своей свитой, князь снова явился, чтобы залечь в траншеи и самому руководить штурмом, который должен был начаться в три часа ночи.

Мы были все там же и, как всегда накануне сражения, все мы делали вид, что о следующем дне мы не думаем больше, чем о самом обыкновенном, и у всех, я уверен,

в глубине души немного, а, может быть, даже очень, сжималось сердце при мысли о штурме. Как ты знаешь, Николенька, время, предшествующее делу, — самое неприятное, единственное, когда есть время бояться, а боязнь — одно из самых неприятных чувств. К утру, чем ближе подходил решительный момент, тем меньше оставалось чувство страха, и около 3-х часов, когда мы все ожидали увидеть букет пущенных ракет, что было сигналом атаки, я пришел в такое хорошее настроение, что если бы пришли и сказали мне, что штурма не будет, мне было бы жалко. И вот ровно за час до начала штурма приезжает адьютант фельдмаршала с приказанием снять осаду Силистрии.»

«Я могу, не боясь обмануться, сказать, что это известие было принято всеми: солдатами, офицерами и генералами, как истинное несчастие, тем более, что знали через лазутчиков, которые часто приходили из Силистрии, и с которыми мне часто приходилось самому разговаривать, знали, что когда будет взят этот форт, в чем никто не сомневался, Силистрия не могла бы держаться более 2-х, 3-х дней».[3])

Возобновив писание дневника, Толстой снова безжалостно бичует себя, часто выворачивая наизнанку все свои грехи перед самим собою.

«7 июля. — Скромности у меня нет! Вот мой большой недостаток. Что я такое? Один из четырех сыновей отставного подполковника, оставшийся с семилетнего возраста без родителей, под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17 лет, без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил; человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проживший лучшие годы своей жизни, наконец, изгнавший себя на Кавказ, чтобы бежать от долгов и, главное, привычек... Да, вот мое общественное положение. Посмотрим, что такое моя личность.

Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим (intolérant) и стыдлив как ребенок.

Я почти невежда. Что я знаю, тому я выучился кое-как сам, урывками, без связи, без толку и то так мало. Я невоздержен, нерешителен, непостоянен, глупо-тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой. Я умен, но ум мой еще никогда ни на чем не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового. Я честен, т. е. я люблю добро, сделал привычку любить его, и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием, но есть вещи, которые я люблю больше добра — славу. Я так честолюбив и так мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них.

Да, я не скромен; оттого-то я горд в самом себе, а стыдлив и робок в свете».

И ища успокоения, он обращается к Богу с горячей молитвой:

«Верую во единого всемогущего и доброго Бога, в бессмертие души и в вечное возмездие по делам нашим; желаю веровать в религию отцов моих и уважаю ее... Даруй мне в твердой вере и надежде на Тебя, в любви к другим и от других с спокойной совестью и пользой для ближнего жить и умереть»... (Дневник, от 13 июля 54 г.).[4])

Он мало, лениво пишет, кавказских подъемов нет. Болезнь, необходимость оперироваться мучает его. Он вял, душу его засоряют мелкие житейские интересы, его одолевают страсти, женщины влекут его, но после каждой случайной связи, на время разрешающей этот мучительный для него вопрос, он жестоко казнит себя.

Скучно и без всякого толка Толстой повторяет десятки раз одну и ту же фразу в дневнике: «самое главное для меня, это избавление от лени, раздражительности и бесхарактерности», и, как утопающий хватающийся за соломинку, Толстой упорно, настойчиво и безрезультат-

но долбит заданный урок: «Важнее всего исправление от лени, раздражительности и бесхарактерности».

«И я и дневник мой становимся слишком глупы, — пишет он 5 сентября.[5]) — Писание решительно нейдет. Написал раздраженное письмо Николеньке. Важнее всего для меня исправление от раздражительности, лени и бесхарактерности». И фраза эта, с небольшими вариантами, повторяется ежедневно, в продолжение двух месяцев.

21 октября, перед Севастополем, когда военные события и судьба Севастополя отвлекли его мысли от самого себя и его снова захватила волна патриотизма и беспокойство за исход войны и за судьбы русской армии, он записывает в дневнике: «Дела в Севастополе все висят на волоске... Я проиграл все деньги в карты». «Важнее всего для меня в жизни исправление от лени, бесхарактерности и раздражительности».

Как бы мы ни старались — нам трудно угоняться за теми разнообразными интересами, душевными переживаниями, безднами греха и возвышенностью мыслей, бушующими в этой мятущейся душе. В этом кажущемся сумбуре противоречивых, сталкивающихся, иногда опрокидывающих друг друга убеждений — легко делать неправильные выводы, заключения. Можно только внимательно следить за тем, как постепенно, путем отсеиванья жизненного сора, путем длительной, упорной внутренней борьбы против «лени, раздражительности и бесхарактерности» медленно продвигался вперед этот одинокий человек.

Как-то у Толстого-старика спросили: «Господин X святой. Он никогда не сердится, он добрый, не пьет, не курит, у него такой же, как его натура, голос: тихий, мягкий, ласковый — он безгрешный, он не знает страстей... А вот другой страстный, грешный, увлекающийся, даже порочный, но сознающий свою греховность и борющийся с нею. Первый — спокойный, счастливый;

второй — вечно мучается угрызенями совести, но снова и снова грешит. Первый спасается, второй?..». Старик Толстой улыбнулся: «А Мария Магдалина? Весь вопрос в смирении каждого из этих людей, в усилии ими приложенном и, главное, в раскаянии. Я никогда так низко не падал, как когда я оправдывал свои грехи».[6])

Каждый военный, побывший в «деле», знает до какой степени мучительно проводить время в неизвестности, в ожидании боя, в полном бездействии, и как развращающе это действует на людей. В таких условиях писательство было для Толстого спасением.

В конце августа Толстой получил от Некрасова письмо, которое снова поощрило его в литературной деятельности. Некрасов писал, что не может «прибрать выражения, как достаточно похвалить «Отрочество». Но, несмотря на то, что похвала временно воодушевила его, Толстой продолжал резко и беспощадно критиковать свои писания. Много раз, по всегдашней своей привычке, он переправлял «Записки фейерверкера», которые были переименованы в «Рубку леса». Перечитав «Детство», он остался им недоволен — «много слабого», записывает он в дневнике, и если бы произведение это не было напечатано, он, несомненно, снова, с начала до конца, переработал бы его. Писать сразу набело он никогда не мог. С лихорадочным нетерпением он спешил в первом наброске выразить основные мысли. Отделка, исправление стиля, уточнение — были следующим этапом.

«Надо всегда отбросить мысль, писать без поправок. Три, четыре раза — это еще мало», — писал он еще в дневнике 8 октября 1852 года. И чем больше он писал, тем строже он относился к своему писанию, тем тщательнее он над ним работал. В писании, так же как и в духовном своем движении вперед, он всегда был собою недоволен. В рукописях раннего периода уже видна усидчивая, кропотливая работа — вставки на полях, между строками, перемена заглавий, безжалостное вычеркивание ряда мест, почему-либо не гармонирующих с ходом повествования: «Никакие гениальные

прибавления не могут улучшить сочинения так много, как могут улучшить его вымарки», — писал он в дневнике 16 октября 1853 г.

Соприкасаясь с солдатами, вглядываясь в их психологию и задатки этих геройски самоотверженных, простых, подчас талантливых людей, в Толстом назревала мысль об их развитии. Эта задача переплеталась в его воображении с мыслью о поднятии патриотического духа в армии. Вместе с группой культурных офицеров Толстой организовал общество распространения просвещения среди военных. В первую очередь решено было издавать журнал, в который должны были войти статьи «описания сражений, не сухие и лживые, как в других журналах, подвиги храбрости и некрологи хороших людей, и преимущественно темненьких», военные рассказы и солдатские песни. Решено было просить государя о разрешении издавать военный журнал.[7])

Если Толстой что-то задумывал — надо было немедленно, какие бы препятствия ни стояли на дороге, привести задуманное в исполнение. Над вопросом, где достать деньги на журнал, Толстой не долго думал. Для него с тетенькой Татьяной Александровной совершенно достаточно одного флигеля в Ясной Поляне. Кроме того, у него были карточные долги, с которыми ему хотелось разделаться. И он пишет письмо своему зятю, Валериану Толстому, чтобы он продал большой деревяный дом, где он родился и провел свое детство. Много раз впоследствии он раскаивался в своем поступке, но... в тот момент издание военного листка казалось таким необходимым...

Прозябание в Дунайской армии, когда главные военные действия были сосредоточены в Крыму, Толстому надоело. Он должен был участвовать в самой гуще военных действий и он употребил все усилия, чтобы его перевели в Севастополь.

Наконец, желание его исполнилось и Толстой добился перевода в 3-ю легкую батарею артиллерийской бригады в Севастополе.

---

[1]) Полн. собр. соч. Изд. 1913 г., т. 2, стр. 61. «Метель».
[2]) Письмо к тетеньке. Полн. собр. соч. Юбилейн. Гос. изд. т. 59, стр. 257
[3]) Там же, т. 59, стр. 269.
[4]) Полн. собр. соч. Юбилейн. Гос. изд. т. 47, стр. 12.
[5]) Там же, т. 47, стр. 25.
[6]) Из личных воспоминаний А. Л. Толстой.
[7]) Полн. собр. соч. Юбилейн. Гос. изд. т. 59, стр. 284, прим. 6 к письму № 90.

ГЛАВА X

СЕВАСТОПОЛЬ

7 ноября Толстой приезжает в Севастополь.

«Солнце светило и высоко стояло над бухтой, игравшею с своими стоящими кораблями и движущимися парусами и лодками, веселым и теплым блеском. Легкий ветерок едва шевелил листья засыхающих дубовых кустов около телеграфа, надувал паруса лодок и колыхал волны. Севастополь все тот же, с своей недостроенной церковью, колонной, набережной, зеленеющим на горе бульваром и изящным строением библиотеки, с своими маленькими лазоревыми бухточками, наполненными мачтами, живописными арками водопроводов», — так описывает Толстой в своем рассказе «Севастополь в августе 1855 года» этот своеобразный город — лучший русский порт в Черном Море, с своей громадной естественной бухтой. Гордость и опора России, Севастополь содрогался и изнемогал под натиском французского и английского флота. Вся мыслящая Россия с нетерпением и страхом задавала себе вопрос: отстоят ли русский флот и русская армия твердыню Севастополя под натиском более сильного врага. Как только Толстой прибыл в Крым, те же чувства патриотизма охватили его с еще большей силой.

«Город осажден с одной стороны, на которой у нас не было никаких укреплений, когда неприятель подошел к нему», — пишет он брату Сергею 20 ноября 54 г. — «Теперь у нас на одной стороне более 500 орудий огромного калибра и несколько рядов земляных укреплений... Неприятель уже более трех недель подошел в одном месте на 80 сажен и не идет вперед; при малейшем движении его вперед, его засыпают градом снарядов.

Дух в войске выше всякого описания. Во времена древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо: «здорово, ребята!» говорил:

«нужно умирать, ребята, умрете?» и войска кричали: «Умрем, ваше превосходительство, ура!» И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а взаправду, и уже 22.000 исполнили это обещание.

Раненый солдат, почти умирающий, рассказывал мне, как они брали 24-ю французскую батарею и их не подкрепили; он плакал навзрыд. Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастионы для солдат. Многие убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы под огнем и читают молитвы. В одной бригаде 24-го было 160 человек, которые не вышли из фронта. Чудное время»![1])

Толстой наблюдал. И его сердце разрывалось от боли. С одной стороны, он видел глубокое, ни с чем не сравнимое самопожертвование русского солдата, видел готового к геройству, распущенного офицера, который и пьянствовал, и развратничал, но в ответственные минуты, не задумываясь, храбро исполнял свой долг, как и писал Толстой, что «в душе каждого лежит та благородная искра, которая делает из него героя»...[2]) С другой же стороны, Толстой с ужасом наблюдал неорганизованность, безалаберность, косность, надежду не на самого себя, а на Николая Чудотворца — те извечные недостатки русских людей, вследствие которых талантливая, религиозная, могучая нация, давшая миру на протяжении всей своей истории многих выдающихся людей — плетется в хвосте.

«16-го я выехал из Севастополя на позицию, — записывает он в дневнике 23 ноября, в Симферополе, Эски-Орда. — В поездке этой я, больше чем прежде, убедился, что Россия или должна пасть или совершенно преобразиться. Всё идет навыворот, неприятелю не мешают укреплять своего лагеря, тогда как это было бы чрезвычайно легко, сами же мы с меньшими силами, ни откуда не ожидая помощи, с генералами как Горчаков, потерявшими и ум, и чувство и энергию, не укрепляясь стоим против неприятеля и ожидаем бурь и непогоды, которые пошлет Николай Чудотворец, чтобы изгнать

неприятеля. Казаки хотят грабить, но не драться, гусары и уланы полагают военное достоинство в пьянстве и разврате, пехота в воровстве и наживании денег. Грустное положение — и войска и государства. Я часа два провел, болтая с ранеными французами и англичанами. Каждый солдат горд своим положением и ценит себя; ибо чувствует себя действительной пружиной в войске. Хорошее оружие, искусство действовать им, молодость, общие понятия о политике и искусствах дают ему сознание своего достоинства. У нас бессмысленные учения о носках и хватках, бесполезное оружие, забитость, старость, необразование, дурное содержание и пища, убивают внимание, последнюю искру гордости и даже дают им слишком высокое понятие о враге».[3])

Поняв положение, страдая за русского солдата, Толстому хотелось помочь поднять культурность войска, но не так легко было внести какие либо преобразования. Журнал, задуманный с этой целью Толстым, был запрещен государем. «Идея журнала не была в видах правительства, — и государь отказал», с горечью пишет Толстой тетеньке Татьяне Александровне 6 января 1855 г. «Эта неудача, признаюсь вам, мне доставила большое горе и много изменила мои планы. Если, Бог даст, Крымская кампания хорошо кончится, и если я не получу места, которым бы я был доволен, и если не будет войны в России, я покидаю армию и еду в Петербург в военную академию. Этот план пришел мне в голову... потому что я не хотел бы бросать литературу, которой мне невозможно заниматься в этой лагерной жизни».[4])

Карты, чтение, попытка перевода баллады Гейне, писание отрывками набросков к «Роману русского помещика» — заполняли время. Кроме всех этих занятий, Толстой взялся за совершенно не подходящую ему работу: проект переформирования армии.

Смерть Николая I, 18 февраля 1855 г., и присяга новому царю Александру II, всколыхнули Россию, вызвали огромное волнение, подъем в армии.

«Великие перемены ожидают Россию, — пишет Толстой в дневнике от 1 марта. — Нужно трудиться и мужаться, чтобы участвовать в этих важных минутах в жиз-

ни России».[5]) В своем предсказании Толстой не ошибся. С восшествием на престол молодого царя Россия вступала в новую эру. Вопрос крепостной зависимости крестьян назрел в умах культурного слоя общества и требовал разрешения. Репрессии Николая I после подавления революционных настроений декабрьского восстания еще волновали умы России. Перемены должны были наступить и чуткий ум Толстого остро следил за событиями. Литературные круги России пользовались все большим и большим влиянием на общество, к писателям прислушивались, произведениями их жадно зачитывались, ища ответов на назревшие вопросы.

Военный проект продвигался «туго», карточные долги его мучили и снова Толстой ищет спасения в отвлеченных религиозных вопросах. «Нынче я причащался, — записывает он в дневнике от 4 марта. — Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. — Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. — Привести эту мысль в исполнение я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему и когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать с о з н а т е л ь н о к соединению людей с религией, вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня».[6])

И словно в мыслях о Боге и в горьком раскаянии очистившись от налипшей на него грязи, он снова начинает усиленно писать. Он пишет «Юность» и почти одновременно задумывает Севастопольские рассказы.

«Военная карьера — не моя, и чем раньше я из нее выберусь, чтобы вполне предаться литературной, тем будет лучше».[7]) Лестные отзывы о «Записках маркера» еще больше поощряют его к писанию.

7 апреля 1855 г. Толстого перевели на 4-ый бастион. Кругом него разрывались гранаты, гремели пушки, уми-

рали — а Толстой писал. Одну за другой он рисовал жуткие картины ранений, смерти, самоотверженного геройства, мудрости и душевного величия солдат и, в то же время, их беспросветной темноты. 4-ый бастион! Мог ли человек, там не бывший, дать такое живое описание этого страшного места — наводившего ужас на всех, кто был туда назначен и откуда многие не вернулись.

«На вопрос, где он находится — «На 4-ом бастионе», — отвечает молоденький офицер, и вы непременно с большим вниманием и даже некоторым уважением посмотрите на белобрысенького офицера при словах: «на 4-ом бастионе» ... вы хотите идти на бастион... именно на 4-ый, про который вам так много и так различно рассказывали. Когда кто-нибудь говорит, что он был на 4-ом бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью; когда он говорит: я иду на 4-ый бастион, непременно заметны в нем маленькое волнение или слишком большое равнодушие; когда хотят подшутить над кем-нибудь, говорят: тебя бы поставить на 4-ый бастион; когда встречают носилки и спрашивают: откуда? большей частью отвечают: с 4-го бастиона. Вообще же существуют два совершенно различные мнения про этот страшный бастион: тех, которые никогда на нем не были и которые убеждены, что 4-ый бастион есть верная могила для каждого, кто пойдет на него, и тех, которые живут на нем, как белобрысенький мичман, и которые, говоря про 4-ый бастион, скажут вам сухо или грязно там, тепло или холодно в землянке и т. д.»

На 4-ом бастионе Толстой провел полтора месяца.

«Как вам кажется, недалеко от себя слышите вы удар ядра, со всех сторон, кажется, слышите различные звуки пуль — жужжащие как пчела, свистящие, быстрые или визжащие, как струна, — слышите ужасный гул выстрела, потрясающий всех вас и который вам кажется чем-то ужасно страшным».

«Так вот он, 4-ый бастион, вот оно, это страшное, действительно ужасное место!» думаете вы себе, испытывая маленькое чувство гордости и большое чувство подавленного страха. Но разочаруйтесь: это еще не 4-ый

бастион. Это Язоновский редут — место, сравнительно, очень безопасное и вовсе не страшное. Чтобы идти на 4-ый бастион, возьмите направо, по этой узкой траншее, по которой, нагнувшись, побрел пехотный солдатик. По траншее этой встретите вы, может быть, опять носилки, матроса, солдат с лопатами, увидите проводники мин, землянки в грязи, в которые, согнувшись, могут влезать только два человека, и там увидите пластунов черноморских батальонов, которые там переобуваются, едят, курят трубки, живут, и увидите опять везде ту же вонючую грязь, следы лагеря и брошенный чугун во всевозможных видах».

Трудно поверить, что люди не испытывают страха во время боевой опасности. Боятся все, но иные умеют из самой глубины своего существа находить в себе скрытую силу, покрываться внутренней броней — это настоящие храбрецы, другие в момент атаки, боя, несутся вперед, не думая, не соображая — эти часто приобретают звание «героев», третьи просто дрожат от страха, стараются увильнуть и иногда просто бегут. Толстой принадлежал к 1-му разряду и то, что он был наблюдателем, собирающим материал — ему помогало. Толстой «изучал» русского солдата, офицера и, наблюдая, писал: «Севастополь в различных фазах и идиллию офицерского быта».[8])

Постепенно он привыкал к опасности: «Тот же 4-ый бастион, который мне начинает очень нравиться, я пишу довольно много. Нынче кончил «Севастополь днем и ночью» и немного написал «Юность». Постоянная прелесть опасности, наблюдения над солдатами, с которыми живу, моряками и самым образом войны так приятны, что мне не хочется уходить отсюда, тем более, что хотелось бы быть при штурме, ежели он будет».[9])

Подъем духа, сила вдохновения, любовь к русскому воину и восхищение им, пронизанные порою печалью по поводу «темноты» этого воинства, выливались в словах, строчках, страницах Севастопольских рассказов.

«Главное отрадное убеждение, которые вы вынесли, — заканчивает Толстой «Севастополь в декабре 1854 года», — это — убеждение в невозможности по-

колебать где бы то ни было силу русского народа, и эту невозможность видели вы не в этом множестве траверсов, брустверов, хитро сплетенных траншей, мин и орудий одних на других, из которых вы ничего не поняли, но видели ее в глазах, речах, приемах, в том, что называется духом защитников Севастополя. То, что они делают, делают они так просто, так мало напряженно и усиленно, что, вы убеждены, они еще могут сделать во сто раз больше... они всё могут сделать. Вы понимаете, что чувство, которое заставляет работать их, не есть чувство мелочности, тщеславия, забывчивости, которое испытывали вы сами, но какое-нибудь другое чувство, более властное, которое сделало из них людей, так же спокойно живущих под ядрами, при ста случайностях смерти, вместо одной, которой подвержены все люди, и живущих в этих условиях среди беспрерывного труда, бдения и грязи. Из-за креста, из-за названия, из-за угрозы не могут люди принять эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. Только теперь рассказы о первых временах осады Севастополя, когда в нем не было укреплений, не было войск, не было физической возможности удержать его и всё-таки не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся неприятелю, — о временах, когда этот герой, достойный древней Греции, Корнилов, объезжая войска, говорил: «умрем, ребята, а не отдадим Севастополя», и наши русские, не способные к фразерству, отвечали: «умрем! ура!» — только теперь рассказы про эти времена перестали быть для вас прекрасным историческим преданием, но сделались достоверностью, фактом. Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти, не за город, а за родину. Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский...

Уже вечереет. Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и вдруг багряным светом осветило лиловые тучи, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками, колыхаемое ровною ши-

рокою зыбью, и белые строения города, и народ, движущийся по улицам. По воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, который играет полковая музыка на бульваре, и звуки выстрелов с бастионов, которые странно вторят им».[10])

Литературный мир сразу оценил Севастопольские рассказы.

«Статья Толстого о Севастополе — чудо! — пишет Тургенев Панаеву 10-го июля 1855 г. из Спасского. — Я прослезился, читая ее, кричал: ура! Мне очень лестно желание его посвятить мне свой новый рассказ. Статья Толстого произвела здесь фурор всеобщий...[11])

При дворе государя Александра II обратили внимание на рассказ «Севастополь в декабре», говорили, что государыня Александра Федоровна прослезилась, читая его, и государь приказал перевести рассказ на французский язык.[12])

«Получил письмо и статью от Панаева, записывает Толстой в дневнике 15-го июня. — Мне польстило, что ее читали государю».[13])

Толстой в это время был уже в горном местечке Бельбеке, куда он был переведен 19 мая для формирования горного взвода. Что Толстой мог писать военные рассказы, находясь на 4-ом бастионе — понятно, но как он мог под свист пуль и разрывы гранат переноситься мыслями в мирную жизнь первой своей молодости и писать «Юность» — непостижимо.

«Тот же 4-ый бастион, — записывает он 14 апреля, — на котором мне превосходно. Вчера дописал главу Юности и очень не дурно. Вообще работа Юности уже теперь будет завлекать меня самой прелестью, начатой и доведенной почти до половины работы. Хочу нынче написать главу сенокоса, начать отделывать Севастополь и начать рассказ солдата о том, как его убило. — Боже! благодарю Тебя за Твое постоянное покровительство мне. Как верно ведешь Ты меня к добру. И каким бы я был ничтожным созданием, ежели бы Ты оставил меня. Не остави меня Боже! напутствуй мне и не для удовлетворения моих ничтожных стремлений, а для

достижения вечной великой неведомой, но сознаваемой мной цели бытия».[14])

Описания военных событий, психологический анализ солдатских и офицерских типов, их перемешанные черты в этих людях: бесшабашность с чувством долга, трусость с безграничной храбростью — указывают на тонкую наблюдательность, глубокое понимание русского солдата. В рассказах Толстого впервые эта серая солдатская и офицерская масса — chair à canon — оживает и, помимо воли читателя, судьбы этих Иванов, Петров вдруг делаются вам так ценны, что вы начинаете переживать их мученья, радости, жить с ними. Впервые русские солдаты и офицеры с теми же недостатками, с тем же геройством были обрисованы Толстым.

Может быть, товарищи офицеры и не совсем понимали Толстого, может быть, он иногда оскорблял их своей отчужденностью, превосходством, которое они невольно ощущали, но Толстой своим остроумием, живостью, веселием, несомненно вносил живую струю в их серую, безотрадную жизнь и развлекал их.

«Толстой своими рассказами и наскоро набросанными куплетами одушевлял всех и каждого в трудные минуты боевой жизни, — рассказывал бывший товарищ Толстого по Севастополю. — Он был в полном смысле душой батарей. Толстой с нами, — и мы не видим, как летит время и нет конца общему веселью... Нет графа, укатил в Симферополь, — и все носы повесили. Пропадает день, другой, третий... Наконец, возвращается... ну точь-в-точь блудный сын, — мрачный, исхудалый, недовольный собой... Отведет меня в сторону подальше, и начнет покаяние. Всё расскажет: как кутил, играл, где проводил дни и ночи, и при этом, верите ли, казнится и мучится, как настоящий преступник. Даже жалко смотреть на него — так убивается... Вот это какой был человек. Одним словом, странный и, говоря правду, не совсем для меня понятный, а с другой стороны, это был редкий товарищ, честнейшая душа, и забыть его решительно невозможно».[15])

Офицеры невольно уважали Толстого за силу, ловкость, которые он сам ценил в себе и развивал, делая

гимнастику, он презирал слабых, дряблых и трусливых мужчин. Высокий, прекрасно сложенный, очень прямо и высоко несущий умную, с широким, белым лбом и ярко очерченным подбородком голову, с волнистыми каштановыми волосами, Толстой не мог быть, как он сам считал себя, безобразным и непривлекательным.

Севастопольские рассказы произвели большое впечатление: Тургенев прослезился, читая их, Панаев написал Толстому, что рассказы читает вся Россия, Писемский написал Островскому по поводу Севастопольских рассказов, что «Статья написана до такой степени безжалостно-честно, что тяжело становится читать».[16])

Случилось нечто всколыхнувшее всех, начиная с самого государя. Подпоручик артиллерии, Лев Толстой, своими рассказами с жуткой, голой правдивостью и художественной своей силой, перенес людей, спокойно сидевших в своих гостиных, на поля сражения... Толстой заставлял их думать, содрогаться, плакать...

А сам подпоручик Толстой играл в карты, сам с собой придумывал системы игры, мечтал отыграться, и одновременно с этим в мозгу его рождались и отпечатывались картины, рисовались новые образы. Он задумывался над положением крестьянства. «Мне нужно собрать деньги, 1) чтобы заплатить долги, 2) чтобы выкупить имение и иметь возможность отпустить крестьян на волю», — писал он в дневнике от 8-го июля.[17]) «Роман русского помещика», мысль которого заключается в невозможности продолжения рабства крестьян, занимала его всё больше и больше.

27 июля военный совет постановил дать решительное сражение неприятелю при Черной речке. Вследствие ли неорганизованности и безответственности командного состава, или численности врагов — атака русских была отбита, и русские понесли громадные потери. Толстой не участвовал в самом сражении, но неудача эта глубоко потрясла его.

Дело обсуждалось офицерами, критиковали действия отдельных генералов и в результате, не без участия острого сатирического юмора Толстого, составилась песня. Толстой, к великому восторгу офицеров, читал

стихи, офицеры немедленно переложили их на песню... песня распространилась с быстротой молнии в войсках.*)

Издеваться над генералами было в то время большой дерзостью и военная карьера Толстого от этого не выиграла.

В августе русские войска, после 11-ти месячной геройской защиты, сдали Севастополь. Войскам приказано было отступать. На Малаховом кургане уже развивалось французское знамя.

«По всей линии севастопольских бастионов, столько месяцев кипевших необыкновенной энергической жизнью, столько месяцев видевших сменяемых смертью, одних за другим умирающих героев, и столько месяцев

---

*) Вот несколько куплетов этой песни:

Как четвертого числа**)
Нас нелегкая несла
Горы отбирать.

Барон Вревский генерал***)
К Горчакову приставал
Когда под-шафе:

«Князь, возьми ты эти горы,
Не входи со мною в ссору,
Не то донесу».

Собирались на советы
Все большие эполеты,
Даже плац-Бекок.

Полицмейстер плац-Бекок
Никак выдумать не мог,
Что ему сказать.

Долго думали, гадали,
Топографы всё писали
На большом листу.

Чисто вписано в бумаги,
Да забыли про овраги,
Как по ним ходить.

Выезжали князья-графы,
А за ними топографы
На большой редут.

Князь сказал: «ступай, Липранди»,
А Липранди: «нет-с, аттанде,
Нет мол, не пойду».

«Туда умного не надо,
Ты пошли туда Реада,
А я посмотрю».

Вдруг Реад возьми, да спросту,
И повел нас прямо с мосту:
«Ну-ка, на уру».

Мартенау умолял,
Чтоб резервов обождал, —
«Нет, уж пусть идут».

На уру мы зашумели,
Да лезервы не поспели
Кто-то переврал.

На Федюхины высоты
Нас пришло всего три роты,
А пошли полки.

**) 4-го августа 1855 года сражение при Черной речке.

***) Барон Н. А. Вревский, бывший директор канцелярии военного министра, находясь в Крыму, побуждал кн. Горчакова дать решительную битву союзникам.

возбуждавших страх, ненависть и, наконец, восхищение врагов, — на севастопольских бастионах уже нигде никого не было. Всё было мертво, дико, ужасно, — но не тихо: всё еще разрушалось. По изрытой свежими взрывами обсыпавшейся земле везде валялись исковерканные лафеты, придавившие человеческие русские и вражеские трупы, тяжелые, замолкнувшие навсегда чугунные пушки, страшной силой сброшенные в ямы и до половины засыпанные землей, бомбы, ядра, опять трупы, ямы, осколки бревен, блиндажей, и опять молчаливые трупы в серых в синих шинелях. Всё это часто содрогалось еще и освещалось багровым пламенем взрывов, продолжавших потрясать воздух.

Враги видели, что что-то непонятное творилось в грозном Севастополе. Взрывы эти и мертвое молчание на бастионах заставляли их содрогаться; но они не смели верить еще под влиянием сильного, спокойного отпора дня, чтоб исчез их непоколебимый враг, и, молча, не шевелясь, с трепетом, ожидали конца мрачной ночи.

Севастопольское войско, как море в зыбливую мрачную ночь, сливаясь, разливаясь и тревожно трепеща всею своею массой, колыхаясь у бухты по мосту и на Северной, медленно двигалось в непроницаемой темноте прочь от места, на котором столько оно оставило храбрых братьев, — от места, всего облитого его кровью, — от места, 11 месяцев отстаиваемого от вдвое сильнейшего врага и которое теперь велено было оставить без боя.

Непонятно тяжело было для каждого русского первое впечатление этого приказания. Второе чувство был страх преследования. Люди чувствовали себя беззащитными, как только оставили те места, на которых привыкли драться, и тревожно толпились во мраке у входа моста, который качал сильный ветер. Сталкиваясь штыками и толпясь полками, экипажами и ополчениями, жалась пехота, проталкивались конные офицеры с приказаниями, плакали и умоляли жители и денщики с кладжею, которую не пропускали; шумя колесами, пробивалась к бухте артиллерия, торопившаяся убираться...

Выходя на ту сторону моста, почти каждый солдат снимал шапку и крестился. Но за этим чувством было другое — тяжелое, сосущее и более глубокое чувство как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. Почти каждый солдат, взглянув с Северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимой горечью в сердце вздыхал и грозился врагам».[18])

Эти строки Толстой дописывал в конце декабря, уже в Петербурге.

---

1) Полн. Собр. Соч. Изд. Сытина 1913 г. Т. 2, стр. 223.
2) Полн. Собр. Соч. Юбил. Гос. Изд. т. 59 № 90, стр. 280.
Там же, т. 4, «Севастополь в августе».
3) Там же, т. 47, стр. 31.
4) Там же, т. 59, стр. 291, № 92.
5) Там же, т. 47, стр. 37. Дневн. 1 марта 55 г.
6) Там же, т. 47, стр. 37. Дневн. 4 марта 55 г.
7) Там же, т. 47, стр. 38. Дневн. 11 марта 55 г.
8) Там же, т. 47, стр. 40. Дневн. 20 марта 55 г.
9) Там же, т. 47, стр. 42. Дневн. 13 апр. 55 г.
10) Там же, т. 4, стр. 16. «Севаст. в дек. мес.».
11) Тургенев и круг «Современника», изд. Academia, М. 1930, стр. 39.
12) Бирюков, П. И. — Биография Л. Н. Толстого, изд. Ладыжникова, Берлин, т. 1, стр. 275.
13) Полн. Собр. Соч. Юбил. Гос. Изд. т. 47, стр. 46. Дневник 15 июня 55 г.
14) Там же, т. 47, стр. 42. Дневник 14 апр. 55 г.
ноябрь 1900 г.
15) Назарьев, В. Н. — «Жизнь и люди былого времени». Истор. Вестн.
16) Письмо Писемского к Островскому 26 июля 1855 г. Неизданные письма к Островскому. Из Архива А. Н. Островского. Памятники литературного и общественного быта. По матер. Гос. Театральн. Музея им. Бахрушина. Изд. Academia, 1932, стр. 352.
17) Полн. Собр. Соч. Юбил. Гос. Изд. т. 47, стр. 50. Дневник 8 июля 55 г.
18) Там же, т. 4, стр. 117-119. «Севаст. в авг. 55».

ГЛАВА XI

ПЕТЕРБУРГ

21 ноября Некрасов писал Боткину: «Приехал Л. Н. Толстой... Что за милый человек, а уж какой умница! Милый, энергический, благородный, сокол-юноша! А может быть и орел. Он показался мне выше своих писаний, а уж и они хороши... Некрасив, но приятнейшее лицо, энергическое и в то же время мягкость и благодушие: глядит как гладит. Мне он очень полюбился».[1])

А 27-летний сокол, вырвавшись на волю после 4-х с половиной лет пребывания на военной службе, носился как ураган по Петербургу, упиваясь положением признанного писателя, наслаждаясь умными разговорами, порой робея, смущаясь, порой, задетый за живое, пугая приличных петербуржцев резкостью и смелостью неожиданных суждений, противоречащих общепринятым, утвержденным истинам.

Точно желая наверстать потерянное, он бросался из стороны в сторону, проводя время то с литераторами, то в светских гостиных, наслаждаясь обществом красивых и умных женщин, ездил в театры и концерты, слушал серьезную музыку, ночи напролет кутил у цыган...

Остановился Толстой у Тургенева, принявшего к себе молодого писателя с распростертыми объятьями. Но очень скоро оба писателя убедились в разности своих характеров. Несколько сентиментальный, западно-европейской складки, размеренный в своих привычках, Тургенев с некоторой опаской наблюдал за бурной, не входящей ни в какие рамки, натурой Толстого.

«У меня живет Толстой, — писал Тургенев Анненкову. — Вы не можете себе представить, что это за милый и замечательный человек — хотя он за дикую рьяность и упорство получил от меня название троглодита. Я его полюбил каким-то странным чувством, похо-

жим на отеческое. Он нам читал начало своей Юности и начало другого романа — есть вещи великолепные».[2])

Но Толстой не нуждался в отеческой опеке Тургенева, а Тургенев очень скоро понял, что «троглодита» усмирить невозможно.

Поэт Фет, впоследствии большой друг и поклонник Толстого, описывает следующую сцену из своих воспоминаний.

«Тургенев вставал и пил чай (по-петербургски) весьма рано, и в короткий мой приезд я ежедневно приходил к нему к десяти часам потолковать на просторе. На другой день, когда Захар отворил мне дверь в переднюю, я в углу заметил полусаблю с анненской лентой.

— Что это за полусабля? — спросил я, направляясь в дверь гостиной.

— Сюда пожалуйте, — вполголоса сказал Захар, указывая налево в коридор, — это полусабля графа Толстого, и они у нас в гостиной ночуют. А Иван Сергеевич в кабинете чай кушают.

В продолжение часа, проведенного мной у Тургенева, мы говорили вполголоса из боязни разбудить спящего за дверью графа.

— Вот, всё время так, — говорил Тургенев с усмешкой, — вернулся из Севастополя с батареи, остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты во всю ночь! А затем до двух часов спит как убитый. Старался удержать его, но теперь махнул рукой».[3])

В январе беззаботная, веселая жизнь Толстого нарушилась. Он получил известие из Орла, что брат его Димитрий, о котором он в то время мало думал, умирал от чахотки. Поездка эта ему была тягостна.

«Я был особенно отвратителен в эту пору, — писал он в своих воспоминаниях, как всегда, с полной откровенностью и безжалостностью бичуя самого себя. — Я приехал в Орел из Петербурга, где я ездил в свет и был весь полон тщеславия. Мне жалко было Митеньку, но мало. Я повернулся в Орле и уехал, а он умер через несколько дней».[4])

Почему Толстой уехал, не дождавшись кончины брата? Может быть, он не сознавал, насколько Митенька

был плох, может быть, обстановка, в которой находился брат, была ему невыносима. Толстой любил Димитрия и высоко ставил его душевные качества: его отношение к обиженным и несчастным, его независимость от людей предержащих, его отрицательное отношение к крепостному праву и желание служить и приносить пользу людям. Митенька всегда был странным, не такой как все, но за последнее же время он опустился, ничего не делал, пил. Теперь он умирал от чахотки и за ним ходила преданная ему рябая девка Маша, бывшая проститутка, которую он выкупил и взял к себе.

«Он был ужасен, — пишет Толстой. — Огромная кисть его руки была прикреплена к двум костям локтевой части, лицо было — одни глаза, и те же прекрасные, серьезные, теперь выпытывающие. Он беспрестанно кашлял и плевал и не хотел умереть».[5]) Может быть, эта чуждая женщина, хлопочущая у постели больного, помешала Льву ближе подойти к брату, сказать ему то, что так трудно выразить у постели умирающего и то, что иногда бывает так необходимо сказать человеку перед переходом его в новый мир. А между тем, так недавно еще, 13 марта 1854 года, Толстой писал брату:

«Передо мной стоит теперь твой портрет, которому я мысленно говорю много искреннего, дружеского, которого почему-то не пишу тебе, да и не говорил, когда с тобой виделся. Но я надеюсь, что ты сам знаешь, что я тебя очень люблю».[6])

2 февраля, узнав о смерти брата, он записывает в дневнике: «Брат Дмитрий умер, я нынче узнал это. Хочу дни проводить с завтра так, чтобы приятно было вспоминать о них».

Вернувшись, Толстой снова окунулся в петербургскую жизнь. В то время все крупные литературные силы объединились в Петербурге вокруг «Современника», а в Москве вокруг «Отечественных Записок», вдохновителем которых был С. Т. Аксаков.

«Современник» возник еще в 1836 году и одним из его основателей был А. С. Пушкин. Некоторое время

близкое участие в журнале принимал Белинский, позднее, Некрасов и Панаев купили журнал, все лучшие писатели стали в нем сотрудничать и он быстро пошел в гору.

Вероятно, писатели того времени сами не сознавали своей значимости, того, что они, все вместе взятые, создали целую эру расцвета русской литературы, русской культуры. Воспитанные на западно-европейской литературе, впитавшие в себя мощь и размах поэзии Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, смелость и острый ум Гоголя, писатели того времени шли каждый своим путем, описывая тот быт, который они лучше всего знали, создавая новые характеры, типы, вырабатывая свой собственный стиль... Ни один из них не подражал другому. Гончаров создал своего бессмертного Обломова, впоследствии ставшего нарицательным именем, Дружинин, Писемский, Некрасов — всё это были писатели с большими именами, но самым выдающимся из всех считался Иван Сергеевич Тургенев, заслуживший уже в то время большое имя в русской литературе.

Толстой был новичком, к нему присматривались, прислушивались, а он бережно лелеял зарождавшиеся в нем мысли и образы и искал собственных путей их отображения.

«Этот офицеришка всех нас заклюет! Хоть бросай перо»... — сказал про Толстого Писемский.[7]) Тургенев, по всей вероятности, решил покровительствовать молодому писателю, старался помочь ему, сойтись с ним, но молодой писатель не нуждался в покровительстве, и постепенно, сам того не сознавая, артиллерийский поручик с юнкерскими замашками, как говорил про него Тургенев, могучими плечами своими постепенно отодвигал Тургенева на второе место. Несмотря на всё свое благородство и беспристрастность, Тургеневу было трудно это пережить.

Толстой был молод, горяч, резок, не переносил никаких условностей. Тургенева шокировали его непродуманные суждения, противоречащие общепринятым мнениям, традициям, иногда даже простому приличию.

«Ни одного слова, ни одного движения в нем нет естественного, — говорил он. — Он вечно рисуется перед нами, и я затрудняюсь, как объяснить в умном человеке эту глупую кичливость своим захудалым графством»... «Хоть в щелоке вари три дня русского офицера, а не вываришь из него юнкерского ухарства; каким лаком образованности ни отполируй такого субъекта, всё-таки в нем просвечивает зверство».[8])

А Толстой, чувствуя покровительственный, «отечественный» тон Тургенева, как сорвавшийся с цепи мальчишка, на зло всем и каждому, продолжал противоречить и задирать собратий своих по перу, выражая мнения, приводящие даже его защитников в полное недоумение.

Сотрудники «Современника», Некрасов, Панаев и другие, понимали, что Тургенев, может быть, и бессознательно испытывает чувство смутной ревности к Толстому и защищали его, но и они пришли в ужас, когда Толстой, приглашенный на ужин, устраивавшийся в редакции «Современника», при Тургеневе и других горячих поклонниках Жорж Занд, напал на нее. Не помогли уговоры и предупреждения Д. В. Григоровича, приехавшего с Толстым на этот ужин. Первую половину вечера Толстой вел себя прилично и хорошо, молчал, но к концу ужина сорвался. «Услышав похвалу новому роману Ж. Занд он резко объявил себя ее ненавистником, прибавив, что героинь ее романов, если бы они существовали в действительности, следовало бы, ради назидания, привязать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам».[9])

Тургенев был взбешен и написал Боткину возмущенное письмо:

«С Толстым едва ли не рассорился — нет, брат, невозможно, чтобы необразованность не отозвалась так или иначе. Третьего дня, за обедом у Некрасова, он по поводу Жорж Занд высказал столько пошлости и грубости, что передать нельзя. Спор зашел далеко — словом, он возмутил всех и показал себя в весьма невыгодном свете».[10])

Но Толстой не унимался и продолжал возмущать сотрудников «Современника» своей неслыханной дерзостью. «Вот бы наслышались чудес! — говорил Панаев одному своему знакомому. — Узнали бы, что Шекспир дюжинный писатель, и что наше удивление и восхищение Шекспиром — не более как желание не отставать от других и привычка повторять чужие мнения... Да, это курьезно! Человек не хочет знать никаких традиций, ни теоретических, ни исторических!»[11])

Очевидно и здесь мнение Толстого было принято только за желание порисоваться, пооригинальничать. На самом же деле Толстой действительно никогда не восхищался Шекспиром и если в те годы он еще недостаточно проанализировал свое отношение к Шекспиру, то, позднее, в статье своей о нем, написанной в 1903 году, Толстой приводит серьезные критические доводы, развенчивающие великого драматурга.

С самого детства общепринятые понятия не имели никакого значения для Толстого. «Все так думают, все так делают», никогда не являлось для него законом и иногда достаточно было сказать, что «все так думают» для того, чтобы Толстой полез на стену, подвергая такое суждение всестороннему, острому анализу.

Часто он бывал нетерпим, почти груб; увлекаясь, терял свойственную ему застенчивость, говорил неприятные вещи, о которых впоследствии сожалел. В спокойные минуты он сознавал, что его резкие выпады не могут убедить людей, а только раздражают их. В записной книжке от 3 декабря 1856 года он пишет: «Избави Бог действовать на него (другого человека) прямо, как разбить куколку червяка и оставить его голого; а надо кормить червяка, чтобы он вырос из куколки и сам сбросил ее, когда он уже бабочка».[12])

Многие обижались, сторонились Толстого, другие любили его и прощали ему его выпады. «Толстой написал превосходную повесть «Два гусара», — пишет Некрасов Боткину 17 апреля, — она у меня будет в номере 5-м «Современника». Милый Толстой! Как журналист

я ему обязан в последнее время приятными минутами, да и человек он хороший, а блажь уходится».[13])

28 марта Боткин пишет Некрасову: «Поклонись Толстому: я чувствую к нему какую-то нервическую, страстную склонность... я не дождусь видеть Толстого, к которому, чувствую, привязанность моя, молча и независимо от всякого сознания, растет в глубину».[14])

В старости Толстой не любил вспоминать это время. Свои мечты о создании журнала, восторги и разочарования, литературные вечера, где читались новые произведения, только что вышедшие из-под пера Островского, Аксакова, Тургенева и других — всё это Толстой забыл — осталась жестокая критика жизни и деятельности того времени. «Жизнь вообще идет развиваясь, — писал он в своей «Исповеди», жестоко обличая себя и своих сотоварищей литераторов. — В этом развитии главное участие принимаем мы — художники, поэты. Наше призвание — учить людей. ...Я, художник, поэт — писал и учил, сам не зная чему».

Учил ли он?

Сам Толстой много раз впоследствии говорил о том, что творчество несовместимо с учительством. Невольно вспоминается стихотворение Пушкина:

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.

Разве могут поэты, писатели, художники в такие минуты хладнокровно рассуждать о том, что они призваны учить людей?

Бежит он дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы.

(«Поэт», стих. А. С. Пушкина)

---

[1]) «Печать и революция», 1928, № 1, стр. 49-50. Также Апостолов, Н. Н. «Лев Толстой и его спутники», гл. «Лев Толстой и Некрасов». М. 1928.
[2]) Письмо Тургенева Анненкову 9 дек. 55 г. «Лит. газета» 1931, № 31.
[3]) Фет, А. А. «Мои воспоминания», гл. III, стр. 105-106.
[4]) Бирюков. Биография, т. I, стр. 310.
[5]) Бирюков, П. И. Биография Л. Н. Толстого, т. 1, стр. 310.
[6]) Полн. собр. соч. Т. 59, стр. 258. Юбилейное изд. Госиздат.
[7]) А. Ф. Кони, Биографический очерк «И. Ф. Горбунов». Полн. собр. соч. И. Ф. Горбунова, т. 1, стр. 106.
[8]) Панаева-Головачева, «Воспоминания», стр. 335. М. Academia, 1927.
[9]) Д. В. Григорович, «Литературные воспоминания». М. Academia, 1928.
[10]) В. П. Боткин и И. С. Тургенев, Переписка. Стр. 78-79. Издат. Academia.
[11]) В. Н. Назарьев, «Жизнь и люди былого времени». Истор. Вестник, 1890, ноябрь, стр. 442.
[12]) Записная книжка 1856-57 г.г. 3 дек. 1856. Полн. Собр. Соч. Т. 47, стр. 200.
[13]) Письмо Некрасова Боткину, «Печать и Революция» 1928, кн. 1, стр. 92-93.
[14]) Письмо Боткина Некрасову, «Голос Минувшего», 1916, № 10, стр. 92.

ГЛАВА XII

НЕУДАЧИ

В марте месяце 1856 г. император Александр II обратился к московскому дворянству с речью о необходимости уничтожения крепостного права. Мир в то время был уже заключен и правительство, чувствуя всё более и более назревавшую необходимость срочных реформ, прислушивалось к общественному мнению и шло ему навстречу.

Речью Государя вопрос об отмене крепостного права был предрешен и вся лучшая передовая часть дворянства стала предпринимать шаги к освобождению крестьян в своих поместьях.

Одним из таких помещиков был Лев Толстой. Еще 2-го августа 55 г. в Крыму, обдумывая «Роман русского помещика», он записал в своем дневнике, что в основу этого романа должна быть положена мысль «невозможность жизни правильной помещика образованного нашего века с рабством».[1])

Речь Государя снова натолкнула его на этот вопрос. «Мое отношение к крепостным начинает сильно тревожить меня»,[2]) пишет Толстой в дневнике от 22 апреля, и на следующий же день он поехал к писателю Кавелину, который дал ему обильный материал по вопросу о крепостном праве.

«Приехал от него (Кавелина) веселый, надежный, счастливый, — писал Толстой в дневнике от 23 апреля, — поеду в деревню с готовым проектом».[3])

Но оказалось, что освобождение крестьян было совсем не легким делом. Толстой встретил целый ряд препятствий на своем пути. Мало того, что надо было составить проект, но при представлении этого проекта в министерство внутренних дел, Толстой наткнулся на обычную правительственную чисто формальную волокиту, которая приводила его в отчаяние. Наконец, с готовым

проектом, полный радужных надежд, с чувством морального удовлетворения, что он наконец освободится от того гнета, который стал с такой силой давить его, он поехал в Ясную Поляну.

По дороге он остановился в Москве, где познакомился с сотрудниками «Отечественных записок». С. Т. Аксаков дружески принял Толстого, познакомил его с Хомяковым, читал ему отрывки из своей «Семейной хроники». «Хорошо, очень хорошо», — кратко отозвался Толстой о произведении Аксакова.[4])

Вместе с Константином Александровичем Иславиным он заехал в подмосковное имение Глебово-Стрешнево, где жила Любовь Александровна, Любочка, вышедшая замуж за придворного доктора, Андрея Евстафьевича Берса — сестра Константина Александровича. Простой, здоровый и добропорядочный уклад семьи Берсов, где Толстой впервые обратил внимание на свою будущую жену, понравился Толстому и он записал в своем дневнике:

«Дети нам прислуживали, что за милые, веселые девочки».[5])

Но мысли Толстого были уже в Ясной Поляне, куда он торопился, чтобы завершить то дело, которое больше всего его интересовало в это время. По приезде в деревню, он, не откладывая ни одного дня, немедленно собрал сходку крестьян для объявления им о своем решении — проведении проекта своего в жизнь.

«Был на сходке, — записал он в дневнике от 28 мая. — Дело идет хорошо. Мужики радостно понимают. И видят во мне афериста, потому верят».[6]) Единственно, с кем он мог поговорить о волнующем его вопросе, была тетенька Татьяна Александровна, но она не разделяла восторгов своего любимого Левочки и не сочувствовала его либеральным идеям. Самое ужасное было то, что сами мужики приняли благородный порыв своего барина тупо-равнодушно и не поверили ему. Не поверили именно потому, что видели в помещиках аферистов, которые из выгоды держат их в рабстве и если теперь и шли на какие-то уступки, то только потому, что где-то была скрыта их собственная в этом выгода, в которой

они, по «темноте своей», не умели разобраться. Им и в голову не могло придти, что у помещика могло быть какое-либо другое побуждение, кроме выгоды, и что их молодой барин хотел им помочь, сделать им добро, дав им свободу.

3 июня Толстой написал в своем дневнике: «Вечером сходки не было, но узнал от Василья, что мужики подозревают обман, что в коронацию всем будет свобода, а я хочу их связать контрактом».[7])

Но он упорно продолжал беседовать с мужиками, убеждая их принять свободу, а они упорно и тупо стояли на своем, боясь обмана.

«Не хотят свободу, — записал Толстой 4 июня в своем дневнике. — Вечером беседовал с некоторыми мужиками, и их упорство доводило меня до злобы, которую я с трудом мог удерживать».[8])

«Два сильных человека связаны острой цепью, — пишет он 9 июня, — обоим больно, как кто зашевелится, и как один зашевелится, невольно режет другого, и обоим простора нет работать».[9])

Крестьяне ждали «свободы» от «царя-батюшки», шел слух, что и землю помещичью крестьяне получат даром, а граф требовал за нее небольшого выкупа.

Так кончилась эта вторая попытка Толстого подойти ближе к крестьянам.

За последнее время, из литературных работ, он закончил своих «Двух гусар», гениальное произведение по глубине психологического анализа двух военных типов: отца — лихого, бесшабашного молодца, широкого, разгульного и невольно привлекающего к себе симпатии читателя, и сына — расчетливого, мелкого, неприятного типа, встречающегося и в современной жизни. Попрежнему Толстой с увлечением работал над «Юностью».

Жизнь била в нем ключом. Природа, музыка, красивые женщины действовали на него как шампанское, порою побуждая его к творчеству, порою вызывая острое желание личного счастья, любви к женщине...

Он знал, что единственное лекарство, которое могло исцелить, упорядочить его внутреннюю и внешнюю жизнь — была женитьба.

Жениться! Но на ком? Женитьба свяжет его на всю жизнь и он боялся этого решительного шага. Застенчивость, робость мешали ему подойти к порядочным женщинам, сближаться с ними. А тут еще перед самым отъездом из Москвы он случайно встретил и страстно, по-мальчишески, влюбился в сестру своего друга Дмитрия Алексеевича Дьякова, Александрин Оболенскую.

«Не узнал Александрин Оболенскую, — записывает он в дневнике от 22 мая. — Так она переменилась. Я не ожидал ее видеть, поэтому чувство, которое она возбудила во мне было ужасно сильно... Да и теперь мне ужасно больно вспомнить о том счастии, которое могло бы быть мое»...[10])

Несмотря на то, что ему показалось, что Александрин могла бы разделить его чувства, он все же решил уехать, записав в своем дневнике (24 мая) «Скучал жестоко, не предвидя возможности увидеть нынче Александрин. Оставаться незачем, но уехать ужасно не хочется. Четыре чувства с необычайной силой овладели мной: любовь, тоска раскаяния (однако приятная), желание жениться (чтобы выйти из этой тоски), и природы».[11])

Тетенька по-своему толковала состояние Левочки и тоже считала, что его давно пора женить.

В семи верстах от Ясной Поляны, недалеко от Киевского шоссе, по дороге в Тулу, в уютном, старинном имении жили три барышни Арсеньевы, опекаемые тетушкой и француженкой-гувернанткой. Это были самые обыкновенные мечтающие о женихах барышни: благовоспитанные, говорящие по-французски, хорошенькие, хорошей семьи, хотя и не из высшего аристократического круга. Самой привлекательной из трех была Валерия, и ее-то и прочили в невесты Льву Толстому.

По дороге из Москвы в Ясную Поляну Толстой заехал к Арсеньевым и с той поры стал постоянно бывать у них. Тетенька Татьяна Александровна радовалась: наконец-то Левочка образумится и женится на порядочной девушке. Арсеньевы радушно принимали Толстого, а он, окруженный заботами и вниманием всех этих женщин, присматривался и никак не мог решить: о н а ли это?

Та ли это женщина, с которой он должен связать себя на всю жизнь? Любит ли она его по-настоящему? Любит ли он ее? Что в ней? Есть ли в ней пока еще скрытый для него, неиссякаемый источник живой воды, могущий утолить постоянную его жажду духовного общения с близким человеком, или же, докопавшись до истинной ее сути, он наткнется на безвкусную, подпочвенную мутную водичку, которая не только не утолит этой жажды, но еще больше замутит его душу?

Иногда пешком, иногда верхом он совершал свои одинокие прогулки, любуясь то перламутровым, прозрачным оттенком в тучах серого дня, то извилистыми тропинками в девственных, заросших орешником лесах. В воскресенье, сокращенными дорогами, он шагал через лес и поле три версты в церковь, где со всех деревень собирались крестьяне и помещики; где у кирпичного забора лениво мотали головами и обмахивались редкими хвостами от назойливых мух маленькие, лохматые лошаденки, запряженные в телеги; где в церкви, набитой народом, было душно, пахло ладаном, кричали дети, которым разряженные в расшитых занавесках, паневах и плисовых безрукавках бабы, совали в рты разжеванные мякиши хлеба, чтобы не орали; где вокруг церкви бродили парни в новых, чистых рубахах и высоких сапогах, густо смазанных дегтем; где на погосте, среди могил, выделялся кирпичный фамильный склеп с останками родителей Толстого.

В жаркие, знойные дни Толстой ездил в свой любимый Грумонт. Он привязывал лошадь и купался в маленьком, нагретом горячим солнцем озере, насыщенном холодными ключами, неожиданно, полосами охватывающими тело. Он наслаждался и озером, и доброй лошадью, движение мышц которой он чувствовал под своим телом, он наслаждался запахом лошадиного пота, пробивающегося каемкой белой пены из-под потника, и теплой сыростью леса, и запахом сена, и встречей по дороге с мужиками и бабами, с которыми он, останавливаясь, любил поговорить... Клубились в голове мысли, создавались образы, росло радостное, почти восторженное сознание причастности его к миру, к Богу...

Он наивно думал, что он найдет кого-то, кто сможет его понять.

Если бы он по-настоящему был влюблен в Валерию, он не мог бы устоять и женился бы на ней, но, повидимому, и этого не было.

«Провел весь день с Валерией, — записал он в дневнике от 1-го июля. — Она была в белом платье с открытыми руками, которые у нее нехороши. Это меня расстроило. Я стал щипать ее морально и до того жестоко, что она улыбалась незаконченно. В улыбке слезы. Потом она играла, мне было хорошо, но она уже была расстроена».[12])

Порою он умилялся, порою мечтал, иногда впадал в отчаяние от пустоты Валерии, ее легкомыслия, в глубине души сознавая, что она пустоцвет: «без костей и без огня, точно лапша. А добрая. И улыбка есть, болезненно покорная».[13])

В письме от 23 августа он с едкой желчью, злобно, отчасти несправедливо набросился на Судаковских барышень. Они были в Москве на коронации Императора Александра II и с милой наивностью в письме к тетеньке Татьяне Александровне описали свои впечатления. Они очень веселились, на них произвели впечатление блестящие флигель-адьютанты, их платья «со смородиной чуть не помяли»...

«Неужели какая-то смородина de toute beauté, haute volée и флигель-адьютанты останутся для вас верхом всякого благополучия? Ведь это жестоко! Для чего вы писали это?

... Насчет флигель-адьютантов — их человек 40, кажется, а я знаю положительно, что только два не негодяи и дураки, стало быть радости тоже нет... Как я рад, что измяли вашу смородину на параде»...[14])

«Во мне были, — как он писал ей, — два человека: умный и глупый». Глупый человек порою собирался на ней жениться. «Ведь ты счастлив, — рассуждал он, когда ты с ней, смотришь на нее, слушаешь, говоришь»... «Умный» же человек в Толстом обливал «глупого» холодной водой. «Месяц безалаберного счастья, — писал он ей уже с дороги в Петербург, куда он уехал для

того, чтобы в разлуке с Валерией проверить свои чувства к ней. — Я отдавался ему перед моим отъездом и чувствовал, что становлюсь дурен и недоволен собою; я ничего не мог говорить вам, кроме глупых нежностей, за которые мне совестно теперь. На это будет время, и счастливое время! Я благодарю Бога, что Он внушил мне мысль и поддержал в намерении уехать, потому что я один не мог бы этого сделать. Я верю, что Он руководил мной для нашего общего счастья. Вам простительно думать и чувствовать так, как глупый человек, но мне бы было постыдно и грешно. Я уже люблю в вас вашу красоту, но я только начинаю любить в вас то, что вечно и всегда драгоценно — ваше сердце, вашу душу. Красоту можно узнать и полюбить в час и разлюбить так же скоро, но душу надо узнать. Поверьте, ничего в мире не делается без труда, даже любовь, самое прекрасное и естественное чувство... Я вас вспоминаю особенно приятно в трех видах: 1) Когда вы на бале попрыгиваете как-то наивно на одном месте и держитесь ужасно прямо, 2) когда вы говорите слабым болезненным голосом немножко с кряхтеньем и 3) как вы на берегу Грумонтского пруда в тетинькиных огромных вязаных башмаках злобно закидываете удочку. Глупый человек всегда с особенной любовью представляет вас в этих трех видах»... Так пишет «глупый». «Главное, — добавляет к письму «умный», — живите так, чтобы ложась спать, можно было сказать себе: нынче я сделала 1) доброе дело для кого-нибудь, 2) сама стала жить немножко лучше. Попробуйте, п о ж а л у й с т а, п о ж а л у й с т а, определите себе вперед занятия дня и вечером поверять себя. Вы увидите, какое спокойное и большое наслаждение каждый день сказать себе: нынче я стала лучше, чем вчера».[15])

Так подготовлял он постепенно и себя и ее к браку. Можно себе легко представить, что с ним было, когда он вдруг узнал, что Валерия флиртовала с каким то французом, учителем музыки Мортье. «В Москве один господин, который вас знает, рассказывал мне, что вы влюблены в Мортье, что вы каждый день бываете у него и вы в переписке с ним». Возможно, что случай этот послужил главной причиной конечного разрыва с Валерией. «Мне

было больно, страшно больно было потерять теперь то чувство увлечения, которое в вас есть ко мне, но уже лучше потерять его теперь, чем вечно упрекать себя в обмане, который бы произвел ваше несчастье».

Переписка Толстого с Валерией продолжается еще некоторое время, как будто ему жалко отрываться от создавшихся отношений, от созданной «глупым» человеком мечты. Иногда она прерывается, но затем снова возобновляется и, наконец, 14 января 1857 года, перед поездкой заграницу, Толстой пишет ей прощальное письмо:

«Я не переменился в отношении вас и чувствую, что никогда не перестану любить вас т а к, к а к я л ю б и л, т. е. дружбой... потому что никогда, ни к какой женщине у меня сердце не лежало и не лежит так, как к вам. Но что же делать, я не в состоянии дать вам того же чувства, которое ваша хорошая натура готова дать мне. Я всегда это смутно чувствовал, но теперь наша двухмесячная разлука, жизнь с новыми интересами, деятельностью, обязанностями даже, с которыми несовместима семейная жизнь, доказали мне это вполне»...[16])

Толстой надеялся, что уехав заграницу, вдали от Валерии — он окончательно проверит свои чувства к ней.

---

1) Полн. собр. соч. Госиздат. Т. 47, стр. 58. Дневник 2 авг. 55 г.
2) Там же, т. 47, стр. 69. Дневник 22 апр. 56 г.
3) Там же, т. 47, стр. 69. Дневник 23 апр. 56 г.
4) Там же, т. 47, стр. 74. Дневник 22 мая 56 г.
Там же, Дневник 25 янв. 57 г.
5) Там же, т. 47, стр. 76. Дневник 26 мая 56 г.
6) Там же, т. 47, стр. 77. Дневник 28 мая 56 г.
7) Там же, т. 47, стр. 78. Дневник 3 июня 56 г.
8) Там же, т. 47, стр. 79. Дневник 7 июня 56 г.
9) Там же, т. 47, стр. 80. Дневник 9 июня 56 г.
10) Там же, т. 47, стр. 74. Дневник 22 мая 56 г.
11) Там же, т. 47, стр. 75. Дневник 24 мая 56 г.
12) Там же, т. 47, стр. 84. Дневник 1 июля 56 г.
13) Там же, т. 47, стр. 82. Дневник 15 июня 56 г.
14) Письмо к В. Арсеньевой от 23 авг. 56 г. Гусев, Жизнь Л. Н. Толстого, стр. 257.
15) Письмо к В. Арсеньевой от 2 ноября 56 г. Бирюков. Биография Л. Н. Толстого, гл. X, стр. 325.
16) Письмо к В. Арсеньевой от 24 янв. 57 г. Бирюков. Биография Л. Н. Толстого, гл. X, стр. 274.

ГЛАВА XIII

ЛИТЕРАТОРЫ. ЗАГРАНИЦА. СМЕРТНАЯ КАЗНЬ.

«Первое условие популярности автора, т. е. средства заставить себя любить, есть любовь, с которой он обращается со всеми своими лицами. От этого Диккенсовские лица — общие друзья всего мира: они служат связью между человеком Америки и Петербурга»,[1]) — писал Толстой в своей записной книжке в то время, как слава его возросла настолько, что все журналы — «Современник», «Библиотека для чтения», «Отечественные записки» — старались наперебой заполучить его произведения. Он старался удовлетворить их всех, но связанность с ними тяготила его.

«Как хочется поскорее отделаться с журналами, чтобы писать так, как я теперь начинаю думать об искусстве. Ужасно высоко и чисто»,[2]) — писал он в дневнике ноября 23, в Петербурге.

И сам того не сознавая, он как раз писал так, как, по его мнению, надо было, вкладывая в своих героев неограниченный запас любви, скопившийся в его душе, заставляя читателей своих любить их так, как он любил их сам. Но силу своей творческой мощи он тогда еще не вполне сознавал.

«Когда я жил в Петербурге после Севастополя, Тютчев, тогда знаменитый, сделал мне, молодому писателю, честь и пришел ко мне... меня поразило, как он, всю жизнь вращавшийся в придворных сферах, говоривший и писавший по-французски свободнее, чем по-русски, выражал мне свое одобрение по поводу Севастопольских рассказов, особенно оценил какое-то выражение солдат; и эта чуткость к русскому языку меня удивила чрезвычайно».[3])

30 ноября Толстой записал в дневнике: «Государь читал «Детство» и плакал».[4]) И известие это, без сомне-

ния, произвело бо́льшее впечатление на Толстого, чем приевшаяся ему журнальная критика.

Вращаясь в кругу писателей, критиков, он все же близко не сходился с ними. Его раздражало, когда его старались завести в какие-то оглобли, приклеить к нему штамп «литератора». Как норовистая лошадь, он разбивал эти оглобли, вырывался на свободу и несся по собственному своему, никем не начертанному, пути: «Литературная подкладка противна мне до того, как ничто никогда противно не было»,[5]) — записывает он в дневнике от ноября 22-го.

Общепринятый, штампованный либерализм с партийными рамками, теориями, программами был ему всегда чужд. «Есть два либерализма, — писал он в записной книжке от ноября 18-го, 1856 года. — Один, который желает, чтобы все люди были равны мне, чтобы всем было так же хорошо, как мне, другой, который хочет, чтобы всем было так же дурно, как мне. Первый — основан на нравственном, христианском чувстве, желании счастья и добра ближнему; другой — на зависти, на желании несчастья ближнему».[6])

На этом понятии либерализма, основанном на «христианском чувстве», возникло все дальнейшее философское мировоззрение Толстого.

Крепостное право продолжало его тревожить.

«Помянут мое слово, — писал он в дневнике 8 января 1857 года — что через два года крестьяне поднимутся, ежели умно не освободят их до этого времени».[7]) Праздные же разглагольствования о «благе народа» в удобно обставленных гостиных среди людей, по существу не понимавших этого «народа», сладкая, розовая водичка, разводившаяся этими признанными «либералами», по-настоящему глубоко не болевшими его судьбами — возмущали его.

«Все мне противны, — пишет он с болью. — И противны за то, что мне хочется любви, дружбы, а они не в состоянии»...[8])

И как они ни старались, кружку «прогрессивных литераторов» так и не удалось ввести норовистого коня в свои оглобли.

«Одиночество для меня тяжело, — писал он, — а сближение с людьми невозможно. Я дурен, а привык быть требовательным».[9])

Он усиленно искал душевной близости с Тургеневым, но из этого также ничего не выходило. Некрасов отталкивал его своим банальным либерализмом и среди всех его товарищей по перу не находилось никого, с кем он мог бы подружиться. Лучше других Толстого понимал Боткин и искренно любил его: «Толстой несколько странен, — писал он своему брату от 12 марта 61 года, — но что касается до души его, то она у него глубока, как море». Боткин несколько раз выражал это свое чувство к «ясному соколу», как его называл Некрасов, и в тяжелые минуты Толстой иногда делился своим настроением с Боткиным. Как чувствительный барометр, Толстой реагировал на малейшие колебания атмосферы. Встречи с людьми, природа, музыка, литература швыряли стрелку то вправо, то влево, вызывая бурю мыслей, ощущений, претворявшихся неминуемо в творчество.

«Всю ночь спал дурно. Эти дни я слишком много слушал музыки».[10])

«Статья о Пушкине (Белинского) — чудо! Я только теперь понял Пушкина».[11])

Один раз он пошел обедать к Боткину, там никого не было, кроме Панаева, который стал после обеда вслух читать Пушкина. «Я вошел в комнату Боткина, — пишет Толстой, — и там написал письмо Тургеневу, потом сел на диван и зарыдал беспричинными, но блаженными поэтическими слезами. Я решительно счастлив всё это время, упиваясь быстротой морального движения вперед».[12])

26 ноября 1856 года Толстой получил отставку, которой он так долго ждал. Теперь его ничего не связывало — ни военная служба, ни Валерия, отношения с которой были вполне выяснены, ни вопрос о раскрепощении крестьян, кончившийся так неудачно. Он решил поехать заграницу. Тургенев был уже в Париже и ждал Толстого.

«Толстой мне пишет, что он собирается сюда ехать... По письмам я вижу, что с ним совершаются самые бла-

годатные перемены, и радуюсь тому, как нянька старая»,[13]) писал он Дружинину. И по приезде Толстого в Париж «старая нянька», по первому впечатлению, осталась довольна своим питомцем, потому что после свидания с Толстым, Тургенев пишет Полонскому: «Толстой здесь. В нем произошла перемена к лучшему весьма значительная... Этот человек пойдет далеко и оставит за собой глубокий след».[14])

Но очень скоро у Тургенева наступает разочарование: «С Толстым я все-таки не могу сблизиться окончательно, — пишет он Колбасину, — слишком мы врозь глядим».[15])

Несмотря на это, писатели постоянно виделись, ездили вместе в Дижон. Казалось, неведомая сила влекла их друг к другу и, сталкиваясь, они неизменно отскакивали друг от друга. «Зашел к Тургеневу. — записывает Толстой в дневнике 4/16 марта, — он дурной человек по холодности и бесполезности, но очень художественно умный и никому не вредный».[16])

Не раз Толстой решает, что сближение его с Тургеневым невозможно. «Нет, я бегаю от него. Довольно я отдал дань его заслугам и забегал со всех сторон, чтобы сойтись с ним, — невозможно».[17])

Повидимому, он был прав. Тургенев не мог понять ни его бурной непоследовательности, ни его резких скачков в непонятное, ни его отрицания «принятого», его сомнений, его угрызений совести после падений.

«Вчера ночью мучило меня вдруг пришедшее сомнение во всем, (Дневник). И теперь, хотя оно не мучит меня, оно сидит во мне. Зачем, и что я такое? Не раз уж мне казалось, что я решаю эти вопросы, но нет, я их не закрепил жизнью»...[18])

Живя в Париже, Толстой старался, как мог, упорядочить свою жизнь и извлечь пользу из своего пребывания заграницей. Он усиленно занимался языками, посещал музеи, старался писать. Но вдруг случилось событие, нарушившее все его планы. (25 марта — 6 апреля). «Встал в семь часов и поехал смотреть экзекуцию. Толстая, белая, здоровая шея и грудь. Целовал Евангелие и потом — смерть, что за бессмыслица! Сильное и

не даром прошедшее впечатление. Я не политический человек. Мораль и искусство. Я знаю, люблю и могу... Гильотина долго не давала мне спать и заставляла оглядываться».[19])

С этого дня взгляд на смертную казнь навсегда определился у Толстого.

... «Вид смертной казни обличил мне шаткость моего суеверия прогресса. Когда я увидал, как голова отделилась от тела, и то и другое враз застучало в ящике, я понял не умом, а всем существом, что никакие теории разумности существующего прогресса не могут оправдать этого поступка».

И в своей статье «Так что же нам делать?» Толстой еще раз вспоминает ужас, пережитый им при виде гильотины.

«В этот момент я понял, — не умом, не сердцем, а всем существом моим, — что все рассуждения, которые я слышал о смертной казни, есть злая чепуха, что сколько бы людей ни собралось вместе, чтобы совершить убийство, как бы они себя ни называли, убийство — убийство, и что вот на моих глазах совершен этот грех. Я своим присутствием и невмешательством одобрил этот грех и принял участие в нем».[20])

То, что он испытал, глядя на эту казнь, настолько тяжело давило его, настолько пронизало ужасом все его существо, что он не в силах был один нести эту тяжесть, ему необходимо было поделиться с близкими охватившим его темным, давящим душу настроением, свалить с своих плеч хоть часть этого груза. И в тот же день он написал Боткину:

«Я видел много ужасов на войне и на Кавказе, но ежели бы при мне изорвали на куски человека, это не было бы так отвратительно, как эта искусственная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновение убили сильного, свежего, здорового человека. Там есть не разумная воля, но человеческое чувство страсти, а здесь до тонкости доведенное спокойствие и удобство в убийстве и ничего величественного... Здесь на днях сделано пропасть арестаций, открыт заговор, хотели убить Наполеона в театре, тоже будут убивать на днях, но уж

верно с нынешнего дня я не только никогда не пойду смотреть этого, никогда не буду служить нигде н и к а к о м у правительству». «Пропала радость жизни, померкло, опротивело всё»...[21])

На другой день он «встал нездоровый, читал, и вдруг пришла простая и дельная мысль — уехать из Парижа».[22])

Он вспомнил, что в Женеве жили его дальние родственницы, Александра и Елизавета Толстые, и он уехал к ним.

---

1) Полное собр. соч. Госиздат. Т. 47, стр. 169. Зап. Книжка 1856-57 г.
2) Там же, т. 47, стр. 101. Дневник 23 нояб. 56 г.
3) Гусев, Н. Н., Жизнь Л. Н. Толстого, т. 1, стр. 270.
4) Полн. собр. соч. Госиздат. Т. 47, стр. 103. Дневник 30 нояб. 56 г.
5) Там же, т. 47, стр. 101. Дневник 22 нояб. 56 г.
6) Там же, т. 47, стр. 199. Зап. Кн. 18 нояб. 56 г.
7) Там же, т. 47, стр. 109. Дневник 8 янв. 57 г.
8) Там же, т. 47, стр. 99. Дневник 13 нояб. 56 г.
9) Письмо к В. Арсеньевой от 1 янв. 57 г. Бирюков. Биография Л. Н. Толстого, гл. X, стр. 357.
10) Полн. собр. соч. Госиздат. Т. 47, стр. 108. Дневник 1 янв. 57 г.
11) Там же, т. 47, стр. 108. Дневник 4 янв. 57 г.
12) Там же, т. 47, стр. 108. Дневник 4 янв. 57 г.
13) Бирюков. Биография Л. Н. Толстого, т. 1, стр. 369.
14) Там же, т. 1, стр. 370.
15) Там же, т. 1, стр. 370.
16) Полн. собр. соч. Госиздат. Т. 47, стр. 118. Дневник 4/16 марта 57 г.
17) Там же, т. 47, стр. 118. Дневник 5/17 марта 57 г.
18) Там же, т. 47, стр. 118. Дневник 7/19 марта 57 г.
19) Там же, т. 47, стр. 118. Дневник 25 мар./6 апр. 57 г.
20) Там же, т. 17, стр. 19. «Так что же нам делать».
21) Гусев Н. Н. Жизнь Л. Н. Толстого, т. 1, стр. 282.
22) Полн. собр. соч. Госизд. Т. 47, стр. 122. Дневник 26 мар./7 апр. 57 г.

ГЛАВА XIV

«БАБУШКИ»

Отец Александрин Толстой был родным братом Ильи Андреевича Толстого — деда Льва Николаевича, следовательно Александра Толстая была двоюродной тёткой Льва. Она была еще совсем молодая, только на одиннадцать лет старше своего племянника, и Толстой в шутку прозвал ее и ее сестру, Елизавету Андреевну, «бабушками».

Александрин приехала заграницу с Великой Княгиней Марией Николаевной,[1]) при которой она состояла фрейлиной. Сестра же ее, Елизавета Андреевна, была наставницей детей Великой Княгини.

В том состоянии мрачной подавленности, в которой находился Толстой, он вспомнил про своих «бабушек» и покатил в Женеву искать у них успокоения.

Пока он ехал по железной дороге, ему, как он выразился, было «скучно». Но как только он пересел в дилижанс, ближе к земле и к природе, и его окутала волшебная лунная ночь, он пришел в восторг: «Всё выскочило и залило любовью и радостью. В первый раз после долгого времени искренно опять благодарил Бога за то, что живу», — записал он в дневнике.[2])

Как вихрь, ворвался Толстой в жизнь своих двух придворных тетушек. В своих воспоминаниях Александрин прекрасно рассказывает о настроении своего друга после его появления в Женеве.

«Париж мне так опротивел, что я чуть с ума не сошел, — говорил он ей. — Чего я там не насмотрелся. Во-первых, в maison garnie, где я остановился, жили 36 ménages, из которых 19 незаконных. Это ужасно меня возмутило. Затем, хотел испытать себя и отправился на казнь преступника через гильотину, после чего перестал спать и не знал, куда мне деваться. К счастью, узнал не-

чаянно, что вы в Женеве и бросился к вам опрометью, будучи уверен, что вы меня спасете».[3])

И Александрин, разумеется, сделала все, чтобы спасти его. Она нежно любила Льва и он это чувствовал.

«Наша чистая, простая дружба опровергала общепринятое, фальшивое мнение насчет невозможности дружбы между мужчиной и женщиной»,[4]) писала она в своих воспоминаниях.

Так ли это было? Сам Толстой был противоположного мнения и считал, что дружба между молодым мужчиной и женщиной неизбежно, всегда переходила в более сильное чувство.

«С Толстыми весело»... «очень, очень весело», писал он в дневнике от 29 апр., 11 мая. «Как я готов влюбиться, что это просто ужасно. Если бы Александрин была 10 годами моложе. Славная натура».[5]) «У Александрин чудная улыбка», — записывает он в дневнике от 31 марта, 12 апреля.[6])

О нежной привязанности Александрин к Толстому видно из писем, которые она писала ему после их разлуки.

«Находясь вблизи вас, трудно не чувствовать себя счастливой... Я не могу передать вам, сколько для меня было радостного в наших часто неожиданных встречах, как воспоминания о них ободряют меня. Все, что я люблю, исчезло вместе с Швейцарией». «Когда я вижу вас, мне всегда хочется стать лучше, а мысли о вашей дружбе (правда немножко слепой), производят на меня это действие», — писала она ему в Ясную Поляну 29 августа 1857 г.[7])

Слова эти звучат почти признанием... Да и кто возьмется определить грань между дружбой и романтической любовью? Несомненно, что их тянуло друг к другу, и что когда они бывали вместе — им было хорошо и весело. В то время, как отношения Толстого с Валерией были искусственными, неясными, с Александрин Толстому было легко и непринужденно. Она была умна, чутка, не было в ней и тени рисовки, она была уже вполне сделанным, зрелым человеком, тогда как с Валерией ему приходилось делать усилия, стараясь развивать ее, найти

в ней то, чего по существу, может быть, и не было. Его умственные запросы, любовь к искусству, литературе, природе, интерес к религиозно-философским вопросам находили отклик в чуткой, тонкой душе Александрин.

Они часто и подолгу спорили. Он не принимал ее строгого, покорного отношения к православной церкви. Она же страдала оттого, что он недостаточно придерживался всех церковных правил и обрядов, и редко ходил в церковь.

«Несмотря на различное воспитание, положение, — пишет она в своих воспоминаниях, — у нас была общая черта в характерах. Мы были оба страшные энтузиасты и аналитики, любили искренно добро, но не умели за него приняться правильно, а в сущности анализ только щекотал наше воображение и нисколько не действовал на улучшение жизни. Лев был уже тогда полон отрицаний, но больше по уму, чем по сердцу. Душа его была рождена столько же для веры, сколько для любви, и часто, сам того не сознавая, он это проявлял в различных случаях».

«Разговоры наши клонились больше к религиозным темам, но едва ли мы понимали друг друга. Где мне было в то время постигнуть всю многообразность его исключительной природы».[8])

Из Кларан Толстой переехал в Веве. «Бабушки» получили отпуск от Великой Княгини, к ним присоединились еще двое молодых людей, и вся эта молодая, веселая компания с утра до вечера бродила пешком по окрестностям Веве, останавливаясь в маленьких швейцарских пансионах, шумным своим весельем нарушая покой спокойных, благонравных туристов.

«Что за чудная поездка, — писала Александрин, — и опять какой ряд восхитительных, радостных дней». А Толстой в письмах к Александрин вспоминает эту прогулку в таких поэтических выражениях: «Мы шли до позднего вечера этими душистыми, задумчивыми, савойскими дорогами... Природа больше всего дает это высшее наслаждение жизни, забвение своей несносной природы. Не слышишь, как живешь, нет ни прошедшего, ни будущего, только одно настоящее, как клубок плавно разматывается и исчезает».[9])

Несмотря на то, что «бабушки» привыкли к строгому придворному этикету, они от души веселились и радовались всяким шалостям и веселым выходкам своего племянника, а он неустанно выдумывал какие-нибудь новые проделки. «Фарсам их не было конца, — писала Александрин. — Одна приятельница наша, старая француженка, не могла надивиться на их буйность... Они всегда являются как ураган, говорила она».

«Раз утром все отправились пешком в Глион. Там остановились в гостинице, чтобы выпить чаю. Помимо наших русских путешественников, в общей гостиной находились англичане, американцы и другие иностранцы. После чая Толстой, не обращая внимания на многочисленную публику, сел за фортепиано и потребовал от своих спутников, чтобы они начали петь. У Александры Андреевны был прекрасный голос; другая, бывшая с ними русская, тоже хорошо пела. Двое мужчин подтягивали басом, а Лев Николаевич управлял ими, как капельмейстер. Импровизированный хор пел «Боже, царя храни», русские и цыганские романсы и песни. Успех был поразительный, сидевшие в гостиной иностранцы бросились к певцам с выражением восхищения и благодарности и умоляли продолжать концерт.

На другой день то же самое повторялось в том пансионе, где остановились Толстые. Грозные англичане и англичанки до того смягчились, что не знали, как выразить свое восхищение».[10])

Отпуск Александры Андреевны кончился, но друзья продолжали видаться.

Раз Александра Андреевна с детьми Великой Княгини предприняли путешествие в Оберланд. По дороге они остановились в Вевэ, в одном из нарядных отелей.

«Едва мы уселись за стол, — рассказывает Александра Андреевна, — как кельнер пришел объявить таинственным тоном, что кто-то дожидается меня внизу. Догадавшись в чем дело, я быстро спустилась в залу, посреди которой стояли опять они. Толстой и его друзья, окутанные в длинные плащи с перьями на фантастических шляпах. Ноты лежали на полу, по примеру странствующих музыкантов, а инструменты заменялись палками. При

моем появлении раздалась невообразимая какофония, истинно tapage infernal или кошачий концерт. Голоса и палки действовали взапуски. Я чуть не умерла со смеха, а великокняжеские дети не могли утешиться, что не присутствовали при этом представлении».[11])

Дети умоляли Александру Андреевну пригласить Толстого на их пароход, чтобы вместе продолжать путешествие. Это состоялось к их большому удовольствию. Они долго помнили, как он их забавлял всякими выдумками и шутками.

«А сколько вишень он мог съесть!» — говорили они с удивлением.

---

[1]) В. К. Мария Николаевна, дочь Императора Николая 1, по первому браку Герцогиня Лейхтенбергская, по второму гр. Строганова.
[2]) Полн. собр. соч. Госиздат. т. 47, стр. 122. Дневник 27 марта/8 апр. 57 г.
[3]) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. Воспоминания, стр. 4.
[4]) Там же, стр. 15.
[5]) Полн. собр. соч. Госизд. т. 47, стр. 127. Дневник 29 апр./11 мая, 57 г.
[6]) Там же, т. 47, стр. 123. Дневник 31 марта/12 апр. 57 г.
[7]) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. № 6, 29 авг. 57 г. стр. 86.
[8]) Там же, Воспоминания, стр. 7.
[9]) Там же, № 1, 1/13 мая 57, ст. 74.
[10]) Там же, Воспоминания, стр. 9-10.
[11]) Там же, Воспоминания, стр. 9-10.

ГЛАВА XV

МАЛЕНЬКИЙ МУЗЫКАНТ

Толстому не сиделось на месте, ему хотелось все посмотреть, везде побывать и он постоянно уходил в экскурсии. Одному ему было скучно и он или присоединялся к кому-нибудь, или брал с собой спутников. В одно из таких путешествий, в середине мая, он взял с собой 11-летнего мальчика, Сашу Галахова, и отправился с ним на Жеманскую гору. В путевых заметках Толстого сохранились прекрасные описания этого путешествия и видов, которые открылись им с высоты. «Хотя мы еще не видели солнца, — писал Толстой, — но оно через нас, задевая несколько утесов и сосен на горизонте, бросало свои лучи на возвышение напротив, потоки были все слышны внизу, около нас только сочилась снеговая вода, и на поворотах дороги мы снова стали видеть озеро и Валэ на ужасной глубине под нами. Низ Савойских гор был совершенно синий, как озеро, только темнее его; верх, освещенный солнцем, совершенно белорозовый. Снеговых гор было больше, они казались выше и разнообразнее. Паруса и лодки, как чуть заметные точки, были видны на озере».[1]) Обычно, туристы останавливаются в таких местах, преувеличенно глубоко вдыхают «дивный» воздух и громко, трафаретно, восхищаются. Но Толстой и тут верен себе. Он перенес вас воображением на грандиозные высоты швейцарских гор, заставив почти физически ощутить их мощь, безбрежные дали, высоты, но сам остался равнодушен.

«Странная вещь, — записывает он в тот же день в дневнике (15/27 мая), — из духа ли противоречия или вкусы мои противуположны вкусам большинства, но в жизни моей ни одна знаменитая прекрасная вещь мне не нравилась... Я люблю, когда со всех сторон окружает меня жаркий воздух, и этот же воздух, клубясь, уходит в бесконечную даль; когда те самые сочные листья травы,

которые я раздавил, сидя на них, делают зелень бесконечных лугов; когда те самые листья, шевелясь от ветра, двигают тень по моему лицу, составляют линию далекого леса; когда тот самый воздух, которым вы дышите, делает глубокую голубизну бесконечного неба; когда вы не одни ликуете и радуетесь природой, когда около вас жужжат и вьются мириады насекомых, сцепившись ползают коровки, везде кругом заливаются птицы».[2])

Он вернулся в Кларан, но не надолго и снова отправился с Боткиным в Сен-Бернард, побывал в Шильоне, съездил в Женеву, побывал в Берне и 5 июля приехал в Люцерн.

Писал он мало и отрывками. Пытался работать над «Казаками», но не очень успешно. Настроение его постоянно менялось. Веселое настроение сменялось мрачностью, намерение упорядочить жизнь в смысле писания — не приводилось в исполнение. Природа неизменно действовала на него, как музыка, как искусство, возбуждая его к мысли и творчеству. «Восхитительная ночь, — пишет он по дороге в Берн, где он присутствовал на народном празднике; — пьяные крики, толпа, пыль не расстраивают прелести; сырая, светлая на месяце поляна, оттуда кричат коростели и лягушки и туда, туда тянет что-то. А прийти туда, еще больше будет тянуть в даль. Не наслаждением отзывается в моей душе красота природы, а какой-то сладкой болью...»[3])

«Приехал в Люцерн, — писал он тетеньке Татьяне Александровне. — Это город в северной Швейцарии, недалеко от Рейна, и я уже задерживаюсь в пути, чтобы провести несколько дней в этом очаровательном городке. Я опять совсем один и признаюсь вам, уединение часто бывает очень тяжело мне, так как знакомства, которые делаешь в отелях и по железной дороге, меня не удовлетворяют».[4])

Ему тоскливо, ему снова кажется, что он не может нравиться людям, он не легко сходится с ними, мрачные мысли лезут ему в голову: «А что, если он болен чахоткой». Но комната, в которой он устроился, — уютная. Слышна «на озере музыка, пасмурно, раины тихо стоят. В окно, на черном фоне тополей, смотрят пол-

зущие, освещенные свечкой лозы винограда»...[5]) На другой день после своего приезда Толстой опять пытался писать — но ничего не вышло, вечером он пошел обедать. В большой первоклассной гостинице, за табельдотом, много народа — чужие, чуждые. «На таких обедах, — писал Толстой в своем рассказе «Люцерн», — мне всегда становится тяжело, неприятно и под конец грустно. Мне всё кажется, что я виноват в чем-то, что я наказан, как в детстве, когда за шалость меня сажали на стул и иронически говорили: отдохни, мой любезный! — в то время, когда в жилках бьется молодая кровь и в другой комнате слышны веселые крики братьев. Я прежде старался взбунтоваться против этого чувства задавленности, которое испытывал на таких обедах, но тщетно: все эти мертвые лица имеют на меня неотразимое влияние, и я становлюсь таким же мертвым. Я ничего не хочу, не думаю, даже не наблюдаю. Сначала я пробовал заговаривать с соседями: но кроме фраз, которые повторялись очевидно в стотысячный раз тем же лицом, я не получал других ответов. И ведь все эти люди — не глупые же и не бесчувственные, а наверное у многих из этих замерзших людей происходит такая же внутренняя жизнь, как и во мне, у многих гораздо сложнее и интереснее. Так зачем же они лишают себя одного из лучших удовольствий жизни — наслаждения друг другом, наслаждения человеком»...[6])

Очевидно, он еще больше почувствовал свое одиночество среди этой холодной чопорности людей.

... «Мне сделалось грустно, как всегда после таких обедов и, не доев дессерта, в самом невеселом расположении духа, я пошел шляться по городу». В дневнике он написал: «было ужасно душевно холодно, одиноко и тяжко»... «как вдруг, — как он пишет в «Люцерне», — меня поразили звуки странной, но чрезвычайно приятной и милой музыки. Эти звуки мгновенно живительно подействовали на меня. Как будто яркий, веселый свет проник в мою душу. Мне стало хорошо, весело. Заснувшее внимание мое снова устремилось на все окружающие предметы. И красота ночи и озера, к которым я прежде был равнодушен, вдруг как новость отрадно поразили меня.

Я невольно в одно мгновение успел заметить и пасмурное, с серыми кусками на темной синеве небо, освещенное поднимающимся месяцем, и темно-зеленое гладкое озеро, с отражающимися в нем огоньками, и вдали мглистые горы, и крики лягушек из Фрешенбурга, и росистый свежий свист перепелов с того берега. Прямо передо мной, с того места, с которого слышались звуки и на которое преимущественно было устремлено мое внимание, я увидал в полумраке, на середине улицы, полукругом стеснившуюся толпу народа, а перед толпой, в некотором расстоянии — крошечного человечка в черной одежде... Я подходил ближе, звуки становились яснее. Я разбирал ясно дальние, сладко колеблющиеся в вечернем воздухе, полные аккорды гитары и несколько голосов, которые, перебивая друг друга, не пели тему, а как бы выпевая самые выступающие места, давали ее чувствовать. Тема была что-то вроде милой, грациозной мазурки. Голоса казались то близки, то далеки, то слышался тенор, то бас, то горловая фистула с воркующими тирольскими переливами. Это была не песня, а легкий мастерской эскиз песни. Я не мог понять, что это такое; но это было прекрасно. Эти сладострастные, слабые аккорды гитары, эта милая, легкая мелодия и эта одинокая фигурка черного человечка, среди фантастической обстановки темного озера, просвечивающей луны и молчаливо возвышающихся двух громадных шпицев башен и черных раин сада, всё было странно, но невыразимо прекрасно, или показалось мне таким.

Все спутанные, невольные впечатления жизни вдруг получили для меня значение и прелесть. В душе моей как будто распустился свежий благоухающий цветок. Вместо усталости, рассеяния, равнодушия ко всему на свете, которые я испытывал за минуту перед этим, я вдруг почувствовал потребность любви, полноты надежды и беспричинную радость жизни.

... Маленький человечек был, как оказалось, странствующий тиролец. Он стоял перед окном гостиницы: выставив ножку, закинув кверху голову и бренча на гитаре, пел на разные голоса свою грациозную песню. Я тотчас почувствовал нежность к этому человеку и бла-

годарность за тот переворот, который он произвел во мне...

...Маленького, может быть, и немного пошловатого человечка слушала богатая, нарядная толпа, стоя на балконах первоклассных, дорогих гостиниц, слушали его из окон, слушали гуляющие по набережной. Возможно, что некоторым и нравилось оригинальное и музыкальное исполнение тирольских песен, но когда музыкант, снявши фуражку, протянул руку, никто ничего не дал ему. Три раза он повторил фразу: "Messieurs et mesdames, si vous croyez que je gagne quelque chose..."

Из этих сотен блестяще одетых людей, столпившихся слушать его, ни один не бросил ему копейки. Толпа безжалостно захохотала. Маленький певец, как мне показалось, сделался еще меньше, взял в другую руку гитару, поднял над головой фуражку и сказал: "Messieurs et mesdames, je vous remercie et je vous souhaite une bonne nuit" — надел фуражку. Толпа загоготала от радостного смеха».[7])

Буря негодования, обиды за маленького музыканта поднялась в душе Толстого, ему казалось, что эта бездушная, богатая толпа обидела, оскорбила его самого в лице маленького художника. «Я догнал его, — пишет он в дневнике, — позвал в Швейцергоф пить»...

...«Мы пили, лакей смеялся и швейцар сел. Это меня взорвало и я их обругал и взволновался ужасно»...[8])

«Люцерн» небольшой, малоизвестный рассказ, но сила его не только в ярких, художественных описаниях природы, но и в сопоставлении пресыщенной, избалованной, богатой толпы, равнодушной, безжалостной — с бедным маленьким артистом, испытавшим горькую нужду и унижения и, вместе с тем, обладающим даром незамысловатым искусством своим пробуждать лучшие чувства в человеческой душе, возбуждать в них радость, надежды, заставлять их видеть красоту и величие природы в Божьем мире.

«Он трудился, он радовал вас, — пишет Толстой в «Люцерне», — он умолял вас дать что-нибудь от вашего излишка за свой труд, которым вы воспользовались. А вы с холодной улыбкой наблюдали его, как редкость

из своих высоких, блестящих палат, и из сотни вас счастливых, богатых, не нашлось ни одного, ни одной, которая бы бросила ему что-нибудь. Пристыженный он пошел прочь от вас, и бессмысленная толпа, смеясь, преследовала не вас, а его за то, что вы холодны, жестоки и бесчестны; за то, что вы украли у него наслаждение, которое он вам доставил, за это его оскорбляли».

...«Кто больше человек и кто больше варвар: тот ли лорд, который, увидав затасканное платье певца, со злобой убежал из-за стола, за его труды не дал ему миллионной доли своего состояния и теперь, сытый, сидя в светлой, покойной комнате, спокойно судит о делах Китая, находя справедливыми совершаемые там убийства, или маленький певец, который, рискуя тюрьмой, с франком в кармане, двадцать лет никому не делая вреда, ходит по горам и долам, утешая людей своим пением, которого оскорбили, чуть не вытолкали нынче, и который усталый, голодный, пристыженный, пошел спать куда-нибудь на гниющей соломе.

В это время, в мертвой тишине ночи, я далеко-далеко услыхал гитару маленького человечка и его голос.

Нет, сказалось мне невольно, ты не имеешь права жалеть о нем и негодовать на благосостояние лорда. Кто свесил внутреннее счастье, которое лежит в душе каждого из этих людей? Вот он сидит теперь где-нибудь на грязном пороге, смотрит на блестящее лунное небо и радостно поет среди тихой, благоуханной ночи; в душе его нет ни упрека, ни злобы, ни раскаяния. А кто знает, что делается теперь в душе всех этих людей, за этими богатыми, высокими стенами? Кто знает, есть ли в них столько беззаботной, кроткой радости жизни и согласия с миром, сколько ее живет в душе маленького человека? Бесконечна благость и премудрость Того, Кто позволил и велел существовать всем этим противоречиям».[9])

Возбужденный и ночью и музыкой, и теснившимися в его голове мыслями, Толстой вернулся в свой отель: «Ночь чудо, — записывает он в дневнике. — Чего хочется? Страстно желается? Не знаю, только не блага мира сего. И не верить в бессмертие души! Когда чув-

ствуешь в душе такое неизмеримое величие. Взглянул в окно. Черно, разорванно и светло. Хоть умереть. Боже мой! Боже мой! Что я? и куда? и где я?»[10])

Но не прошло и двух недель, Толстой в Баден-Бадене записывает в дневнике: «С утра до ночи рулетка... Свинья. Дурно, гадко»...[11])

Он сам себе противен, занимает деньги у какого-то француза, проигрывается, снова занимает деньги у Тургенева, который в это время приехал в Баден-Баден, опять проигрывается. И, наконец, обращается за помощью к Александрин. «Давно так ничего не грызло меня», — горько бичует он себя в дневнике[12])

Измученный, томимый угрызениями совести, он укатил во Франкфурт, снова искать утешения и сочувствия у своего друга, «бабушки» Александрин.

«Бесценная Саша, — пишет он про нее в дневнике. — Чудо! Прелесть. Не знаю лучше женщины».[13])

8 июля, побывав в Дрездене, где он осмотрел Музей, Толстой уехал обратно в Россию.

---

[1]) Полн. собр. соч. Госизд. Т. 5, стр. 201. Отрыв. Дневника 57 г.
[2]) Там же, т. 5, стр. 203. Отрыв. Дневн. 57 г.
[3]) Там же, т. 47, стр. 139. Дневник 22 июня/4 июля 57 г.
[4]) Письма Л. Н. Толстого. Собр. П. А. Сергеенко. К-во «Книга», 1910 г., письмо № 38, стр. 62.
[5]) Полн. собр. соч. Госизд. т. 47, стр. 141.
[6]) Там же, т. 5, стр. 5. «Люцерн».
[7]) Там же, т. 5, стр. 7. «Люцерн».
[8]) Там же, т. 47, стр. 140. Дневник 25 июня/7 июля 57 г.
[9]) Там же, т. 5, стр. 22. «Люцерн».
[10]) Там же, т. 47, стр. 140. Дневник 25 июня/7 июля 57 г.
[11]) Там же, т. 47, стр. 147. Дневник 13/25 июля 5 7г.
[12]) Там же, т. 47, стр. 147. Дневник 20 июля/1 авг. 57 г.
[13]) Там же, т. 47, стр. 148. Дневник 22 июля/3 авг. 57 г.

ГЛАВА XVI

«ПУСТЬ ПЛЮЮТ НА АЛТАРЬ»

Несмотря на то, что Толстой ожидал увидеть больше свободы и терпимости в Европе и даже в своей записной книжке подчеркнул, что «все правительства равны по мере зла и добра», и что «лучший идеал — анархия»[1]); несмотря на то, что, восхищаясь природой заграницей, он всё же тянулся к своей родной, русской природе, несмотря на то, что музеи и произведения искусства, за малыми исключениями, как например Дрезденская мадонна, мало тронули его — когда он вернулся, ему резко бросились в глаза бедность России, беспорядочность, тьма, воровство и, главное, — крепостничество.

Это свое впечатление он записал сейчас же по приезде в Петербург, в Дневнике от 6 августа: «Противна Россия, просто ее не люблю». А в письмах к Александрин Толстой он еще резче отозвался о родине: «В России скверно, скверно, скверно. В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши происходит то же патриархальное варварство, воровство и беззаконие. Поверите ли, что, приехав в Россию, я долго боролся с чувством отвращения к родине, и теперь только начинаю привыкать ко всем ужасам, которые составляют вечную обстановку нашей жизни... Ежели бы вы видели, как я, в одну неделю, как барыня на улице палкой била свою девку, как становой велел мне сказать, чтобы я прислал ему воз сена, иначе он не даст законного билета моему человеку, как в моих глазах чиновники избили до полусмерти 70-летнего больного старика за то, что чиновник зацепил за него, как мой бурмистр, желая услужить мне, наказал загулявшего садовника тем, что, кроме побоев, послал его босого по жнивью стеречь стадо и радовался, что у садовника все ноги были в ранах, — вот ежели бы вы всё это

видели и пропасть другого, тогда бы вы поверили мне, что в России жизнь — постоянный, вечный труд и борьба со своими чувствами»...[2])

Приехав в Ясную Поляну, он записал: «Прелесть Ясная. Хорошо и грустно, но Россия противна, и чувствую, как эта лживая, грубая жизнь со всех сторон обступает меня»...[3])

«Патриархальное варварство» въелось в плоть и кровь русского человека: и в добрейшую тетеньку Татьяну Александровну, не понимавшую, почему надо было отпускать дворовых людей на волю, и в соседей помещиков, и в бурмистра, и в садовника, и в старосту, который, как Толстой записал в дневнике: «глубоко презирает меня и мне трудно что-нибудь с ним сделать».

Толстой страдал от всех этих противоречий. Ему хотелось наладить хозяйство, чего нельзя было сделать, не применяя строгости. Неправда крепостничества всё больше и больше мучила его. Всё существо Толстого, в то время непротивленца не по теории, которую он выработал гораздо позднее, а по самой натуре своей — возмущалось и страдало. Он органически не мог наказывать людей, делать им больно, даже не мог спокойно сделать им выговор. Он мог рассердиться, накричать, даже ударить, но после этого всегда наступало мучительное раскаяние. Крепостной Сашка украл масло, и староста требовал, чтобы барин наказал его. Но Сашка сказал, «что он не знает, что с ним делается, когда он выпьет», и что «у него ноги гниют», и барин «увещевал и еще наградил его». «Глупо, — записал Толстой в дневнике, — но что я могу иначе делать».[4])

Разве староста мог уважать такого барина? Разве можно было навести какой-то порядок, когда барин, вместо того, чтобы наказать негодяя, еще награждает его за то, что он масло украл, да еще занимается всякими пустяками.

Николай Николаевич рассказывал о своем брате: «Левочка желает всё захватить разом, не упуская ничего, даже гимнастики. И вот у него под окном кабинета устроен бар. Конечно, если отбросить предрассудки, с которыми он так враждует, он прав: гимнастика хозяй-

ству не помешает; но староста смотрит на дело несколько иначе: «придешь, говорит, к барину за приказанием, а барин, зацепившись одной коленкой за жердь, висит в красной куртке головой вниз и раскачивается; волосы отвисли и мотаются, лицо кровью налилось; не то приказания слушать, не то на него дивиться. [5])

Легче всего было отпускать на волю дворовых людей. Это были люди безземельные — служащие при помещичьих домах: повара, горничные, дворники, кучера. Служили они своим господам всю жизнь, некоторые рождались и умирали на барском дворе, часто отец передавал свое ремесло сыну и так шло поколениями. Толстой постепенно стал отпускать своих дворовых на волю. Но и здесь часто встречались недоразумения: дворовые не хотели уходить и продолжали служить своим господам.

Всё это угнетало Толстого. «Бедность людей и страдания животных ужасны», — записал он в дневнике в Пирогове, куда поехал навестить брата Сергея.[6])

«Благо, что есть спасение — мир моральный, мир искусств, поэзии и привязанностей, — записал он в дневнике от 20 августа, — не хочется мучиться».[7])

«Сижу один, — писал он Александрин Толстой (18 авг. 1857 г.), — ветер воет, грязь, холодно, а я скверно, тупыми пальцами разыгрываю анданте Бетховена и проливаю слезы умиления, или читаю Илиаду, или сам выдумываю людей, женщин, живу с ними, мараю бумагу, или думаю, как теперь, о людях, которых люблю».[8])

Он читал Илиаду с восторгом, точно впервые открыв для себя сокровище: «Вот оно! Чудо!» — писал он в дневнике. А несколько дней спустя, после долгого перерыва, взявшись снова за чтение Евангелия, он записал: «Как мог Гомер не знать, что добро — любовь! Откровение. Нет лучшего объяснения»...[9])

Иногда у него бывала непреодолимая потребность человеческого общения и тогда он писал Александрин, единственному человеку, который со всей чуткостью умной, любящей женщины — понимала его.

«Только честная тревога, борьба и труд, основанные на любви, есть то, что называют счастьем, — писал

он ей, — а бесчестная тревога, основанная на любви к себе — это несчастье... Мне смешно вспоминать, как я думывал и как вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаяния, без путаницы, жить себе потихоньку и делать, не торопясь, аккуратно всё только хорошее. Смешно! Нельзя, бабушка. Всё равно, как нельзя, не двигаясь, не делая моциона, быть здоровым. Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость. От этого-то дурная сторона нашей души и желает спокойствия, не предчувствуя, что достижение его сопряжено с потерей всего, что есть в нас прекрасного, не человеческого, а оттуда».[10])

«Рваться, путаться»... Толстой весь в этом утверждении. Дымясь, перегорал в нем навоз, постепенно превращаясь в ценный, богатый перегной, дающий мощь и силу взращиваемым на нем могучим всходам.

Сильное, здоровое существо его требовало постоянного движения: то он ездил на ярмарки, покупал лошадей, и ему доставляло истинное наслаждение, смешиваясь с толпой, ходить по рядам привязанных к коновязям или телегам лошадей, смотреть им в зубы, торговаться, отбиваясь от назойливо пристающих цыган. Цыгане наперебой хвастались своим товаром и, лихо заломив меховые, потертые шапки, носились по площади на своих клячах, которым, для оживления, подсыпали перец под хвосты. Толстому хотелось показать барышникам, что он знаток лошадей, но по всей вероятности они надували его, тогда как Толстой был убежден, что совершил выгодную сделку. Покупатели и продавцы кричали, хлопали друг друга по рукам и, наконец, сговорившись и расплатившись за лошадь, продавец из полы в полу передавал владельцу проданную лошадь, т. е. полой кафтана держась за повод, отдавал конец его в руки покупателя. Мычали привязанные к телегам коровы, с огромными, по три дня не выдоенными выменями, из которых капало на пыльную землю

молоко; молодые ребята грызли и лихо выплевывали шелуху подсолнухов, от которых постепенно серела земля на площади...

Толстой покупал леса на сруб, сажал деревья. Голые бугры постепенно покрывались стройными рядами елей, берез и сосен. Многие леса, насажденные Толстым еще в молодости, сохранились и до сих пор. Но и этого ему было мало. Ему хотелось засадить всю Тульскую губернию лесами. Он составил целый проект лесонасаждения и покатил с ним в Петербург к министру государственных имуществ Муравьеву. Из проекта ничего не вышло, а мысли Толстого в Петербурге пошли по другому руслу.

Снова попав в литературную среду, Толстой с горечью почувствовал, что репутация его, как писателя, пошатнулась: «пала или чуть скрыпит», как он писал в дневнике (30 окт.). О «Люцерне» появилась критическая статья в «Петербургских Ведомостях», Тургенев назвал «Люцерн» морально-политической проповедью, а в «Современнике» к рассказу отнеслись более чем холодно.

Он изредка возвращался к писанию своих «Казаков», но в этот период его гораздо больше интересовал его «Погибший» или «Музыкант», в конце концов напечатанный под заглавием «Альберт».

Образ пьяного, беспутного гения-музыканта так крепко засел ему в голову, что он не мог отделаться от него. Для того, чтобы понять, почему это было так, надо знать, как Толстой относился вообще к музыке. В жизни Толстого музыка занимала огромное место. Она была для него не простым наслаждением красивых сочетаний звуков, она не представляла для него интереса, как теоретический разбор того или иного музыкального произведения, музыка — будь то простая народная песня, красивый, старинный цыганский романс, классическое произведение Моцарта, Гайдна, Шуберта или Шопена, которого он особенно любил — была для него божественным проявлением человеческой души. Когда он слушал музыку, в нем самом с необычайной силой закипали мысли, рождались новые образы, пробуждалась вся собственная его сила творчества, до глубины потрясая всё его могучее существо.

Маленький бродячий музыкант в Люцерне, пьяный погибший музыкант в кабаке -- произвели на Толстого почти что одно и то же незабываемое впечатление. Толстого потрясла мысль, что одновременно в одном и том же существе могли ужиться: пошлость, распущенность, пустота и сила божественного дара творчества, имеющая такую власть над человеческими душами.

«Звуки темы свободно, изящно полились вслед за первыми, каким-то неожиданно ясным и успокоительным светом вдруг озаряя внутренний мир каждого слушателя, — пишет он в «Альберте». — Ни один ложный или неумеренный звук не нарушал покорности внимающих, все звуки были ясны, изящны и значительны. Все молча, с трепетом надежды следили за развитием их. Из состояния скуки, шумного рассеяния и душевного сна, в котором находились эти люди, они вдруг незаметно перенесены были в совершенно другой, забытый ими мир. То в душе их возникало чувство тихого созерцания прошедшего, то страстного воспоминания чего-то счастливого, то безграничной потребности власти и блеска, то чувство покорности, неудовлетворенной любви и грусти. То грустно-нежные, то порывисто-отчаянные звуки, свободно перемешиваясь между собой, лились и лились друг за другом так изящно, так сильно и так бессознательно, что не звуки слышны были, а сам собой лился в душу каждого какой-то прекрасный поток давно знакомой, но в первый раз высказанной поэзии».[11])

Переживания эти были столь значительны для Толстого, что он должен был их излить. Но люди его не поняли. Кому нужны были эти переживания? Эти несчастные Толстовские музыканты, которым он посвятил столько умственных и душевных сил, чуть не погубили его репутацию.

Но Толстой не мог серьезно и надолго огорчаться непониманием публики. Новые произведения зарождались в нем: «Казаки», «Три смерти», «Семейное счастье».

«Теперь я спокойнее, -- писал он в дневнике от 30 октября, — я знаю, что у меня есть что́ сказать и силы сказать сильно; а там, что хочет, говори публика. Но

надо работать добросовестно, положить все свои силы, тогда пусть плюют на алтарь».[12])

Зиму 57-58 года Толстой жил в Москве, с сестрой Марией Николаевной и ее детьми и тетенькой Татьяной Александровной. Любимый старший брат Николенька часто приезжал к ним и жизнь протекала легко и весело, по-семейному. Мария Николаевна была прекрасной пианисткой, часто брат и сестра играли в четыре руки сонаты Моцарта, Гайдна, Шуберта; дом Толстых посещали музыканты, круг людей, интересующихся музыкой расширялся, постепенно создалось Музыкальное Общество, в котором принимали участие Боткин, Мортье и другие, и которое послужило основанием для создания московской консерватории.

Племянницы-дочери Марии Николаевны, Лизанька и Варенька, обожали своего веселого дядюшку, а он постоянно возился с ними, затевал разные игры, возил их в театр, поддразнивал их, шутил с ними. Молодость и жизнерадостность брали свое. «Левочка надевал фрак, — говорил про него Николай Николаевич, — белый галстук и катил на бал». Он любил щегольнуть, хорошо одевался. В своих воспоминаниях Фет, со слов товарища Толстого, знавшего его еще с Кавказа, писал:

«В то время увлечение Толстого щегольством бросалось в глаза и, видя его в новой бекеше с седым бобровым воротником, с вьющимися темнорусыми волосами под блестящей шляпой, надетою набекрень, и с модной тростью в руке, выходящего на прогулку, Борисов[13]) говорил про него словами песни: «Он и тросточкой подпирается, он калиновой похваляется».[14])

Переходы Толстого от серьезного к пустякам были самыми неожиданными: от кутежей, к разрешению вопроса крепостного права, от изучения юридических наук, к прыганью в трико через деревянного коня в гимнастическом зале, от щегольства к простоте жизни — переходы от радости к отчаянию, мыслям о смерти или своей непригодности и никчемности в жизни.

Изредка Толстой виделся с Александрин. Один раз он проводил ее до Клина по дороге в Петербург. В Кли-

ну он заехал к своей тетушке — двоюродной сестре своей матери, княжне В. А. Волконской.

В своих рассказах старая княжна унеслась в далекое прошлое. Образы неведомой ему и всё же столь любимой им матери и деда встали перед Толстым как живые. Всё слышанное Толстой сложил в сокровищницу своей памяти только для того, чтобы воспользоваться этим материалом, когда придет время.

Здесь же, у княжны Волконской, Толстой сделал первый набросок своего рассказа «Три смерти». В этом рассказе он описал смерть избалованной, богатой барыни, ямщика-крестьянина и дерева.

В письме к Александрин 1 мая 1858 г. Толстой писал о рассказе «Три смерти»:

«Моя мысль была: три существа умерли — барыня, мужик и дерево. — Барыня жалка и гадка, потому что лгала всю жизнь и лжет перед смертью. Христианство, как она его понимает, не решает для нее вопроса жизни и смерти. Зачем умирать, когда хочется жить. В обещания будущие христианства она верит воображением и умом, а всё существо ее становится на дыбы, и другого успокоения (кроме ложно-христианского) нету, — а место занято. Она гадка и жалка. Мужик умирает спокойно, именно потому что он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия — природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как барыня, и прямо, просто смотрел ему в глаза... Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красиво, — потому что не лжет, не ломается, не боится, не жалеет».[15])

«Топор низом звучал глуше и глуше, сочные, белые щепки летели на росистую траву, и легкий треск послышался из-за ударов. Дерево вздрогнуло всем телом, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колеблясь на своем корне. На мгновение всё затихло, но снова погнулось дерево, послышался треск в его стволе, и ломая сучья и спустив ветви, оно рухнуло на сырую землю.

...Первые лучи солнца, пробив сквозившую тучку, блеснули в небе и пробежали по земле и небу. Туман волнами стал переливаться в лощинах, роса, блестя, заиграла на зелени, прозрачные, побелевшие тучки, спеша, разбегались по синевшему своду. Птицы гомозились в чаще и, как потерянные, щебетали что-то счастливое; сочные листья радостно и спокойно шептались на вершинах, и ветви живых дерев медленно, величаво зашевелились над мертвым, поникшим деревом».[16])

Это было написано в период «упадка» творчества Толстого, как считали и до сих пор считают критики и биографы Толстого.

От Толстого ждали произведений политического значения, освещающих современные, злободневные события, писатель должен был, по мнению литераторов, руководить людьми, учить их, сам же Толстой думал иначе.

«Как ни велико значение политической литературы, отражающей в себе временные интересы общества, как ни необходима она для народного развития, есть другая литература, отражающая в себе вечные, общечеловеческие интересы, самые дорогие, задушевные создания народа, литература, доступная человеку всякого народа и всякого времени, и литература, без которой не развивался ни один народ, имеющий силу и сочность».

В этой речи, произнесенной Толстым 4 февраля 1859 года, когда его избрали членом Общества Любителей Российской Словесности, выразилось его отношение к литературе. Он был художником и писать иначе не мог: «Пусть плюют на алтарь».

---

1) Полн. собр. соч. Госизд. Т. 47, стр. 208. Зап. Кн. 13/25 мая 57 г
2) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. № 5, 18 авг. 57 г.
3) Полн. собр. соч. Госизд. Т. 47, стр. 150. Дневник 8 авг. 57 г.
4) Там же, т. 47, стр. 151. Дневник 9 авг. 57 г.
5) Фет А. А. «Мои Воспоминания» т. 1, стр. 237.
6) Полн. собр. соч. Госизд. Т. 47, стр. 151. Дневник 9 авг. 57 г.
7) Там же, т. 47, стр. 151. Дневник 20 августа 57 г.
8) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. № 5, 18 авг. 57 г. стр. 81.

[9]) Полн. собр. соч. Госизд. Т. 47, стр. 152, 154, Дневник 15 и 29 авг. 57 г.
[10]) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой, № 8, окт. 57 г. стр. 93.
[11]) Полн. собр. соч. Госизд. Т. 5, стр. 30. «Альберт».
[12]) Там же, т. 47, стр. 161. Дневник 30 окт. 57 г.
[13]) И. П. Борисов — зять А. А. Фета, б. женат на его сестре Надежде
[14]) Фет, А. А. «Мои Воспоминания».
[15]) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой, № 12, 1 мая 58 г. стр. 101.
[16]) «Три смерти».

ГЛАВА XVII

«У КАЖДОЙ ДУШИ СВОЙ ПУТЬ»

Как бы сильны вы ни были в любой игре или спорте — игра со слабым противником ослабляет вас. Шахматист распускается, если не чувствует сильного отпора, нередко даже проигрывает и, наоборот, подтягивается с сильным игроком, учится новым приемам.

В общении с людьми Толстой жадно выискивал людей, с которыми он мог бы состязаться мыслями, у него была потребность расширить кругозор свой, потребность разумной, пусть строгой, критики своих писаний. «С некоторого времени всякий вопрос для меня принимает громадные размеры», — записал он в дневнике от 20 марта 1858 года.[1])

«Много я обязан Чичерину, — писал он дальше. — Теперь при каждом новом предмете и обстоятельстве я, кроме условий самого предмета и обстоятельства, невольно ищу его место в вечном и бесконечном — в истории».[2])

Б. Н. Чичерин, с которым Толстой одно время подружился, поразил его своим умом и образованностью. Он был ученым юристом. Толстой с молоду интересовался юридическими науками и, познакомившись с Чичериным, жадно вбирал в себя новые для него мысли и сведения. Но когда, как Толстой выразился в дневнике, он «лил в него (Чичерина) все накопившиеся чувства», то оказалось, что Чичерин не смог охватить того моря, подчас не совсем разобранных, ясных мыслей, которые Толстой обрушил на своего ученого друга. Толстой искал в Чичерине бездонной глубины, но он быстро исчерпал всё, стукнулся о дно известной ограниченности интересов ученого и — охладел.

Впоследствии, когда Толстой всё больше и больше погружался в интересы народа и занялся вопросом образования крестьянских детей, друзья разошлись еще

больше. Чичерин не понял и не посочувствовал деятельности Толстого.

Вот что он пишет Чичерину 18 апреля 1861 года из Дрездена:

«Воспоминание о нашей последней переписке и твои два письма, которые я нашел в Дрездене, заставили меня еще раз серьезно задуматься о наших отношениях. — Мы играли в дружбу. Ее не может быть между двумя людьми, столь различными, как мы. Ты, может быть, умеешь примирять презрение к убеждениям человека с привязанностью к нему; а я не могу этого делать. — Мы же взаимно презираем склад ума и убеждения друг друга. Тебе кажется увлечением самолюбия и бедностью мысли те убеждения, которые приобретены не следованием курса и аккуратности, а страданиями жизни и всей возможной для человека страстью к отысканию правды, мне кажутся сведения и классификации, запомненные из школы, детской игрушкой, неудовлетворяющей моей любви к правде; поэтому лучше нам разойтись и каждому идти своей дорогой, уважая друг друга, но не пытаясь войти в те близкие отношения, которые даются только единством догматов веры, т. е. тех оснований, которые уже не подлежат мысли. А эти основания у нас совершенно различны. И я не могу надеяться придти к твоим, потому что уж имел их. Не могу тоже надеяться, чтобы ты пришел к моим, потому что ты слишком далеко зашел по своей соблазнительной битой дороге. Тебе странно, как учить грязных ребят. Мне непонятно, как, уважая себя, можно писать об освобождении — статью. Разве можно сказать в статье одну миллионную долю того, что знаешь и что нужно бы сказать, и хоть что-нибудь новое и хоть одну мысль справедливую, истинно справедливую. А посадить дерево можно и выучить плести лапти наверно можно».[3])

Друзья продолжали переписываться и посещать друг друга до глубокой старости, чувство взаимного уважения сохранилось, но пути их разошлись.

Александра Андреевна Толстая, брат Николай, Аф. Аф. Фет, каждый по-своему, какими-то особыми своими

свойствами, были ему ближе. Брат Николай, не любивший много разговаривать, добродушно подтрунивавший над внешними чудачествами своего младшего брата, по существу понимал его, ценил по-своему и ни малейшей нечуткостью не коробил Льва. Говорили они между собой мало, не было между ними ни малейшей сентиментальности, но было взаимное уважение и глубокое понимание друг друга.

Фет был большим умницей, всю свою жизнь он любил и ценил Толстого. Последнего же тянули к Фету его художественная чуткость, понимание красоты и величия творчества, его любовь к природе. Ему было легко и весело с ним.

Как растение к солнцу, тянулся Толстой к любовной, нежной ласке. Надо было жениться, но на ком? И единственно кто давал ему ощущение, что он не один, что есть нежно любящая душа, готовая разделить его чувство одиночества и дать ему всю силу любви и понимания, на которую она была способна, была Александрин.

«Откуда у вас берется эта теплота сердечная, которая другим дает счастье и поднимает их выше», — пишет он ей в марте 58 года.[4])

«Люблю вас, внук, — отвечает ему «бабушка», — от всей души, так, как вы есть, не скажу, что не желала бы в вас никаких изменений, — это была бы ложь...»[5])

Но кто, как не любимая «бабушка» мог понять ту жажду жизни и надежд, ту силу мыслей и чувств, которые всегда закипали в ее любимом Льве вместе с весенним возрождением природы.

«Бабушка! Весна! — пишет он ей в апреле. — Отлично жить на свете хорошим людям; даже и таким, как я, хорошо бывает. В природе, в воздухе, во всем надежда, будущность и прелестная будущность».[6])

А в дневнике он писал:

«Я молился Богу в комнате перед греческой иконой Богоматери. Лампадка горела. Я вышел на балкон: ночь темная, звездная. Звезды туманные, звезды яркие, кучи звезд, блеск, мрак, абрисы мертвых деревьев. Вот Он. Ниц перед НИМ и молчи». (20 апреля 1858 г.)[7])

И это не были слова... В этом обрисовалась вся внутренняя сущность Толстого.

Но Толстой не мог написать своей «бабушке» того, что с ним случилось. Тайну свою он, как всегда, поведал только своему дневнику: «Я влюблен, как никогда в жизни», — писал он мая 13-го. Эти слова относились к черноглазой, живой красавице крестьянке, Аксинье Базыкиной.

Трещали, цокали и заливались трелями изнемогающие от любви соловьи, надрывались, квакали лягушки, цвела черемуха, наполняя воздух приторным, одуряющим запахом, и все это, и пахнувшая свежестью молодая трава, и ландыши в лесу, и взбудораженная, вспаханная пластами земля, и красавица Аксинья — всё это слилось в одну гармонию оживающей природы.

Но прошла весна, и охладело чувство Толстого к Аксинье, лишь изредка давая вспышки, неизбежно вызывавшие раскаяние и отвращение к себе. Аксинья осталась жить со своим мужем, но Толстой продолжал изредка встречаться с ней.

Один только сын был у Аксиньи — Тимоша.

Это был могучий, широкоплечий, высокий человек, с умными серыми глазами, русой бородой и крупными чертами лица. Тимоша был малограмотный, но любил читать книги. В деревне его уважали и считали честным человеком. Необыкновенно приятный голос и культурность речи невольно обращали на себя внимание людей, встречавшихся с ним.

Природа и хозяйство настолько затянули Толстого в это лето, что он мало писал. Еще в апреле месяце он немного поработал над «Казаками», летом же почти ничего не писал и не читал.

Тетенька Татьяна Александровна пришла в ужас, когда Левочка вдруг решил сам пахать землю, а брат Николай, с обычным своим ласковым юмором, рассказывал Фету: «Понравилось Левочке, как работник Юфан растопыривает руки при пахоте. И вот Юфан для него эмблема сельской силы, вроде Микулы Селяниновича. Он сам, широко расставляя локти, берется за соху и «юфанствует».[8])

Слова: «Юфан», «юфанствовать» надолго остались в семье Толстых как понятие нарицательное, к этому слову родные Толстого примешивали некоторый оттенок слова «юродствовать». На самом же деле для Толстого — его пахота — была насущной потребностью приобщения его к земле, которую он не только любил, но частью которой он чувствовал себя всю свою жизнь. И чем ближе он подходил к «юфанам», тем больше их судьба мучила его.

В начале сентября 1858 года был созван губернский дворянский съезд для проведения выборов депутатов Тульской губернии в Комитет по улучшению быта крестьян. Толстой принимал в нем участие. На съезде было вынесено следующее постановление:

«Мы нижеподписавшиеся, в видах улучшения быта крестьян, обеспечения собственности помещиков и безопасности тех и других, полагаем необходимым отпустить крестьян на волю не иначе, как с наделом некоторого количества земли в потомственное владение, — и чтобы помещики, за уступаемую ими землю, получили бы полное, добросовестное денежное вознаграждение посредством какой-либо финансовой меры, которая не влекла бы за собою никаких обязательных отношений между крестьянами и помещиками, — отношения, которые дворянство предполагает необходимым прекратить». (Следуют подписи 105 тульских дворян, в числе которых подписался и: «Крапивенский помещик граф Лев Толстой»).[9])

Повидимому, с дворянством, так же как и в свое время с офицерами, Толстой сойтись близко не мог. И помещики также невзлюбили его. В дневнике от 3 сентября Толстой записал:

«Были выборы. Я сделался врагом своего уезда».[10])

Судя по дневнику, Толстой периодами впадал в большое уныние.

«Я страшно постарел, — записал он в сентябре, — устал жить в это лето. Часто с ужасом случается мне спрашивать себя: что я люблю? Ничего. Положительно ничего. Такое положение бедно. Нет возможности жизненного счастья».

Временами, наоборот, его охватывает какая-то мальчишеская, задорная веселость. «Душенька, дяденька Фетинька, — писал он Фету 24 октября в Москву. — Ей Богу, душенька, и я вас ужасно, ужасно люблю! Вот-те и все! Повесть писать глупо, стыдно. Стихи писать... Пожалуй пишите; но любить хорошего человека очень приятно. А может быть, против моей воли и сознания еще не я, а сидящая во мне, еще не назревшая повесть заставляет любить вас. Что-то иногда так кажется. Что ни делай, а между навозом и коростой нет-нет да возьмешь и сочинишь. Спасибо, что еще писать себе не позволяю и не позволю. Изо всех сил благодарю вас за хлопоты о ветеринаре.. Дружинин просит по дружбе сочинить повесть. Я право хочу сочинить. Такую сочиню, что уж ничего не будет. Шах персидский курит табак, а я тебя люблю. Вот она штука-то!»...[11])

Повесть, которую Толстой собирался написать между «навозом и коростой», была «Семейное счастье». Толстой в то время задумал ее, но она видимо еще не вполне созрела в нем.

В конце декабря братья Толстые, Николай и Лев, по приглашению своего знакомого, Громеки, уехали в Вышний Волочек на охоту на медведей. Эта охота чуть не стоила жизни Толстому... «Боюсь, что до вас дойдет как-нибудь с прибавлениями мое приключение, — писал он тетеньке Татьяне Александровне, — и потому сам спешу известить вас о нем.

Мы были с Николенькой на медвежьей охоте. 21-го я убил медведя. 22-го мы снова пошли, и со мной случилось нечто самое необыкновенное. Медведь, не видя меня, бросился на меня; я выстрелил в него с 6-ти шагов, первый раз промахнулся, со второго выстрела в 2-х шагах я его смертельно ранил, но он бросился на меня, повалил на землю и, пока ко мне бежали, он укусил меня два раза в лоб и под глазом...»[12])

В рассказе для детей «Охота пуще неволи» Толстой так описывает это событие:

«Впереди себя слышу вдруг — как вихрь летит кто-то, близехонько сыплется снег, и пыхтит. Поглядел я

перед собой, а он прямехонько на меня по дорожке частым ельником катит стремглав и, видно, со страху сам себя не помнит. Шагах от меня в пяти весь мне виден: грудь черная и головища огромная с рыжинкой. Летит прямехонько на меня лбом, и сыплется снег во все стороны. И вижу я по глазам медведя, что он не видит меня, а с испугу катит благим матом, куда попало».

Толстой выстрелил, первый раз промахнулся, второй раз ранил медведя.

«Он налетел на меня, — пишет Толстой дальше, — сбил с ног в снег и перескочил через меня. «Ну, думаю, хорошо, что он бросил меня». Стал я подниматься, слышу, — давит меня что-то, не пускает. Он с налету не удержался, перескочил через меня, да повернулся передом назад и навалился на меня всей грудью. Слышу я, лежит на мне тяжелое, слышу теплое над лицом и слышу забирает в пасть все лицо мое. Нос мой уже у него во рту, и чую я, жарко и кровью от него пахнет. Надавил он меня лапами на плечи, и не могу я шевельнуться. Только подгибаю голову к груди, из пасти нос и глаза выворачиваю. А он норовит как раз в глаза и нос зацепить. Слышу зацепил он зубами, верхней челюстью, в лоб под волосами, а нижней челюстью в маслак, под глазами, стиснул зубы, начал давить. Как ножами режет мне голову; бьюсь и выдергиваюсь а он торопится и, как собака, грызет, — жамкнет, жамкнет. Я вырвусь, он опять забирает. Ну, думаю, — конец мой пришел. Слышу, вдруг полегчало мне. Смотрю, нет его: соскочил он с меня и убежал».

Спас Толстого один из охотников, который подбежал с хворостиной в руке, начал кричать на медведицу: «Куда ты? Куда ты?». И медведица оставила свою жертву и убежала в лес.[13])

Через две недели ее добили. Шкура этой медведицы потом лежала в доме Толстого в Москве, в Хамовническом переулке, и младшие его дети любили лежать на ней, положив голову на большую, широкую голову зверя. Одного зуба у медведицы не было — он был выбит Толстым выстрелом, который ранил зверя.

В то время Толстой понемногу писал свое «Семейное счастье». «Надо писать тихо, спокойно, без цели печатать», — записал он в своем дневнике от декабря 13-го, 58 года.[14])

Это его настроение повидимому отразилось в его повести. Позднее, в 1862-м году, А. Григорьев писал в журнале «Время» о «Семейном счастье»: «Это — произведение тихое, глубокое, простое и высоко-поэтическое, с отсутствием всякой эффектности, с простым и неломанным поставлением вопроса о переходе чувства страсти в иное чувство».[15])

Но «Семейное счастье» не произвело впечатления в литературных кругах и Толстой сам усумнился в качестве своей повести, назвав ее «постыдной мерзостью». Толстой даже хотел остановить печатание второй части повести и сжечь рукопись.[16]) Такое настроение создалось у Толстого потому, что не было человека, который в момент выхода повести поддержал бы его своим пониманием. Даже такие близкие люди, как Александрин, хотя нашла повесть прелестной, нашла в ней элемент «самого высокого комизма». Такой отзыв был, разумеется, хуже самой жестокой критики.

Только Боткин, со свойственной ему чуткостью, поддержал Толстого. В письме от 13 мая 1859 г. он пишет:

...«Прочел я корректуру 2-ой части с самым озлобленным вниманием — и представьте! результат вышел совсем не тот, которого я ожидал: не только мне понравилась эта 2-ая часть, но я нахожу ее прекрасною почти во всех отношениях. Во-первых она имеет большой внутренний драматический интерес, во-вторых это превосходный психологический этюд, и наконец, в-третьих, — там есть глубоко схваченные изображения природы...»[17])

«Семейное счастье» — глубокая по содержанию вещь. Целый ряд сложных сплетений чувств, мыслей, а главное, лжи в чувствах — приводят двух людей в тупик, из которого нет выхода. Часто в супружеской жизни переживается та же трагедия. Проходит острый, пьяный период страсти, наступает равнодушие, раздражение, и если нет глубоких основ, спаивающих брак — он распадается.

Толстой сам судить не мог и решил, что он написал «постыдную мерзость» и писать больше не будет, а посвятит себя сельскому хозяйству.

В апреле он писал Александрин Толстой: «Начинаю говеть и буду стараться говеть так, чтобы не стыдно было перед собою, перед прежними моими требованиями и перед вашими. Нынче и погода такая, что в небе видно Бога, ежели присмотреться немного, и в себе слышно Его».[18])

Но с говеньем ничего не вышло и Толстой пишет Александрин покаянное письмо:

«Христос Воскресе! милая бабушка. Я пишу не столько потому, что недельный срок подходит, не столько потому, что хочется писать, а на совести есть ложь, в которой надо признаться. Во вторник, когда я вам писал, я расчувствовался просто от того, что погода была хорошая, а мне показалось, что мне хочется говеть, и что я чуть-чуть не такой святой, как ваша старушка. Оказалось же, что один говеть и говеть хорошо я был не в состоянии. Вот, научите меня. Я могу есть постное, хоть всю жизнь, могу молиться у себя в комнате, хоть целый день, могу читать Евангелие и на время думать, что всё это очень важно; но в церковь ходить, и стоять слушать непонятые и непонятные молитвы, и смотреть на попа и на весь этот разнообразный народ кругом, — это мне решительно невозможно. И от этого вот второй год уж осекается мое говение».[19])

Бабушка до слез огорчилась. Неверие ее Льва, как она толковала, его равнодушие к церкви — было для нее большим ударом.

...«Если бы вы, действительно, верили в силу Святых Тайн, вы бы с такой легкостью не отказались от говенья — исключительно только потому, что вам не подходила обстановка. Сколько гордости, непонимания и небрежности в этом чувстве, считаемом, вероятно, вами благоговейным и достойным уважения! Временами мне кажется, что вы совмещаете в себе одном всё идолопоклонство язычников — обожая Бога в каждом луче солнца, в каждом проявлении природы, в каждом из бесчисленных доказательств Его величия, но не понимая, что ну-

жно проникнуть к источнику жизни, чтобы просветиться и очиститься. Что значит «хорошо говеть» и кто из нас может хорошо говеть? Мы грязны, отвратительны, слабы, равнодушны и погрязли в грехах, поэтому мы должны обратиться к Тому, Кто хочет излечить нас, нас очистить и приблизить к Себе; вы же, чтобы приобщиться к Нему, ждете момента, в который вы были бы довольны собой, или по крайней мере одного из тех состояний экзальтации, когда вам кажется, что вы из себя что-то представляете. Это заблуждение, грубый материялизм, доходящий до того, что в говеньи вы прежде всего ищете индивидуального и осязательного наслаждения».[20])

Это религиозное разногласие с годами усилилось, трещина, образовавшаяся в отношениях друзей, со временем превратилась в глубокую пропасть.

«Батюшки мои! Как вы меня! Ей Богу, не могу опомниться! Но без шуток, милая бабушка, я скверный, негодный, и сделал вам больно, но надо ли уж так жестоко наказывать. Всё, что вы говорите, и правда и неправда. Убеждения человека, — не те, которые он рассказывает, а те, которые из всей жизни выжиты им, — трудно понять другому, и вы не знаете моих. И ежели бы знали, то нападали бы не так... Я был одинок и несчастлив, живя на Кавказе. Я стал думать так, как только раз в жизни люди имеют силу думать. У меня есть мои записки того времени, и теперь, перечитывая их, я не мог понять, чтобы человек мог дойти до такой степени умственной экзальтации, до которой я дошел тогда. Это было и мучительное, и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал туда, как в это время продолжавшееся 2 года. И всё, что я нашел тогда, навсегда останется моим убеждением. Я не могу иначе. Из 2 лет умственной работы я нашел простую, старую вещь, но которую я знаю так, как никто не знает, — я нашел, что есть бессмертие, что есть любовь и что жить надо для другого, для того чтобы быть счастливым вечно. Эти открытия удивили меня сходством с христианской религией, и я вместо того, чтобы открывать сам, стал искать их в Евангелии, но нашел мало. Я не нашел ни Бога,

ни Искупителя, ни таинств, ничего; а искал я всеми, всеми, всеми силами души, и плакал, и мучался, и ничего не желал кроме истины. Ради Бога не думайте, чтобы вы могли чуть-чуть понять из моих слов всю силу и сосредоточенность тогдашнего моего искания. Это одна из тех тайн души, которые есть у каждого из нас; но могу сказать, что редко я встречал в людях такую страсть к истине, какая была в то время во мне. Так и остался с своей религией, и мне хорошо было жить с ней...»

«3 мая. — ...Дело в том, что я люблю, уважаю религию, считаю, что без нее человек не может быть ни хорош, ни счастлив, что я желал бы иметь ее больше всего на свете, что я чувствую, как без нее мое сердце сохнет с каждым годом, что я надеюсь еще и в короткие минуты как будто верю, но не имею религии и не верю. — Кроме того, жизнь у меня делает религию, а не религия жизнь. Когда я живу хорошо, я ближе к ней, мне кажется — вот-вот совсем готов войти в этот счастливый мир; а когда живу дурно, мне кажется, что и не нужно ее. — Теперь, в деревне, я так гадок себе, такую сухость я чувствую в сердце, что страшно и гадко, и слышней необходимость. Бог даст, придет. Вы смеетесь над природой и соловьями. Она для меня — проводник религии. У каждой души свой путь, и путь неизвестный, и только чувствуемый в глубине ее...».[21])

У Толстого был свой, Толстовский путь. В нем он был совершенно одинок, как всегда. Не наставлений надо было ему, не нравоучений, не намечания пути. «У каждой души свой путь». Этот путь он мог пробивать только сам — ему надо было участия, ласки, душевной теплоты...

...«Знаете, какое чувство возбуждают во мне ваши письма (некоторые, как последние, в которых вы обращаете меня), — пишет он Александрин от 12 июня 1859 г., — как будто я ребенок больной и неумеющий говорить, и я болен, у меня болит грудь, вы меня жалеете, любите, хотите помочь, и примачиваете бальзам и гладите мне голову. Я вам благодарен, мне хочется плакать и целовать ваши руки за вашу любовь и ласку и

участие; но у меня не тут болит, и сказать я не умею и не могу вам...».[22])

Толстой тосковал, он был недоволен собой, неудовлетворен своей жизнью. И не было того бальзама, который мог бы облегчить его душевные страдания.

Толстой сам нашел выход, давший ему радость, и успокоение, и цель жизни и, главное, громадное нравственное удовлетворение. Цель эта была — служение людям, забытым, заброшенным крестьянским детям.

---

1) Гусев, Н. Н. — Жизнь Л. Н. Толстого, т. 1, стр. 301.
2) Там же.
3) Письма Толстого и к Толстому. Труды Публ. Библиотеки СССР имени Ленина. ГИЗ., 1928, стр. 22.
4) Переписка Л' Н. Толстого с гр. А. А. Толстой, № 9, стр. 95.
5) Там же, № 10, стр. 97.
6) Там же, № 11, стр. 98.
7) Гусев, Н. Н. — Жизнь Л. Н. Толстого, т. 1, стр. 304.
8) Фет, А. А. «Мои воспоминания», т. 1, стр. 237.
9) Бирюков, П. И. — Биография Л. Н. Толстого. Изд. Ладыжникова, т. 1, стр. 397.
10) Гусев, Н. Н. — Жизнь Л. Н. Толстого, т. 1, стр. 305.
11) Письма Толстого. Собр. П. А. Сергеенко. К-во «Книга», 1910, стр. 65.
12) Там же, стр. 67.
13) Гусев, Н. Н. — Жизнь Л. Н. Толстого, т. 1, стр. 307.
14) Гусев, Н. Н. — Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, стр. 113.
15) Гусев, Н. Н. — Жизнь Л. Н. Толстого, т. 1, стр. 309. Примечание.
16) Переписка Л. Н. Толстого с В. П. Боткиным. Памятники творчества и жизни. Ред. Срезневского. Изд. Публ. Библ-ки СССР имени Ленина. Гиз. Вып. 3.
17) Там же.
18) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. № 20, стр. 121.
19) Там же, № 21, стр. 121.
20) Там же, № 22, стр. 127.
21) Там же, № 23, стр. 131.
22) Там же, № 26, стр. 135.

ГЛАВА XVIII

ОБЩИНА СОЕДИНЕННАЯ СВЯЗЬЮ ЛЮБВИ

Перед поездкой на Кавказ Толстой впервые пробовал учить ребят в Ясной Поляне. Ему был 21 год. Но дело это было ему не по плечу. Он почувствовал, что нужна большая и серьезная работа в школе, для которой он тогда еще не созрел и он отошел от нее.

Десятью годами позднее дело народного образования в России почти не продвинулось вперед. Детей в деревнях учили или дьячки при церквах или полуграмотные отставные солдаты. Методы этих серых, некультурных учителей были просты. Они давали ученикам заучивать наизусть молитвы, псалтырь, написанные на славянском языке, и если дети плохо запоминали — били их, наказывали, ставя их на колени в угол, на горох.

Но за эти же десять лет изменился Толстой. Разочаровавшись в своем писательстве, он жаждал новой деятельности, запас творческой силы и мысли, накопившийся в нем за эти годы, искал применения и он, со свойственной ему вдохновенной страстностью, начал создавать свою собственную, основанную на свободных началах школу.

Без ложных, заранее выработанных теорий, без научного мудрствования, методов и рассуждений, он подошел к делу народного образования широко и дерзновенно, но вместе с тем и практически-жизненно просто.

«Нет ни одной методы дурной и ни одной хорошей... Недостаток методы состоит только в исключительном следовании одной методе, а лучшая метода есть отсутствие всякой методы, но знание и употребление всех метод и изобретение новых, по мере встречающихся трудностей», — писал Толстой в начале 1862 г.[1])

«Наилучший учитель будет тот, у которого сейчас под рукой готово разъяснение того, что остановило ученика. Разъяснения эти дают учителю знание наиболь-

шего числа метод, способность придумывать новые методы, и главное — не следование одной методе, а убеждение в том, что все методы односторонни, и что наилучшая метода была бы та, которая отвечала бы на все возможные затруднения, встречаемые учеником, т. е. не метода, а искусство и талант».[2])

«Искусство и талант»... Те, кто занимался педагогической деятельностью, знают, что в этом — все. Сколько бы ни обучался бездарный учитель, к каким бы теориям он ни прибегал, если в нем нет этой Богом данной способности понимать детей, каким-то особым чутьем угадывать, как поступать в сложных, на каждом шагу неизбежно возникающих случаях — хорошего педагога из него никогда не выйдет.

Любовь к детям, широта кругозора, независимость взглядов, отступление от принятого трафарета — необходимые условия работы с детьми. У Толстого был врожденный талант педагога и для него подход к детям был прост и естественен. Уча, Толстой вырабатывал свою методу, состоявшую в отсутствии методы. Личным обаянием, силой своего творческого духа он очень скоро создал в школе атмосферу радости, почти восторга, среди детей и части учителей, заразившихся его настроением.

«В 1859 году, ранней осенью, — писал в своих воспоминаниях один из любимых учеников Толстого, Василий Морозов, — нам оповестили по деревне Ясная Поляна о желании Льва Николаевича — «граха», как мы его называли — открыть школу в Ясной Поляне, и о том, чтобы желающие дети приходили учиться, что школа открывается бесплатная. Я помню, какая была суматоха. На деревне начались сходки, начались разные толки, суждения.

— Как? Почему? Не обман ли какой? Махина не махонькая — учить бесплатно. Их, пожалуй, наберется 50 ребят, а то и больше.

А некоторые родители даже утверждали, что если отдать своих ребят учиться, так «грах» обучит и отдаст их царю в солдаты. И они как раз попадут под турку. «Так, он через наших ребят хочет выхвалиться перед ца-

рем». А некоторые говорили умно: «Что было, то видели, а что будет, то увидим, а учить отдавать ребят надо, благо человек берется бесплатно, а то вот Иван Фоканов ходит третью зиму к дьячку, а ничего не выучил, а за плату 2 руб. в месяц». «И вы как хотите, а я пошлю своего», — сказал один, за ним другой, третий, помялись некоторые, согласились и все: «И я, и я своего».

Обычно крестьянские дети зимой сидели по домам, греясь на печках. Если выскочат, бывало, на двор, то схватят чью нибудь обуву или одежу — матери, брата или сестры. Чтобы идти в школу надо было одеться, а у многих ребят ничего не было.

«Все уж приготовились, — пишет дальше Морозов про сборы в школу: — рубашки белые, чистенькие, лапти новые, головы промаслены деревянным маслом или коровьим, у кого какое было. Вот мелькнул мимо нашего окна Кирюша и влетел к нам в хату второпях.

— Где же Васька?

. . . .

— Кирюш, — говорю — мне обуться не во что, лаптей нет.

— У меня, — говорит, — у самого прохудалась пятка. А я пойду. Что же барин на ноги, что-ли смотреть будет? Была бы голова в порядке.

...Бог послал, скоро собрался и я. Заботливая моя сестра давно уже приготовила свои лапти и свой кафтан для меня, хотя и не в меру: лапти велики и кафтан длинен, потому что я из себя был худенький, тоненький, как лутошка... кафтан подтянул, рукава подвернул, голову промаслил квасом — масла не было.

На проулок стали собираться ребята, некоторых их отцы и матери провожали. Каждый своего». (У Васьки Морозова была мачеха, которая не любила его и старшая сестра заменяла ему мать).

«Шествие тронулось, и я позади всех, провожаемый своей сестрой. Через несколько минут мы стояли перед барским домом. Шушукаются ребята между собой. Родители учат: «Как выйдет «грах», надо поклониться и сказать: здравия желаю, васятельство».

Я стоял, как собачий объедок, чувствуя, что я хуже всех одет, даже и меньше всех ростом, беднее всех и сирота. Мне мерещилось: «Ну-ка меня прогонят. Опять мачеха будет изъедать. Опять сестра будет плакать. А как тут хорошо! Я... никогда не видал дома такого. Уж, какие окна-то большие, как наши ворота, с телегой проедешь! А кругом деревья, сады, и у крыльца песочком посыпано»... «На крыльце появился человек, «грах», наш учитель. Все обнажили головы и низко поклонились. Я с замираньем сердца ухватился за сестру, держась ее сзади, и стоял за ней, как за маленькой крепостью.

— Здравствуте! Вы привели своих детей? — обратился Лев Николаевич к родителям.

— Так точно, васятельство, — отвечали старшие с поклоном»...[3])

Но скоро страх у детей прошел. Толстой всех осмотрел, спросил, хотят ли они учиться, просил родителей привести и девочек. Очень скоро «васятельство», как родители учили называть «граха», заменилось простым обращением «Лев Николаевич», ученье пошло на лад и через три месяца дети уже свободно читали и писали. Вместо первоначально пришедших в школу 22 человек — собралось до 70-ти, которых Толстой разделил на три класса: старший, средний и младший.

Несмотря на то, что Васька Морозов трясся больше всех при первом знакомстве с своим учителем, Толстой сразу приметил его, ласково ему улыбнулся, назвал его Васькой-котом: «мы будто как виделись когда-то с ним раньше», писал Василий Степанович в своих воспоминаниях, где он подчеркивает, что «любил школу, любил и Льва Николаевича... у нас была самая искренняя, детская привязанность к нему, и самая искренняя привязанность была и Льва Николаевича к нам. Это была община, но не принудительная, а община, соединенная связью любви».[4])

В статье «Яснополянская школа»[5]) Толстой дает подробное описание своих занятий:

«Школа помещается в двухэтажном каменном доме». Это — так называемый флигель, который первоначаль-

но был точно такой же архитектуры, как дом, в котором Толстой жил до конца своей жизни. Но дом был со временем перестроен и переделан Толстым и его семьей, флигель же остался почти без изменений.

«Две комнаты заняты школой, одна — кабинетом, две — учителями. На крыльце, под навесом, висит колокольчик с привешенной за язычок веревочкой, в сенях внизу стоят бары и рек (гимнастика), наверху в сенях — верстак...».

...«Часов в восемь учитель, живущий в школе, любитель внешнего порядка и администратор школы, посылает одного из мальчиков, которые почти всегда ночуют у него — звонить.

«На деревне встают с огнем. Уже давно виднеются из школы огни в окнах, и через полчаса после звонка, в тумане, в дождь или в косых лучах осеннего солнца, появляются на буграх (деревня отделена от школы оврагом) темные фигурки по две, по три и по одиночке... Мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в голове нести. Никакого урока, ничего, сделанного вчера, он не обязан помнить нынче. Его не мучает мысль о предстоящем уроке. Он несет только себя, свою восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе нынче будет весело так же, как вчера. Он не думает о классе до тех пор, пока класс не начался. Никому никогда не делают выговоров за опаздывание, и никогда не опаздывают, — нешто старшие, которых отцы другой раз задержат дома какою-нибудь работою. И тогда этот большой рысью, запыхавшись, прибегает в школу...

...Учитель приходит в комнату, а на полу лежат и пищат ребята, кричащие: «Мала куча!» Или: «Задавили, ребята!»... сидящие с книгами кричат на них: «Что вы тут замешались! Ничего не слышно. Будет!» Увлеченные покоряются и, запыхавшись, берутся за книги... дух войны улетает, и дух чтения водворяется в комнате. С тем же увлечением, с которым он драл за виски Митьку, он теперь читает... книгу, чуть не стиснув зубы, блестя глазенками и ничего не видя вокруг себя, кроме своей книги. Оторвать его от чтения столько же нужно усилия, сколько прежде от борьбы. Садятся они где кому

вздумается: на лавках, столах, подоконнике, полу и кресле»...

Чем больше Толстой занимался с детьми, тем больше новых мыслей зарождалось в его голове, наблюдения порождали новые приемы, делались новые выводы.

«Школьники — люди, — писал он в той же «Яснополянской школе», — хотя и маленькие, но люди, имеющие те же потребности, какие и мы, и теми же путями мыслящие; они все хотят учиться, затем только и ходят в школу, и потому им всегда легко будет дойти до заключения, что нужно подчиняться известным условиям для того, чтобы учиться. Мало того, что они люди, они общество людей, соединенное одной мыслью: «А где трое соберутся во имя Мое, и Я между ними». Подчиняясь законам только естественным, вытекающим из их природы, они не возмущаются и не ропщут; подчиняясь вашему преждевременному вмешательству, они не верят в законность ваших законов, росписаний и правил. Сколько раз мне случалось видеть, как ребята подерутся — и учитель бросается разнимать их, и разведенные враги косятся друг на друга и даже при грозном учителе не удержатся, чтобы еще больнее, чем прежде, на последках, не толкнуть один другого. Сколько раз я каждый день вижу, как какой-нибудь Кирюшка, стиснув зубы, налетит на Тараску, зацепит его за виски, валит на землю и, кажется, хочет жив не остаться — изуродовать врага; а не пройдет минуты, Тараска уже смеется из-под Кирюшки, один — раз за разом — все легче и легче отплачивает другому и не пройдет пяти минут, как оба делаются друзьями и идут садиться рядом».[6])

Но Толстой не мог остановиться в деле образования только на одной своей школе. Блестящие результаты, которых он достиг, возбудили в нем мысли о распространении народного образования во всей России и он написал брату министра народного просвещения, Ковалевскому, с которым он был хорошо знаком, запрашивая его о том, как отнесся бы его брат-министр к созданию Общества Народного Образования.

«Не только нам, русским, но каждому иностранцу, проехавшему 20 верст по русской земле, — писал он в

этом письме, — должна в глаза кинуться численная непропорциональность образованных и необразованных или, вернее, диких и грамотных. А нечего и говорить, ежели сравнить отчеты разных европейских государств... Общественное зло, которое у нас в привычку вошло сознавать и называть разными именами, большею частью — насилием, деспотизмом, что это такое, как не насилие преобладающего невежества. Насилие не может быть сделано одним человеком над многими, а только преобладающим большинством, единомышленным в невежестве».[7])

По мнению Толстого дело народного образования могло быть создано только по частной, общественной инициативе.

...«Насущнейшая потребность русского народа есть народное образование, — пишет он дальше в письме к Ковалевскому. — Образования этого н е т. Оно еще не началось и никогда не начнется, ежели правительство будет заведывать им... Чтобы доказать, что оно не начиналось, мы бы... прошли в школу и я бы вам показал грамотных, учившихся прежде у попов и дьяконов. Это одни ученики, которые совершенно безнадежны. Над спорами: полезна ли грамотность или нет, не следует смеяться. Это очень серьезный и грустный спор, и я прямо беру сторону отрицательную. Г р а м о т а, процесс чтения и писания, вредна. Первое, что они читают — славянский символ веры, псалтырь, заповеди (славянские), второе — гадательную книгу и т. п. Не проверив на деле, трудно себе представить ужасные опустошения, которые это производит в умственных способностях, и разрушения в нравственном складе учеников. Надо побывать в сельских школах и в семинариях (я исследовал это дело), в семинариях, которые доставляют педагогов в училища от правительства, чтобы понять, отчего ученики этих школ выходят глупее и безнравственнее неучеников. Чтобы народное образование пошло, нужно, чтобы оно было передано в руки общества».

И Толстой предложил следующую программу по народному образованию:

«Действия Общества будут состоять:

1) В издании журнала, состоящего из отдела собственно педагогического (о законах и способах первоначального преподавания), отдела первоначальных руководств для учителей и чтений для учеников и отдела сведений о действиях Общества.

2) В учреждении школ в тех местах, где их нет, и где чувствуется в них потребность.

3) В составлении курса преподавания, в назначении учителей, в надзоре за преподаванием, за хозяйственным учетом, вообще за управлением таких школ.

4) В надзоре за преподаванием в тех школах, где учредители того пожелают».

В этом письме Толстой предусматривал вопрос о том, на какие средства возможно создать такое Общество: из членских взносов, платы за учение, изданий, добровольных пожертвований.

Но Толстой слишком хорошо знал косность правительства и мало надеялся на разрешение Общества Народного Образования. Свое письмо Ковалевскому он закончил нотой пессимизма:

«И как подумаешь, — пишет он, — отчаяние находит. И чего может бояться правительство. Разве можно в свободной школе учить тому, чего не следует знать. У меня бы ни одного человека не было в школе, ежели бы я заикнулся о том, что мощи не есть та же святыня, как Сам Бог. Но это не мешает им знать, что земля — шар и что 2×2=4. Ну, что будет, то будет; только поскорее, как можно поскорее, известите меня».[8])

По письмам к его приятелям видно, как новое дело педагогики захватило Толстого.

«Теперь же, как писатель, я уже ни на что не годен. Я не пишу и не писал со времени Семейного Счастья и, кажется, не буду писать. Льщу себя по крайней мере этой надеждой... Жизнь коротка и тратить ее в взрослых летах на писание таких повестей, какие я писал — совестно. Можно, и должно и хочется заниматься делом. Добро бы было содержание такое, которое томило бы, просилось наружу, давало бы дерзость и силу, — тогда

бы так. А писать повести очень милые и приятные для чтения в 31 год ей-Богу, руки не поднимаются!!» — писал он Дружинину 9 Окт. 1859 г.

«Другое теперь нужно. Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску выучить», пишет он Фету.[9])

Первое время он так увлекся своим новым делом, что совместить его с писательством он не мог. Оно поглотило его целиком. 15 февраля 1860 г. он писал И. П. Борисову: «Я доживаю эту зиму хорошо. Занятий пропасть и занятия хорошие, не то, что писать повести».[10])

Но друзья Толстого не разделяли его мнения и многие из них не сочувствовали его увлечению, считая, что зарывшись в деревне со своими ребятами и забросив литературу, — он губит себя. В ответ на одно из таких увещаний своего приятеля, юриста Б. Н. Чичерина, Толстой пишет:... «не скажу нужно работать, а нельзя не работать ту работу, которой плоды в состоянии видеть настолько вперед, чтобы вполне отдаваться работе. Кто пахать землю, кто учить молодежь быть честной и т. д. Самообольщение же так называемых художников, которые ты, льщу себя надеждой, допускаешь только из дружбы к приятелю (не понимая его), обольщение это для того, кто ему поддается, есть мерзейшая подлость и ложь. *Всю жизнь ничего не делать и эксплуатировать труд и лучшие блага чужие* (курсив мой. А. Т.) за то, чтобы потом воспроизводить их — скверно, ничтожно, может быть уродство и пакость... Что же я делал? спросишь ты. — Ничего особенного, выдуманного, делаю дело, которое мне так же естественно, как дышать воздухом, и вместе такое, с высоты которого, признаюсь, я часто с преступной гордостью люблю смотреть на vous autres. Ты полюбишь и поймешь это дело, но рассказать его нельзя, а приезжай, окончив свои странствования, в Ясную Поляну, и скажи тогда по правде, не позавидуешь ли мне, увидя то, что я сделал, и то спокойствие, с которым я делаю».[11])

Никогда прежде Толстой так близко не подходил к крестьянской среде. Возможно, что его близость с

Аксиньей Базыкиной была одной из косвенных причин его увлечения крестьянством. Чувство его к Аксинье то охладевало, то разгоралось с необычайной силой, но это не было случайной, мимолетной связью — Толстой несомненно был к ней привязан.

Но главным его увлечением были все эти заморенные, недокормленные Васьки, Игнатки, Данилки в домотканных рубашонках, лаптях, с закорузлыми от работы ручонками. В то время как Толстой открывал им новые горизонты, новые радости знания и интересов в жизни, он тут же сам для себя находил новые, скрытые в них сокровища. Его поражали блестящие способности, ум, чуткость, легкость, с которой они воспринимали те знания, которые он давал им.

Окунувшись в эту среду, Толстой уже не теоретически, а всей душой почувствовал всё зло крепостного права, неравенство, несправедливость всего существующего строя.

Почему могли помещики пользоваться трудом крестьянства? Что они сделали для этого народа? Что делали для народа ученые, писатели, журналисты, и почему русское многомиллионное крестьянство должно было, живя в рабстве, в нищете, в невежестве, кормить и поить всех этих бесполезных людей в то время, как они могли *«всю жизнь ничего не делать и эксплуатировать труд и лучшие блага чужие»*? (Курсив мой. А. Т.).

Так, в увлечении своем, думал Толстой.

Мысль зажглась, она никогда не потухала... Но Толстой должен был еще перекипеть в бурном котле жизни: испытать любовь, семейное счастье, достигнуть апогея славы, для того чтобы мысли, вызванные в нем общением с крестьянскими детьми, разгорелись ярким пламенем 20 лет спустя и претворились бы в глубокое убеждение, изменившее всю его жизнь.

---

1) Полн. собр. соч. Госизд. Т. 8, стр. 135. О методах обучения грамоте.

2) Там же, стр. 145. О методах обучения грамоте.

[3]) В. С. Морозов. «Воспоминания ученика ясно-полянской школы», изд. под ред и с прим. П. А. Сергеенко, изд. Посредник, М. 1917, стр. 21-32.

[4]) Там же.

[5]) Полн. собр. соч. Госизд. Т. 8, стр. 30. Ясно-Полянская школа за ноябрь и декабрь месяцы.

[6]) Там же, стр. 35. Ясно-Полянская школа за ноябрь и декабрь месяцы.

[7]) Полн. собр. соч. Изд. 1913 года, ред. Бирюкова. Том 13, стр. 5. Письмо Е. П. Ковалевскому.

[8]) Там же.
Полн. собр. соч. Гос. Изд. т. 60, стр. 308.

[9]) Фет. «Мои Воспоминания». Т. 1, стр. 318.

[10]) Полн. собр. соч. Гос. Изд. т. 60, № 162, стр. 322.

[11]) Письма Толстого и к Толстому. Труды Публ. Библ-ки СССР имени Ленина. ГИЗ. 1928 г. Письма Л. Н. Толстого к Б. Н. Чичерину. Стр. 19.

ГЛАВА XIX

СМЕРТЬ ЛЮБИМОГО БРАТА

По обыкновению, дети засиделись в школе. Решали вместе с Львом Николаевичем трудную задачу. А когда решили, Толстой-учитель вдруг объявил ученикам: «Я завтра уезжаю, — а вы, как ходили учиться, так и ходите. С вами будут заниматься учителя».

Дети опечалились:

— Лев Николаевич, а на долго ты уедешь?

— Я скоро вернусь.

— А как скоро?

— Ну, недели две пробуду.

— А далеко ты едешь?

— В чужую землю.

— Мы не станем ходить учиться. Без тебя ученье не в ученье, — говорили ребята.

«Нам казалось, — писал Морозов в своих воспоминаниях, — что две недели очень долго. Ведь мы, если хоть один час с ним разлучались, то чувствовали, будто целый день его не видели. Если бы он сказал, что уезжает на месяцы, то не знаю, что с нами было бы; вся наша школа вероятно развалилась бы.

... Он уехал и без него мы остались как сироты. Придешь в школу — пахнет пустошью, — ни игр, ни шуток, и ученье в голову не лезет, все равно, как будто мы похоронили его. Прошла неделя, как уехал Лев Николаевич, прошла другая, а Льва Николаевича все нет и нет. И долго, долго он не приезжал, — не упомню, сколько месяцев, но нам казалось вечность».[1])

Ребята не знали, какое горе ожидало их дорогого учителя, и почему ему надо было срочно ехать в чужие края.

... «Весна, и все бы хорошо, — писал он Дружинину от 14 апреля 1860 года, — а тут страшное горе соби-

рается над нашей головой. Вы знаете, что один мой брат умер от чахотки, в нынешнем году у брата Николая все те же симптомы и усиливаются с страшной быстротой».[2])

1 июля (1860 г.) Толстой, вместе с своей сестрой Марией Николаевной и ее детьми, уехал в Петербург и оттуда, на пароходе, в Штеттин. Брат Николай, вместе с Сергеем, были уже заграницей,.

Николай Николаевич давно уже был нездоров, худел, кашлял. Но, вероятно по скромности своей, никогда не жаловался, не обращал на себя внимания и только когда симптомы болезни сделались уже слишком очевидны, близкие обратили серьезное внимание на его здоровье.

На Кавказе, где, по обычаю, вино лилось рекой и где, в два приема, Николай провел 12 лет, служа на Терской линии, он привык пить.

Фет пишет про него в своих воспоминаниях:

«К сожалению, этот замечательный человек, про которого мало сказать, что все знакомые его любили, а следует сказать — обожали, приобрел на Кавказе столь обычную в то время между тамошними военными привычку к горячим напиткам. Хотя я впоследствии коротко знал Николая Толстого и бывал с ним в отъезжем поле на охоте, где, конечно, ему сподручнее было выпить, чем на каком-либо вечере, тем не менее, в течение трехлетнего знакомства, я ни разу не замечал в Николае Толстом даже тени опьянения. Сядет он, бывало, на кресло придвинутое к столу, и понемножку прихлебывает чай, приправленный коньяком».[3])

Не только Фет, но и И. С. Тургенев ценил Николая Толстого и сердечно был к нему привязан. Не было в нем того горячего задора, желания оспаривать чужие мнения, как в его младшем брате, которые так раздражали Тургенева. «То смирение перед жизнью, — говорил нам Иван Сергеевич (Тургенев), — которое Толстой развивал теоретически, брат его применил непосредственно к своему существованию. Он жил всегда в самой невозможной квартире, чуть не в лачуге, где-нибудь в отдаленном квартале Москвы, и охотно делился всем с са-

мым последним бедняком. Это был восхитительный собеседник и рассказчик, но писать было для него почти физически невозможно. Его затруднял самый процесс письма, как затрудняет простого человека, у которого всегда натружены руки и перо плохо держится в пальцах».[1])

В своем имении Чернского уезда (Тульской губ.) Николай Толстой живал только временно. Он жил то в Москве, то поочереди у сестры и братьев Сергея и Льва. Никольское-Вяземское было родовое имение Толстых, переходившее всегда по наследству старшему в роде. Флигель, в котором жил Николай стоял на горе, откуда открывался великолепный вид на реку, на заливные луга, перелески и поля. Имения Фета и Тургенева были по соседству и они часто, то верхом, то в колясках, запряженных тройками, посещали друг друга. Соседи радовались, когда видели приближающуюся, скосившуюся, от времени, желто-лимонную коляску Николая Николаевича, запряженную тройкой серых лошадей. Над коляской этой все издевались. От старости левые колеса ее настолько подались влево, что далеко выступали вбок, в то время как правые ее колеса ушли под самый кузов. Но несмотря на это, коляска была прочная, не ломалась и продолжала бегать по изрытым колеями проселочным дорогам, то ныряя ранней весной в рытвины полные водой, то увязая по ступицы в глубоком черноземе. За ее необыкновенную выносливость и несокрушимость коляску эту Фет прозвал «эмблемой бессмертия души» и прозвище это так за ней и осталось.

В своих воспоминаниях Фет описывает, как они с Тургеневым посетили Николая Толстого в его Никольском-Вяземском:

«Слуга графа ввел нас... в довольно просторную комнату в два света. Кругом вдоль стен тянулись ситцевые, турецкие диваны в перемежку с старинными стульями и креслами. Перед диваном, направо от входа, стоял стол, а над диваном торчали оленьи и лосьи рога с развешенными на них восточными черкесскими ружьями... В переднем углу находился громадный образ Спасителя в серебряной ризе.

Из следующей комнаты вышел к нам милый хозяин со своей добродушной, приветливой улыбкой. — Какой день то чудесный, — сказал он. — Я только что пришел из сада и заслушивался щебетаньем птичек. Точно шумный, разноплеменный карнавал, и не понимают друг друга, а всем весело. Каждому свое. Вот Левочка юфанствует, а я с удовольствием читаю Раблэ».[5])

«Во время приездов Николая Николаевича в свой Никольский флигель, — рассказывает далее Фет в своих воспоминаниях, — сонные, голодные мухи, прилипшие к стеклам и стенам, оживали, жужжали, клубясь над едой, попадали в рюмки с водкой, в тарелки с супом. Лев Николаевич говорил: «когда брата нет дома, во флигель не приносят ничего съестного и мухи, покорные судьбе, безмолвно усаживаются по стенам, но едва он вернется, как самые энергические начинают заговаривать с соседками: «вот он, вот он пришел, сейчас подойдет к шкафу и будет водку пить; сейчас принесут хлебца и закуски... подымайтесь дружжжжж-ней».[6])

Примитивная обстановка, отсутствие серебра, мухи, все это не мешало приятелям весело проводить время. Николай Толстой, иронически-ласково улыбаясь, шутил, сыпались каламбуры, шутки, смех...

Узнав о болезни Николая Толстого, все друзья его забеспокоились. Тургенев написал Фету из Содена (1-го июня 1860 г.): ... «То, что вы мне сообщили о болезни Николая Толстого, глубоко меня огорчило. Неужели этот драгоценный, милый человек должен погибнуть! И как можно было запустить так болезнь»... И в том же письме, в постскриптуме, он пишет: «Если Николай Толстой не уехал, бросьтесь ему в ноги, а потом гоните его в шею заграницу. Здесь... такой мягкий воздух, какого в России никогда и нигде не бывает».[7])

В письме к тетеньке Татьяне Александровне из Киссингена, куда он приехал с сестрой и ее детьми, Лев пишет: «Мы имели письмо от братьев, в котором Николай пишет, что ему Соден, кажется, помог».[8])

Повидимому, сам Николай Толстой не сознавал, насколько он болен. В письме к Дьякову от 19 июля нового

стиля он писал: «Здоровье мое поправилось, но не совсем»...[9])

Вряд ли брат Сергей мог бы проигрываться в рулетку, а Лев мог бы беззаботно путешествовать по Германии, посещая школы, лекции в Берлинском университете, тюрьмы, совершать прогулки, если бы они верили в скорую кончину брата Николая. Только после приезда Сергея к нему в Соден с известием, что болезнь брата Николая внушает ему очень серьезные опасения, Лев поехал к Николаю и отвез его на юг Франции, в Гиеэр. Но было уже поздно. 20 сентября (по новому стилю) Николай Николаевич скончался.

«Черная печать вам все скажет, — писал он тетеньке Татьяне Александровне. — То, чего я ждал две недели с часу на час, случилось нынче в 9 часов вечера. Все время он был в памяти, за четверть часа до смерти он прошептал несколько раз: «Боже мой, Боже мой!». Мне кажется, что он чувствовал свое положение, но обманывал нас и себя».[10])

Брату Сергею он писал: «Мне жаль тебя, что ты не был тут; как это ни тяжело, мне хорошо, что все это было при мне, и что это подействовало на меня, как должно было. Не так, как смерть Митеньки... он покорился и стал другой: кроткий, добрый этот день; не стонал, ни про кого не говорил, всех хвалил и мне говорил: «благодарствуй, мой друг». Понимаешь, что это значит в наших отношениях... Мне жалко тебя, что тебя известие это застанет на охоте, в рассеянности и не прохватит так, как нас. Это здоро́во. Я чувствую теперь то, что слыхал часто, что как потеряешь такого человека, как он для нас, так много легче самому становится думать о смерти».[11])

«Николенькина смерть — самое сильное впечатление в моей жизни», — записал Толстой в дневнике 1860 года.[12])

Теплым, мягким светом озарил этот скромный, благородный, талантливый человек одинокую жизнь своего младшего брата, в душе которого навсегда сохранились любовь и уважение к Николаю. На протяжении всей своей жизни Лев Толстой часто вспоминал своего брата,

прикасаясь к памяти его, как к чему то высшему, светлому. «Он был умнее и талантливее меня, — говорил он, — но по великой скромности своей, смирению, никогда не умел этого выказать».[13])

Так сильно было это чувство к брату, что оно передалось и всей семье Толстого.

Когда гости и посетители Ясной Поляны, указывая на бюст Николая Толстого, всегда занимавшего почетное место в гостиной, спрашивали, кто этот худой, бритый человек с такими благородными, тонкими чертами лица, близкие и члены семьи Толстого отвечали:

«Это старший, любимый брат Льва Толстого. Удивительный был человек!».

---

[1]) В. С. Морозов. «Воспоминания ученика ясно-полянской школы», изд. под ред. П. А. Сергеенко, изд. Посредник, М. 1917 г.

[2]) Полн. собр. соч. Гос. Изд. т. 60, № 170, стр. 337.

[3]) Фет, А. А. «Мои воспоминания», т. 1, стр. 217.

[4]) Гаршин, Е. «Воспоминания о Тургеневе». Истор. Вестник, ноябрь 1883. Бирюков, П. И. Биография... т. 1, стр. 375.

[5]) Фет, А. А. «Мои воспоминания», т. 1, стр. 239-240.

[6]) Там же, стр. 240.

[7]) Там же, стр. 328.

[8]) Бирюков, П. И. Биография... т. 1, стр. 385.

[9]) Там же, стр. 389.

[10]) Там же, стр. 433.

[11]) Полн. собр. соч. Гос. Изд. Т. 60, № 181, стр. 353.

[12]) Гусев, Н. Н. — Жизнь... т. 2, стр. 367.

[13]) Личные воспоминания А. Л. Толстой.

ГЛАВА XX

«ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ»

Толстой не хотел, как он писал брату Сергею, чтобы в России ему могли «указывать по педагогике на чужие края», и что он «хочет быть на уровне всего, что сделано по этой части».[1]) Он стал добросовестно изучать методы преподавания в Европе, не только в начальных и средних школах, но и в университетах. Он слушал лекции в Берлине, беседовал с пасторами, с светилами педагогики и рядовыми учителями, побывал в Германии, Швейцарии, Франции, Англии, Италии, Бельгии, интересовался школами Америки. Иногда в дневнике мы находим коротенькие его заметки и впечатления о заграничных школах.

«Ужасно, — писал он про немецкую школу в Киссингене. — Молитва за короля, побои, всё наизусть, испуганные, изуродованные дети».[2])

Толстой искал в заграничных школах подтверждения той теории, которая всё более и более становилась его убеждением. Образование должно быть потребностью, как насущный хлеб. Заставлять учиться — нельзя, надо, отвечая на запросы, давать знания в такой форме, чтобы каждый ученик схватывал их с жадностью. Но везде его ждало разочарование.

... «Видел я в Марселе одну светскую и одну монашескую школу для взрослых». ... «Преподавание то же самое: механическое чтение, которого достигают в год и более, счетоводство, без знания арифметики, духовные поучения и т. п.»[3])

В доказательство своей теории, что человек легко приобретает знания, если в обучении его нет элемента принуждения, он пишет далее в той же статье:

...«Стоит войти в сношение, поговорить с кем-нибудь из простолюдинов, чтобы убедиться, что напротив,

французский народ почти такой, каким он себя считает: понятливый, умный, общительный, вольнодумный и действительно цивилизованный. Посмотрите на городского работника лет тридцати: он уже напишет письмо не с такими ошибками, как в школе, иногда совершенно правильное; он имеет понятие о политике, следовательно о новейшей истории и географии; он знает уже несколько историю из романов, он имеет несколько сведений из естественных наук; он очень часто рисует и прилагает математические формулы к своему ремеслу. Где же он приобрел всё это? Из книг, на улицах, из газет, в музеях», — отвечает на этот вопрос Толстой.

«Хорошо или дурно это образование — это другое дело, — пишет далее Толстой, — но вот оно — бессознательное образование, во сколько раз сильнейшее принудительного, вот она, бессознательная школа, подкопавшаяся под принудительную школу и сделавшая содержание ее почти ничем. Осталась только одна деспотическая форма почти без содержания. Я говорю: почти — исключая одно механическое уменье складывать буквы и выводить слова, единственное знание, приобретаемое пяти или шестилетним учением».[4])

Толстой был убежден, что механическое заучиванье — было вредно, и что неправильные приемы — портили детей.

В разговоре с племянником знаменитого педагога Фребеля — социалистом-революционером — Толстой поразил Фребеля утверждением, что «русский народ еще не испорчен, тогда как немцы походят на ребенка, который в продолжение нескольких лет подвергался неправильному воспитанию; и, что образование не должно быть обязательным, а если оно — благо, то потребность в нем должна возникать сама собою, как потребность в пище».[5])

Легко себе представить ужас «цивилизованных европейцев», гордящихся своей «культурой» и убежденных западников, когда они слышали такое мнение Толстого!

Еще более резкое суждение мы находим в письме Толстого к «Неизвестному»:

... «Страшно самому себе дать отчет в том убеждении, к которому я приведен всем виденным. Heraus damit. Вот оно. Только мы русские варвары не знаем, колеблемся и ищем разрешения вопросов о будущности человека и лучших путях образования, в Европе же это вопросы решенные, -- писал не без иронии Толстой, — и что замечательнее всего, разрешенные на 1000 разных ладов. В Европе знают не только законы будущего развития человечества, знают пути, по которым оно пойдет, знают, в чем должно состоять высшее гармоническое развитие человека и как оно достигается. Знают, какая наука и какое искусство более или менее полезно для известного субъекта. Мало того, как сложное вещество разложили душу человека на — память, ум, чувства и т. д., и знают сколько какого упражнения для какой части нужно. Знают, какая поэзия лучше всех. Мало того, верят и знают, какая вера самая лучшая. — Всё у них предусмотрено, на развитие человеческой природы во все стороны поставлены готовые, неизменные формы. И это совсем не шутка, не парадокс, не ирония, а факт, в котором нельзя не убедиться человеку свободному, с целью поучения наблюдающему школы одну за другою, как я это делал, хоть бы в одной Германии»...[6])

Самоуверенность, полное довольство собой и своими достижениями для Толстого было всегда непереносимо, оно как бы захлопывало дверцу для дальнейшего совершенствования, продвижения вперед.

... «В протестантской школе вы находите, что учитель имеет предписание не только насчет той последовательности предметов, которую он должен принять, числа часов, которые он должен посвятить молитве, каждому предмету, и каждому упражнению, но вы видите, что даже те руководства, т. е. приемы, которые он может употреблять, определены и назначены вперед... вы находите недостатки (так вам кажется) и в самом преподавании и в последовательности его... Вы обращаетесь к учащимся, чтобы подтвердить свои сомнения, и хотите проследить за процессом воспринимания этого преподавания. Но здесь вам трудно понять сразу эти результаты. Организация школы такова, что

результаты учения скрыты от учителя. Сто, двести мальчиков в известный час входят, совершают молитву, садятся по лавкам и все двести начинают одно и то же. Мальчик не только не может выразить в школе того, что ему понятно или непонятно, приятно или неприятно то или другое, или что ему хочется. Всё разнообразие его мысли во время класса подведено к выражениям «могу» — «хочу», которые он передает поднятием руки.

... «Всё, что вы видите, это скучающие лица детей, насильно вогнанных в училище, нетерпеливо ожидающих звонка и вместе с тем со страхом ожидающих вопроса учителя, делаемого для того, чтобы против воли принудить детей следить за преподаванием. Здесь ничего не подтверждает, ни разрушает ваши сомнения. Вы прибегаете к другому способу — вопросов — и задач математических и сочинений. Но ежели вы при этом поручите ведение вопросов учителю, то результаты ваши будут 0».[7])

«Излишне доказывать, что школа, в которой учатся три года тому, чему можно выучиться в три месяца, есть школа праздности и лени. Ребенок, неподвижно обязанный сидеть шесть часов за книгой, выучивая в целый год то, что он может выучить в полчаса, искусственно приучается к самой полной и зловредной праздности».[8])

Раскритиковав начальные и средние учебные заведения в Европе, Толстой переходит к жесточайшей критике университетов.

«В университете редко кого увидишь с здоровым и свежим лицом, и ни одного не увидишь, который бы с уважением, хотя бы с неуважением, но спокойно смотрел на ту среду, из которой он вышел и в которой ему придется жить; он смотрит на нее с презрением, отвращением и высокомерным сожалением. Так он смотрит на людей своей среды, на своих родных, так же смотрит и на ту деятельность, которая предстояла бы ему по общественному положению. Только три карьеры исключительно представляются ему в золотом сиянии: ученый, литератор и чиновник.

Из предметов преподавания нет ни одного, который бы был приложим к жизни, и преподают их точно так же, как заучивают псалтырь... Я исключаю только предметы опытные, как-то: химию, физиологию, анатомию, даже астрономию, в которых заставляют работать студентов; все остальные предметы, как-то: философия, история, право, филология, учатся наизусть, только с целью отвечать на экзамене, какие бы ни были экзамены — переходные или выпускные, это всё равно».[9])

Не те же ли мысли приходили в голову Толстому, когда он 19-ти летним юношей оставил университет? Он тогда сам тяготился необходимостью изучения совершенно неинтересных и ненужных ему предметов, в то время как он был лишен возможности заниматься, тем, что его, действительно, интересовало и чему он мог найти применение в будущем.

Толстой заинтересовался и американскими школами. Тут же, из-за границы, он написал министру народного просвещения Е. П. Ковалевскому, что он выписал для себя на его имя из Северо-Американских Соединенных Штатов программы, педагогические издания и руководства. Позднее, некоторые мысли, выраженные Толстым в 1862 году, в большой степени нашли применение в американских университетах и даже в их средних учебных заведениях. Но в то время Толстого поразила самая система распространения народного образования. В своем «Проекте общего плана устройства народных училищ» Толстой пишет: «Успех Америки произошел только от того, что школы ее развивались сообразно времени и среде. Точно так же, казалось бы мне, должна поступить и Россия; я твердо убежден, что для того, чтобы русская система народного образования не была хуже других систем (а она по всем условиям времени должна быть лучше), она должна быть своя и непохожая ни на какую другую систему.

Закон о налоге на школы составлен в Америке самим народом. Ежели не весь народ, то большинство было убеждено в необходимости предложенной системы образования и имело полное доверие к правительству, которому оно поручало устройство школ. Ежели налог

и казался насильственным, то только для незначительного меньшинства.

Как известно, Америка единственное в мире государство, не имеющее крестьянского сословия не только de jure, но и de facto, вследствие чего в Америке не могло существовать того различия в образовании и взгляде на него, которое существует у нас между крестьянским и не крестьянским сословием. Америка кроме того, устраивая свою систему, я полагаю, была убеждена, что у нее есть самый существенный элемент для устройства школ — учителя... Ежели Америка, начав свои школы после европейских государств, более успела в народном образовании, чем Европа, то из этого только следует, что она исполнила свое историческое призвание, и что Россия в свою очередь должна исполнить свое. Россия, перенеся на свою почву американскую, обязательную (посредством налога) систему, поступила бы так же ошибочно, как ошибочно поступила бы Америка при начале своих школ, усвоив себе германскую или английскую систему».[10])

Девять с лишним месяцев пробыл Толстой заграницей. Общался с рабочими-ремесленниками, с крестьянами, со многими выдающимися людьми того времени. Многому он научился, но, наблюдая, часто строил свои противоположные выводы на отрицании того, что видел.

«Что прошло за эти четыре месяца? — задает он себе вопрос в дневнике от 13 апреля 1861 г. — Трудно записать теперь. Италия, Ницца, Флоренция, Ливорно, Неаполь. Первое живое впечатление природы и древности. Рим — возвращение к искусству. Гиэр, Париж, сближение с Тургеневым. Лондон — ничего; отвращение к цивилизации. Брюссель — кроткое чувство семейности. Эйзенах — дорога — мысли о Боге и бессмертии, Бог восстановлен, надежда на бессмертие»...

Острота горестного ропота, которую он испытал после смерти брата, постепенно улеглась, его постоянный, неугасаемый интерес к его детищу, школьной деятельности, и всему, что было связано с ней, помогли ему. Попрежнему он искал людей, могущих разделить непрестанно загорающиеся в нем мысли — но их было

не много. Большинство шарахалось от тех дерзновенно-революционных мыслей, нравственно-философских взглядов на воспитание, на жизнь, которые Толстой не стеснялся высказывать.

В Лондоне Толстой познакомился с Герценом. Толстой давно интересовался этим революционером-писателем, высланным из пределов России за свою революционную деятельность. В дневнике от 23 июля Толстой сделал о нем следующую заметку: «Разметавшийся ум, больное самолюбие, но ширина, ловкость и доброта, изящество — русское». В начале знакомства даже Герцен, несмотря на всю широту своих взглядов, внутренне отшатнулся от Толстого. Вероятно Тургенев вполне разделял взгляды Герцена, который писал ему: «Толстой — короткий знакомый; мы уже не спорим; он упорен и говорит чушь, но простодушный и хороший человек... Только зачем он не думает, а всё, как под Севастополем, берет храбростью, натиском».[11])

Через Герцена Толстой познакомился с видными революционерами — знаменитым ученым экономистом Прудоном и с польским революционером Лелевелем. Смелость, независимость взглядов этих людей произвели на него впечатление, ему было интересно с ними, но... они служили иным идеалам и не затрагивали души Толстого.

Однако, в Дрездене Толстой встретил человека, взгляды которого были настолько ему близки, что он испытал состояние человека, томившегося жаждой духовного общения, отыскавшего вдруг источник живой воды...

Толстой прочел повесть Ауэрбаха «Новая жизнь» и нашел в ней мысли о народе, народном образовании, настолько совпадающие с его собственными, что они могли бы быть изложены им самим.

«Ты сам — лучший учитель. Создай сам, с помощью детей, свою методу, и всё пойдет отлично. Всякая абстрактная метода — нелепа. Самое лучшее, что может сделать учитель в школе, зависит от него лично, от его собственных способностей», — писал Ауэрбах.

«Легко сказать — мир должен сделаться лучше. Это верно. Но прежде всего должны все мы сделаться лучше, — читаем мы дальше. — Должно быть введено воспитание, которое сделает ненужными тюрьмы и исправительные дома, которое сделает ненужными принудительные законы, когда каждый необходимо будет находить закон сам в себе, когда каждый будет жить сообразно с этим законом так же естественно, как он дышит!»[12])

В этой повести Ауэрбах описывает аристократа-графа, который под чужой фамилией Евгения Баумана, уходит в глухую деревню, посвящает себя служению народу и делается народным учителем.

«Ауэрбах! — восклицает Толстой в своем дневнике, — прелестнейший человек»...[13])

Свидание Толстого с Ауэрбахом оставило в Толстом надолго радостное и глубокое впечатление. Вернувшись в Россию, Толстой говорил о нем с Некрасовым, прося напечатать перевод его повести.

Засиживаться заграницей Толстой не мог. «Сгораю от нетерпения вернуться в Россию, — писал он тетеньке Татьяне Александровне (из Дрездена 18 апреля 61 г.), — я хотел использовать как можно лучше мое путешествие. И я полагаю, я сделал это. Я везу такое большое количество впечатлений и знаний, что я должен буду долго работать, прежде чем приведу всё это в порядок в моей голове».[14])

Много умных и знаменитых людей перевидал Толстой заграницей, но всё, что он там приобрел, Толстой складывал в копилку только для того, чтобы применить это на деле, по приезде на родину, среди босоногих своих друзей, «Тарасок и Марфуток», среди того народа, в жизнь которого он окунулся, с которым он точно кровно был теперь связан, как с родными, которых родила и вскормила родная ему русская, тульская земля.

Если бы он не думал о них, не продолжал жить их интересами, как мог бы он заграницей сделать первый набросок одного из лучших своих рассказов — «Поликушка»?

Как мог бы он уже здесь, заграницей, набросать программу и статьи для проектируемого им педагогического журнала «Сельский учитель»?

19 февраля 1861 года в России совершилось великое событие, всколыхнувшее всю страну: был издан манифест об освобождении крестьян, подписанный императором Александром II, заканчивавшийся следующими словами: «Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с нами Божие благословление на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественного».[15])

Для Толстого открывалось новое, большое поле деятельности, к которому он был совершенно неприспособлен, но от которого он не мог отказаться — деятельность мирового посредника.

---

[1]) Полн. собр. соч. Юбил. Гос. Изд. Т. 60, № 190, стр. 366.
[2]) Гусев. Жизнь Л. Н. Толстого. Гл. 15, стр. 364.
[3]) Полн. собр. соч. Юбил. Гос. Изд. т. 8, стр. 18.
[4]) Там же, стр. 20.
[5]) Гусев. Жизнь... Гл. 15, стр. 364.
[6]) Полн. собр. соч. Юбил. Гос. Изд. т. 8, стр. 399.
[7]) Там же, стр. 400.
[8]) Там же, стр. 224.
[9]) Там же, стр. 225.
[10]) Там же, стр. 179.
[11]) Гусев. Жизнь... Гл. 15, стр. 376.
[12]) Там же, том 1, стр. 378. (Гл. 15).
[13]) Там же, Гл. 15, стр. 377.
[14]) Полн. собр. соч. Юбил. Гос. Изд. т. 60, № 199, стр. 378.
[15]) Татищев, С. С. — «Император Александр II». т. 1, стр. 382.

ГЛАВА XXI

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Разные были помещики на Руси. Были более культурные, старавшиеся и при крепостном праве улучшить быт своих крестьян, справедливые к своим дворовым-слугам, заботившиеся о них. Такие помещики радовались освобождению крестьян от крепостного права и содействовали проведению этого закона. Другие боялись разорения, протестовали против наделения крестьян хорошей землей и старались всячески, в ущерб крестьянам, соблюсти свои выгоды. Были и такие, которые ничего не понимали, кроме того, что правительство глубоко их обидело, отняв у них рабов, трудами которых они пользовались, и недоумевали, на каком основании они вдруг лишились права продавать своих людей, наказывать провинившегося кучера, повара, казачка, высечь их на конюшне, или наказать дворовую девку за то, что она непочтительно обращалась с барыниной собачкой, или за то, что девка эта посмела присниться барыне.

При проведении реформы возникали недоразумения, судебные тяжбы. Для выяснения всех этих дел правительство назначило особых лиц — мировых посредников, которые должны были разбирать спорные вопросы, возникавшие между помещиками и крестьянами.

Толстой был назначен мировым посредником 1-го участка Крапивенского уезда Тульской губернии. Назначение его вызвало взрыв недовольства со стороны губернского и уездного предводителей дворянства и многих помещиков. У Толстого была репутация свободомыслящего, резкого, прямолинейного человека и многие тульские помещики боялись и не любили его. Основанная Толстым школа на новых, свободных началах, еще больше подтверждала это мнение. И не успел Толстой

начать свою деятельность, как со всех сторон посыпались на него жалобы.

«Зная несочувствие к нему (Толстому) крапивенского дворянства, — писал губернский предводитель министру внутренних дел Валуеву, — за распоряжение его в своем собственном хозяйстве, г. предводитель (уездный) опасается, чтобы при вступлении графа в эту должность не встретились какие-либо неприятные столкновения, могущие повредить мирному устройству столь важного дела».[1])

Как с формальной точки зрения, так и по существу дела, предводитель дворянства считал, что губернатор Дараган, назначив Толстого мировым посредником, поступил неправильно. Получив такое донесение, министр немедленно же запросил губернатора, прося разъяснения. Губернатор ответил министру следующим письмом:

«Зная лично графа Толстого, как человека образованного и горячо сочувствующего настоящему делу, и приняв в соображение изъявленное мне некоторыми помещиками Крапивенского уезда желание иметь графа Толстого посредником, я не мог заменить его другим, мне неизвестным лицом, — тем более, что граф Толстой был указан мне и предместником вашего высокопревосходительства в числе некоторых других лиц, пользующихся лучшей известностью».[2])

Несмотря на всю эту конфиденциальную переписку, назначение Толстого в конце концов было утверждено Сенатом.

Мировым посредникам приходилось решать самые разнообразные дела: то крестьянский скот потравил помещичьи луга и помещик требовал слишком большого выкупа, то крестьяне требовали, чтобы им прирезали не принадлежащую им землю, то помещики отказывались отпускать своих людей на волю.

На одну из таких жалоб помещицы Толстой писал: «Марк (бывший крепостной) немедленно, по моему приказанию, уедет с женой куда ему угодно. Вас же я покорнейше прошу: 1) удовлетворить его за прослуженные у вас противозаконно со времени объявления положения три месяца с половиной и 2) за побои, нанесен-

ные его жене еще более противозаконно. Если же вам не нравится мое решение, то вы имеете право жаловаться в мировой съезд и губернское присутствие».[3])

Легко себе представить возмущение и негодование этой самодурки-крепостницы, привыкшей к полной власти над своими людьми. По всей вероятности о манифесте она имела лишь смутное представление и такое несправедливое решение она приписала не закону, изданному самим царем-батюшкой, а несправедливости и вольнодумству мирового посредника, графа Толстого, не постеснявшегося обидеть бедную, беззащитную дворянку.

Недовольных было много. Не говоря уже о том, что сама по себе реформа требовала большого такта со стороны правительства по отношению к обеим сторонам, но ни помещики, ни крестьяне не представляли себе ясно своих прав и обязанностей, Толстому же было особенно трудно потому, что эта работа была противна самому его существу. Приходилось судить людей, принимать твердые решения, постоянно отказывать, что было ему всегда особенно трудно. Но он не мог не взять на себя этой тяжелой обязанности, сознавая всю важность реформы, в осуществление которой он сам вложил не мало труда. Своих крестьян он наделил самым большим наделом земли, назначив за нее небольшой выкуп в 4 рубля за десятину.

«Посредничество поссорило меня со всеми помещиками окончательно и расстроило здоровье, кажется тоже окончательно», — писал Толстой своей «бабушке» Александрин.

В том же письме Толстой пишет: «Посредничество интересно и увлекательно, но нехорошо то, что все дворянство возненавидело меня всеми силами души и суют мне des bâtons dans les roues со всех сторон».[4])

Но несмотря на всю свою чуткость, могла ли фрейлина ее Величества, сидя при дворе, вдали от всей этой провинциальной жизни, переплетенной кознями, интригами, судебными тяжбами, понять всю сложность работы возникавшей у ее друга в связи с его новой деятельностью?

«Меня ужасно беспокоит мысль, — пишет она Толстому 22 августа 1861 г. — что вас не любят... Я уверена, что вас отдаляет от большинства помещиков громадная разница во взглядах. Но нет ли тут и вашей вины? Дух примирения — великая и полная человеколюбивая мудрость. Скажите, ошибаюсь ли я, обвиняя вас в том, что вы принимаете воинственную позу относительно равных вам, между тем как перед другими вы готовы стоять чуть ли не на коленях? И тут любовь к ближнему без различия сословий могла бы уладить многое».[5])

Во многих случаях, когда того требовала справедливость, Толстой становился на сторону помещиков и решительно отказывал крестьянам, когда они предъявляли противозаконные требования.

Иногда помещики жаловались на Толстого в суд, но в большинстве случаев решения Толстого утверждались. Современники Толстого подтверждали, что он был хорошим мировым посредником, честным и справедливым, но что касается бумаг, канцелярии, то с этим уже Толстой справиться не мог и здесь царил полный беспорядок.

Толстой занимал должность мирового посредника около года. В мае 1862 года, по собственному его ходатайству, сенат «определил артиллерии поручика графа Льва Толстого по болезни уволить от представленной ему по утверждении правительствующего сената должности мирового посредника Крапивенского уезда», чему Толстой был очень рад. Он устал и должность эта всё больше и больше тяготила его.

---

[1]) Бирюков, П. И. «Л. Н. Толстой. Биография». Т. 1, стр. 469.
[2]) Там же, стр. 470.
[3]) Там же, стр. 471.
[4]) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой, № 37, июль 1861 г. стр. 155.
[5]) Там же, № 38, 22 авг. 1861 г., стр. 158.

ГЛАВА XXII

ССОРА

Случилось это весной 61-го года, как раз в то время, как Толстой начал свою деятельность мирового посредника. Событие это назревало годами.

Тургенев и Толстой по-настоящему никогда дружны не были. В самом начале, когда Толстой еще начинающим писателем приехал из Севастополя в Петербург, он готов был искренно полюбить Тургенева, а Тургенев взял его под свое покровительство и смотрел на начинающего писателя немного сверху вниз. Между ними никогда не было спокойных, ровных отношений. Оба они ревниво следили за каждым произведением вышедшим из-под пера другого и спешили наводить, казавшуюся им беспристрастной, критику. Но произведения их были настолько различны по существу, что как бы объективно они ни старались подходить друг к другу, каждый из них неизбежно был пристрастен.

Мы знаем, что «Записки охотника» имели большое влияние на Толстого-юношу, мы также знаем, с каким восторгом были приняты Тургеневым «Детство» Толстого и его «Севастопольские рассказы», но позднейшие произведения Толстого Тургеневу не нравились.

6 апреля 1859 г. Боткин писал Тургеневу из Москвы: «Толстой еще здесь и работает над своим рассказом («Семейное счастье»), за который он хочет взять с Каткова по 250 с листа. Катков жмется и пищит и спрашивает меня — хорош ли по крайней мере рассказ этот. Я сказал ему по совести, каким он мне показался... Вчера я сказал ему (Толстому) прямо, что это и холодно и скучно. Он совсем другого мнения. Намерение его было представить процесс любви в браке, начинающейся романтическими стремлениями и оканчивающейся любовью к де-

тям. Я заметил ему, что потому-то он так и холоден, что занимается одной отвлеченностью, общностью. Надо признаться, что Толстой самого высокого мнения о своей силе и своих произведениях. «Если рассказ мой не оценят теперь, то через пять лет он получит свою оценку». Я довольно часто вижусь с ним, — но так же мало понимаю его, как и прежде. Страстная, причудливая и капризная натура. И притом самая неудобная для жизни с другими людьми. И весь он полон разными сочинениями, теориями и схемами, почти ежедневно изменяющимися.».[1])

Современники литераторы не понимали Толстого. Можно поистине удивляться, как большие писатели, а следовательно и тонкие психологи, могли так примитивно анализировать сложную натуру Толстого?

«Я с Толстым покончил все свои счеты, — писал Тургенев Боткину 12 апреля того же года. — Как человек, он более для меня не существует. Дай Бог ему и его таланту всего хорошего — но мне, сказавши ему: здравствуйте — неотразимо хочется сказать — прощайте — и без свидания. Мы созданы противоположными полюсами. Если я ем суп и он мне нравится, я уже по одному этому наверное знаю, что Толстому он противен - et vice versa».[2])

В письме к Фету Тургенев очень правильно определил свои отношения с Львом Толстым:

«Толстого Николая поцелуйте, — пишет он стихами, —

И Льву Толстому поклонитесь, также
Сестре его. Он прав в своей приписке:
Мне не за что к нему писать. Я знаю,
Меня он любит мало, и его
Люблю я мало. Слишком в нас различны
Стихии; но дорог на свете много:
Друг другу мы мешать не захотим».[3])

Толстой страдал, чувствуя, что из отношений его с Тургеневым ничего не выходило. Сердце его было готово полюбить Тургенева. В письме к Фету Толстой пи-

сал про Тургенева: «Чорт его возьми! надоело любить его!» О том же, что писатели могли «мешать» друг другу, Толстому и в голову не могло прийти.

В своих воспоминаниях Фет приводит, как он выразился, «меткие» слова Николая Толстого: «Тургенев никак не может примириться с мыслью, что Левочка растет и уходит у него из-под опеки».

Тургенев критиковал решительно всё, что делал Толстой. Узнав, что он занялся педагогической деятельностью, Тургенев написал Фету: «А Лев Толстой продолжает чудить. Видно так уж написано ему на роду. Когда он перекувыркнется в последний раз и станет на ноги?»[4])

«Прочел я «Накануне», — пишет Толстой Фету 23 февраля 1860 г. — Вот мое мнение: писать повести вообще напрасно, а еще более таким людям, которым грустно и которые не знают хорошенько, чего они хотят от жизни. Впрочем, «Накануне» много лучше «Дворянского гнезда» и есть в нем отрицательные лица превосходные: художник и отец. Другие же не только не типы, но даже вымысел их, положение их не типическое, или уж они совсем пошлы. Впрочем, это всегдашняя ошибка Тургенева. Девица из рук вон плоха: Ах как я тебя люблю... у нее ресницы были длинные. Вообще меня всегда удивляет в Тургеневе, как он со своим умом и поэтическим чутьем не умеет удержаться от банальности даже до приемов... А ежели не жалеет своих самых ничтожных лиц, надо же их ругать так, чтобы животики подвело, а не так, как одержимый хандрой и диспепсией Тургенев»... Но тут же Толстой, желающий быть справедливым до конца, добавляет: «Вообще же сказать, никому не написать теперь такой повести, несмотря на то, что она успеха иметь не будет».[5])

В мае 1861 года Тургенев написал Фету, что он хотел бы приехать к нему в имение Степановку вместе с Толстым. «Ивана Сергеевича мне хочется видеть, а вас в десять раз больше», — написал Толстой Фету, получив это приглашение.[6])

По дороге к Фетам Толстой заехал к Тургеневу в Спасское. То, что случилось здесь, Толстой без ужаса не мог вспомнить до глубокой старости. Тургенев пред-

ложил Толстому прочитать рукопись его повести «Отцы и дети». После сытного ужина — а Тургенев любил и сам хорошо поесть и других угостить — Тургенев усадил Толстого в мягкое кресло в гостиной, поставил ему стакан воды и сам удалился. «Не знаю, как это случилось, — рассказывал Толстой, — только я крепчайшим сном заснул, а когда проснулся, то увидел в дверях удаляющуюся фигуру Тургенева, со свечей в руке... Я был ужасно смущен!».

Легко себе представить, как глубоко оскорбился Тургенев равнодушием Толстого к его знаменитой повести «Отцы и дети», если он, действительно, заметил, что Толстой заснул во время ее чтения.

Писатели приехали в Степановку 26 мая.

«Утром, в наше обыкновенное время, т. е. в 8 часов, гости вышли в столовую, в которой жена моя занимала верхний конец стола за самоваром, а я в ожидании кофея поместился на другом конце. Тургенев сел по правую руку хозяйки, а Толстой по левую. Зная важность, которую в это время Тургенев придавал воспитанию своей дочери, жена моя спросила его, доволен ли он своею английскою гувернанткой. Тургенев стал изливаться в похвалах гувернантке и, между прочим, рассказал, что гувернантка с английскою пунктуальностью просила Тургенева определить сумму, которою дочь его может располагать для благотворительных целей. «Теперь, — сказал Тургенев, — англичанка требует, чтобы моя дочь забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив оную, возвращала по принадлежности.

— И это вы считаете хорошим? — спросил Толстой.

— Конечно; это сближает благотворительницу с насущною нуждой.

— А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.

— Я вас прошу этого не говорить! — воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями.

— Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден, — отвечал Толстой.

Не успел я крикнуть Тургеневу: «перестаньте!», как, бледный от злобы, он сказал: «так я вас заставлю молчать оскорблением!» Так записал Фет, в действительности же Тургенев сказал: «А если вы будете так говорить, я вам дам в рожу!».[7]) С этим словом он вскочил из-за стола и, схватившись руками за голову, взволнованно зашагал в другую комнату. Через секунду он вернулся к нам и сказал, обращаясь к жене моей: «Ради Бога извините мой безобразный поступок, в котором я глубоко раскаиваюсь». С этим вместе он снова ушел».[8])

Добрые хозяева были в отчаянии. Мария Петровна Шеншина-Фет, добрейшая женщина, славилась своим гостеприимством. Шеншины-Феты, только что устроившиеся в новом имении, уступили своим дорогим гостям лучшие комнаты, приготовили хороший обед, и вдруг разыгралась такая безобразная сцена. Точно годами назревавший нарыв вдруг прорвался. Добрейший Фет не в состоянии был удержать гнева этих двух страстных, взбешеных людей, как тигры набросившихся друг на друга. Фет понимал, какими последствиями грозила эта ссора, между двумя величайшими писателями того времени... дуэль, возможная гибель одного из них. В памяти каждого русского человека еще не улеглась в то время боль утраты двух величайших русских поэтов — Пушкина и Лермонтова — в полном расцвете творчества погибших на дуэли, от руки ничтожных соперников.

Надо было немедленно действовать. Фет приказал запречь коляску Тургенева. Отправив Тургенева, он распорядился на собственных лошадях увезти Толстого в имение Борисова, откуда Толстой тотчас же написал Тургеневу:

«Надеюсь, что ваша совесть вам уже сказала, как вы неправы передо мной, особенно в глазах Фета и его жены. Поэтому напишите мне такое письмо, которое бы я мог показать Фетам. Если же вы находите, что требование мое несправедливо, то известите меня. Я буду ждать в Богослове».

Фет считал, что Тургенев виноват, и что он должен был извиниться не только перед Толстым, но и перед

своими хозяевами, в доме которых произошла вся эта безобразная ссора.

Тургенев согласился и написал Толстому письмо следующего содержания:

«Милостивый государь, Лев Николаевич! — В ответ на ваше письмо я могу повторить только то, что я сам своею обязанностью почел объявить вам у Фета: увлеченный чувством невольной неприязни, в причины которой теперь входить не место, я оскорбил вас без всякого положительного повода с вашей стороны и попросил у вас извинения. Происшедшее сегодня доказало поутру ясно, что всякие попытки сближения между такими противоположными натурами, каковы ваша и моя, не могут привести ни к чему хорошему; а потому тем охотнее исполняю мой долг перед вами, что настоящее письмо есть, вероятно, последнее проявление каких бы то ни было отношений между нами. От души желаю, чтоб оно вас удовлетворило и заранее объявляю свое согласие на употребление, которое вам заблагорассудится сделать из него.

С совершенным уважением имею честь оставаться, милостивый государь, ваш покорнейший слуга.

Ив. Тургенев».[9])

27 мая 1861.
Спасское.

Письмо это Тургенев послал к Борисовым, между тем как Толстой сидел на станции Богослово. Не получая письма, Толстой пришел в бешенство и написал Тургеневу письмо с вызовом на дуэль и послал человека в имение своего покойного брата Николая, Никольское-Вяземское, за ружьями и пулями. Дуэль должна была состояться около станции Богослово, на опушке леса. Толстой не спал всю ночь, он был готов стреляться серьезно, не щадя ни себя, ни противника, гнев кипел в его душе... Но вместо Тургенева приехал человек с письмом, в котором Тургенев извинился за свой поступок.

Несмотря на это, Толстой долго не мог успокоиться:

«Желаю вам всего лучшего в отношении с этим человеком, — писал он Фету, — но я его презираю, я ему написал и тем прекратил все сношения, исключая, ежели он захочет, удовлетворения. Несмотря на всё мое видимое спокойствие, в душе у меня неладно, и я чувствовал, что мне нужно было потребовать более положительного извинения от г. Тургенева, что я и сделал в письме из Новоселок. Вот его ответ, которым я удовлетворился, ответив только, что причины, по которым я извиняю его, — не противоположность натур, а такие, которые он сам может понять. Кроме того, по промедлению, я послал другое письмо довольно жестокое и с вызовом, на которое не получил ответа; но ежели и получу, не распечатав возвращу назад. Итак, вот конец грустной истории, которая ежели перейдет порог вашего дома, то пусть перейдет и с этим дополнением.

Л. Толстой».[10])

Во втором своем письме Толстому Тургенев писал:

«Ваш человек говорит, что вы желаете получить ответ на ваше письмо; но я не вижу, что бы я мог прибавить к тому, что я написал. Разве то, что я признаю за вами право потребовать от меня удовлетворения вооруженною рукой: вы предпочли удовольствоваться высказанным и повторенным моим извинением. Это было в вашей воле. Скажу без фразы, что охотно бы выдержал ваш огонь, чтобы тем загладить мое действительно безумное слово. То, что я его высказал, так далеко от привычек всей моей жизни, что я могу приписать это ничему иному, как раздражению, вызванному крайним и постоянным антагонизмом наших воззрений. Это не извинение, я хочу сказать не оправдание, а объяснение. И потому, расставаясь с вами навсегда — подобные происшествия неизгладимы, невозвратимы, — считаю долгом повторить еще раз, что в этом деле правы были вы, а виноват я. Прибавляю, что тут вопрос не в храбрости, которую я хочу или не хочу показывать, а в признании за вами права привести меня на поединок, разумеется в принятых формах (с секундантами), так и права меня извинить. Вы избрали, что вам было угодно, и мне остается покориться вашему решению. Снова

прошу вас принять уверение в моем совершенном уважении.

Ив. Тургенев».[11])

Прошло несколько месяцев. Гнев Толстого против Тургенева остыл и, как всегда с ним бывало, когда он ссорился с кем-нибудь, враждебные отношения между ним и Тургеневым тяготили его. Он написал Тургеневу примирительное письмо. Но случилось так, что как раз в это время распространились ложные слухи, дошедшие и до Тургенева, о том, что Толстой рассказывает направо и налево, что Тургенев испугался вызова Толстого и по трусости уклонился от дуэли.

«Милостивый государь, — писал Тургенев Толстому из Парижа. — Перед самым моим отъездом из Петербурга, я узнал, что вы распространяете в Москве копию с последнего вашего письма ко мне, причем называете меня трусом, не желавшим драться с вами, и т. д. Вернуться в Тульскую губернию было мне невозможно, и я продолжал свое путешествие. Но так как я считаю подобный ваш поступок, после всего того, что я сделал, чтобы загладить сорвавшееся у меня слово, и оскорбительным, и бесчестным, то предваряю вас, что я на этот раз не оставлю его без внимания и, возвращаясь будущей весной в Россию, потребую от вас удовлетворения.

Считаю нужным уведомить вас, что я известил о моем намерении моих друзей в Москве для того, чтобы они противодействовали распускаемым вами слухам.

Ив. Тургенев».[12])

Разумеется, что слухи эти не имели никакого основания.

«О Тургеневе скажу тебе, — писал Толстой Чичерину 28 октября 61 г., — что мне от души жалко его и что я всё возможное сделал, чтобы его успокоить. Драться же с кем-нибудь и особенно с ним через год, за 2000 верст, столько же для меня возможно, как, нарядившись диким, плясать на Тверской улице».[13])

Мысли Толстого были заняты другим, острота обиды, злоба — испарились в его душе.

«Милостивый государь, — писал он Тургеневу, — Вы называете в письме своем мой поступок бесчест-

н ы м; кроме того, вы лично сказали мне, что вы «дадите мне в рожу», а я прошу у вас извинения, признаю себя виноватым и от вызова отказываюсь.

Граф Л. Толстой».[14])
8 октября 1861. Ясная Поляна.

Много воды должно было утечь, многое надо было пережить, передумать, прежде чем два величайших писателя того времени могли снова встретиться и дружелюбно подойти друг к другу.

17 лет спустя Толстой первый протянул Тургеневу руку примирения.

---

1) В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. Изд. 1930 г. Academia, стр. 152.
2) Там же, стр. 156.
3) Фет, А. А. «Мои воспоминания», т. 1, стр. 305.
4) Там же, стр. 321.
5) Там же, стр. 317.
6) Там же, стр. 368.
7) Гусев, Н. Н. «Жизнь Толстого», т. 1, стр. 388.
8) Фет, А. А. «Мои Воспоминания», т. 1, стр. 370.
9) Там же, стр. 372.
Бирюков, П. И. «Л. Н. Толстой. Биография». Т. 1, стр. 462.
10) Фет, А. А. «Мои Воспоминания», т. 1, стр. 373.
Бирюков, П. И. «Л. Н. Толстой. Биография». Т. 1, стр. 463.
11) Фет, А. А. «Мои Воспоминания», т. 1, стр. 373.
Бирюков, П. И. «Л. Н. Толстой. Биография». Т. 1, стр. 463.
12) Гусев, Н. Н. «Жизнь Толстого», т. 1, стр. 392.
13) Письма Толстого и к Толстому, стр. 24. Юбил. Сборн. Гос. Изд. 1928.
14) Гусев, Н. Н. «Жизнь Толстого», т. 1, стр. 393.

ГЛАВА XXIII

«НАС ТЫСЯЧИ, А ИХ МИЛЛИОНЫ»

Работу по посредничеству Толстой исполнял из чувства долга, занятья же в школе — были для него радостью: «поэтическое, прелестное дело, от которого нельзя оторваться, — писал он А. А. Толстой. — Вырвавшись из канцелярии и от мужиков, преследующих меня со всех крылец дома, я иду в школу, но так как она переделывается, то классы рядом в саду, под яблонями, куда можно пройти только нагнувшись, так всё заросло. И там сидит учитель, а кругом школьники, покусывая травки и пощелкивая в липовые и кленовые листья. Учитель учит по моим советам, но всё-таки не совсем хорошо, что и дети чувствуют. Они меня больше любят. И мы начинаем беседовать часа 3-4 и никому не скучно. Нельзя рассказать, что это за дети — надо их видеть. Из нашего милого сословия детей я ничего подобного не видел. Подумайте только, что в продолжении двух лет, при совершенном отсутствии дисциплины, ни один и ни одна не были наказаны. Никогда лени, грубости, глупой шутки, неприличного слова. Дом школы теперь почти отделан. Три большие комнаты — одна розовая, две голубые заняты школой. В самой комнате, кроме того, музей. По полкам, кругом стен, разложены камни, бабочки, скелеты, травы, цветы, физические инструменты и т. д. По воскресениям музей открывается для всех и немец из Иены*) (который вышел славный юноша) — делает эксперименты. Раз в неделю класс ботаники, и мы все ходим в лес за цветами, травами и грибами. Пенья четыре класса в неделю. Рисованья шесть (опять немец), и очень хорошо. Землемерство идет так хорошо, что мальчиков уже приглашают мужики. Учителей всех, кроме меня, три. И еще священник два раза в не-

*) Немец — Густав Федорович Келлер.

делю. А вы всё думаете, что я безбожник. И я еще учу священника, как учить. Мы вот как учим: Петров день — мы рассказываем историю Петра и Павла и всю службу. Потом умер Феофан на деревне — мы рассказываем, что такое соборование и т. д. И так, без видимой связи, проходим все таинства, литургию и все ново- и ветхозаветные праздники. Классы положены с 8-ми до 12-ти часов и с 3-х до 6-ти, но всегда идут до двух, потому что нельзя выгнать детей из школы — просят еще»...[1])

Сеть школ в участке мирового посредника расширяется, Толстой выписывает учителей через Чичерина из Москвы, в окрестных глухих деревнях впервые открываются школы, Толстой руководит преподавателями, устраивает собрания. Свои опыты, наблюдения — учителя заносят в дневники. Эти записи в дневниках кратки, но они показывают, насколько сам Толстой и его помощники серьезно и вдумчиво относились к делу, отмечая, как достижения, так и недостатки преподавания.

«Февраль 26, 1862 г. Старший класс. Математика. (Запись рукой Толстого).

Задача уравнения — бассейн. Очень хорошо. Уничтожение знаменателя так и не поняли, от торопливости Владимира Александровича. Сокращали и приводили к одному знаменателю отлично. Задал сложную задачу тройного правила».

Следующая запись сделана учителем Морозовым: «В младшем классе. Писание.

Начался урок в 8 часов и продолжался до 11 часов — отступление от расписания, по случаю позднего прихода в класс учителя математики. Много написали: Румянцев и Кирюшка из Русской Истории, а прочие из Священной Истории Ветхого Завета. — Румянцев отлично написал, как в изложении, так и орфографически. Кирюшка — дурно. Прочие очень обыкновенно. Каллиграфия в упадке; замечено Графом обратить на это внимание. Да, я боюсь за себя, потому сам не далек».[2])

Повидимому, Толстой имел большое влияние на своих студентов-учителей и большинство из них прониклось его идеями. Все они были хорошие, добросовестные молодые люди, но Толстой часто приходил в

отчаяние от их неспособности полностью усвоить те приемы, которые для него были ясны. Но для этого надо было иметь его талант. Он сам ошибался, но, ошибаясь, учился.

«Начал с нумерации с старшими и старшими 2-го класса. Значение значков десятичных, простых дробей и уравнений. Сашка в толпе ничего не может делать. Я вел дело плохо. Как будто ничего не вышло», — писал он.[3])

7 августа 1862 г. Толстой писал Ал. Андр. Толстой про своих молодых помощников: «Все из 12-ти, кроме одного, оказались отличными людьми; я был так счастлив, что все согласились со мной, подчинились, не столько моему влиянию, сколько влиянию среды и деятельности. Каждый приезжал с рукописью Герцена в чемодане и революционными мыслями в голове и каждый, без исключения, через неделю сжигал свои рукописи, выбрасывал из головы революционные мысли и учил крестьянских детей священной истории, молитвам, и раздавал Евангелия читать на дом. Это факты».[4])

Толстой особенно ценил немца Келлера, которого он вывез из Германии. «Эксперименты Келлера интересны и хороши, — отзывался о нем Толстой. — Он милый и полезный малый».

Программа занятий была всесторонняя: кроме чтения и письма, преподавались грамматика, Священная История и Закон Божий, русская история, рисование, черчение, пение, естественная история; кроме того, ученики занимались столярничеством и гимнастикой. На глазах у Толстого ученики постепенно развивались, начинали сознавать, что жизнь не ограничена одной Ясной Поляной, что есть другие народы, страны, обычаи; узнали про Христа и Его учение, стали понимать красоту искусства, стихов, музыки. В своих опытах Толстой всем существом чувствовал, что малейшая фальшь, передержка в искусстве, литературе — не воспринимались его чуткими слушателями. Всё истинно прекрасное схватывалось ими с какой-то неутолимой жадностью.

Толстому необходимо было поделиться своим опытом, своими открытиями, выслушать разумную критику и он решил издавать задуманный им еще заграницей

журнал «Ясная Поляна», несмотря на то, что его предупреждали, что такой журнал не будет иметь успеха и подписчиков будет мало.

В обращении своем «К публике» он пишет:

«Выступая на новое для меня поприще, мне становится страшно за себя и за те мысли, которые годами вырабатывались во мне и которые я считаю за истинные. Я наперед убежден, что многие из этих мыслей окажутся ошибочными. Как бы я ни старался изучать предмет, я невольно смотрел на него с одной стороны. Надеюсь, что мои мысли вызовут противные мнения. Всем мнениям я с удовольствием дам место в своем журнале. Одного я боюсь, чтобы мнения эти не выражались желчно, чтобы обсуждение столь дорогого и важного для всех предмета, как народное образование, не перешло в насмешки, в личности, в журнальную полемику. Я не скажу, что насмешки и личности не могут меня затронуть, что я надеюсь стоять выше их. Напротив, я признаюсь, что боюсь за себя одинаково, как боюсь и за самое дело; боюсь увлечения полемикой личной, вместо спокойной и упорной работы над своим делом».[5])

Номер 1-ый журнала был разрешен цензурой в январе (1862 г.).

Педагогические статьи Толстого произвели впечатление революции в методах преподавания того времени. Уловить эту систему почти невозможно, вся она построена на ежедневных жизненных наблюдениях и тончайшем психологическом анализе обучающихся. В процессе преподавания — учителя учились. Непонимание, скука в классе, глупые ответы учащихся — объяснялись неправильным подходом учителя или плохими, неинтересными руководствами и книгами.

В статье «Ясно-Полянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» Толстой писал:

«Учитель всегда невольно стремится к тому, чтобы выбрать самый для себя удобный способ преподавания. Чем способ преподавания удобнее для учителя, тем он труднее для учеников. Только тот образ преподавания верен, которым довольны ученики».[6])

В этой же статье Толстой пишет об избытке никому ненужной, слабой литературы, в то время как народной литературы почти нет.

«Для образования народа необходима возможность и охота читать хорошие книги, — хорошие книги писаны языком, которого народ не понимает. Для того, чтобы выучиться понимать, нужно много читать; для того, чтобы охотно читать — нужно понимать... В чем тут ошибка?»...[7])

Те же мысли Толстой выражает и по поводу искусства. Искусство создано для людей, испорченных прогрессом. В статье «Ясно-Полянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» Толстой приводит сравнение:

«Человек со свежего воздуха приходит в накуренную, надышанную, низкую комнату; все жизненные отправления его еще полны, организм его посредством дыхания питался большим количеством кислорода, который он брал из чистого воздуха. С тою же привычкой организма он начинает дышать в зараженной комнате; вредные газы сообщаются крови в большом количестве, организм ослабевает (часто делается обморок, иногда смерть). Между тем как сотни людей продолжают дышать и жить в этом зараженном воздухе только потому, что все отправления сделались незначительнее, — они, другими словами, слабее, меньше живут».[8])

«Нас тысячи, а их миллионы», — пишет Толстой, нападая на прогресс и его представителей. Что сделали эти прогрессивные люди для этих миллионов?

Здесь мы снова можем проследить развитие мыслей об искусстве, зародившихся в 34-х летнем Толстом, мыслей, которые с годами укрепились в нем и нашли свое окончательное оформление в статье об искусстве 35 лет спустя.

Ученые педагоги, литераторы, все прогрессивные люди не могли не возмущаться такой, так называемой, ересью. Педагогический журнал Толстого вызвал целый ряд ответных критических статей. На одну из таких статей по вопросу о прогрессе, помещенную г-ном Марковым в «Русском Вестнике»[9]), Толстой ответил статьей «Прогресс и определение образования». Со свойствен-

ными ему страстностью и убежденностью, не считаясь с тем взрывом негодования, который статья его должна была вызвать в среде русской интеллигенции, Толстой, со всей своей силой, обрушился на г-на Маркова и на так называемый прогресс, который Марков защищал:

...«Во-первых, признать прогресс ведущим к благосостоянию можно только тогда, когда весь народ, подлежащий действию прогресса, будет признавать это действие хорошим и полезным, тогда как теперь в 9/10 населения, в так называемом простом, в рабочем народе, мы постоянно видим противное; и во-вторых, тогда, когда будет доказано, что прогресс ведет к совершенствованию всех сторон человеческой жизни, или, что взятые вместе последствия его влияния, преобладают добрыми и полезными над дурными и вредными. Народ, т. е. масса народа, 9/10 всех людей, постоянно враждебно относятся к прогрессу и постоянно не только не признают его пользы, но положительно и сознательно признают его вред для них»...[10])

«Я прошу серьезного читателя, — пишет дальше Толстой, — прочесть всю 3-ю главу 1-ой части истории Маколея. Вывод сделан смело и решительно, но на чем он основан — решительно не понятно для здравого человека, не отуманенного верой в прогресс. Значительные факты только следующие: 1) Народонаселение увеличилось, — увеличилось так, что необходима теория Мальтуса. 2) Войска не было, — теперь оно стало огромно; с флотом то же самое. 3) Число мелких землевладельцев уменьшилось. 4) Города стянули к себе большую часть народонаселения. 5) Земля обнажилась от лесов. 6) Заработная плата стала наполовину больше, цены же на всё увеличились и удобств к жизни стало меньше. 7) Подать на бедных удесятирилась. Газет стало больше, освещение улиц лучше, детей и жен меньше бьют и английские дамы стали писать без орфографических ошибок».[11])

Каждый человек нашего времени саркастически улыбнется, прочитав эти строки — но нельзя не сознаться, что в них скрыта несомненная, глубокая истина, и невольно встает вопрос: принес ли человечеству счастье

тот прогресс, против которого так горячо восставал Толстой 85 лет тому назад?

В то время Толстого интересовало одно: судьба, счастье, развитие и благосостояние не «тысяч, а миллионов» народа. Он был погружен в дело школы всем своим существом, мысль о жизни в деревне, женитьбе на крестьянской девушке мелькала у него в голове, он настолько был увлечен средой, что все остальные классы общества как бы исчезли из его жизни, даже в писании своем он употреблял часто народные слова.

«Что такое была для меня школа, с тех пор, как я открыл ее. Это была вся моя жизнь, это был мой монастырь, церковь, в которую я спасался и спасся от всех тревог, сомнений и искушений жизни», — так писал он 7 августа 1862 года А. А. Толстой.[12]) Педагогическая работа и общение с ребятами давали Толстому громадное чувство удовлетворения и минуты радостного, незабываемого подъема, почти восторга. Такое чувство Толстой испытал, когда он заставил своих ребят «сочинять».

Много раз он задавал ученикам сочинения на различные темы, но выходило слабо. Ребята писали не так, как они рассказывали, а старались написать так, как, казалось им, должно понравиться учителю, и Толстой не мог добиться того, чего он хотел — народной, ребячьей художественности. Он чувствовал, что она скрыта в его любимцах, так же как и многие другие способности и таланты, веками дремавшие в русском крестьянском народе. Но как найти этот скрытый, неосознанный, не раскопанный еще клад.

Толстой описывает в статье «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят», как ребята писали рассказы: «Ложкой кормит, а стеблем глаз колет» и «Солдаткино житье».[13])

Когда Толстой предложил писать, ребята остались равнодушны.

— Ну, — сказал я, — кто лучше напишет, и я с вами.

«Я начал повесть... и написал первую страницу. Всякий непредубежденный человек, имеющий чувство художественности и народности, прочтя эту первую, писанную мною, и следующие страницы повести, писанные

самими учениками, отличит эту страницу от других, как муху в молоке: так она фальшива, искусственна и написана таким плохим языком. Надо заметить еще, что в первоначальном виде она была еще уродливее и много исправлена, благодаря указаниям учеников», — пишет он дальше.

Постепенно ребята увлеклись и двое из них, Васька Морозов, которого Толстой называет в статье Федькой, и Игнатка Макаров — Сёмка, увлеклись сочинительством так, что сам Толстой уступил им поле и едва успевал записывать сыпавшиеся на него подробности рассказа.

«Сёмке нужны были преимущественно объективные образы: лапти, шинелишка, старик, баба, почти без связи между собой; Федьке нужно было вызвать чувство жалости, которым он сам был проникнут.

Он забегал вперед, говорил о том, как будут кормить старика, как он упадет ночью, как потом будет в поле учить грамоте мальчика, так что я должен был просить его не торопиться и не забывать того, что он сказал. Глаза у него блестели почти слезами: черные, худенькие ручонки судорожно корчились; он сердился на меня и беспрестанно понукал: написал, написал? — всё спрашивал он меня. Он деспотически-сердито обращался со всеми другими, ему хотелось говорить только одному, — и не говорить, как рассказывают, а говорить, как пишут, т. е. художественно запечатлевать словом образы чувства; он не позволял, например, перестанавливать слов, скажет: у меня на ногах раны, то уж не позволяет сказать: у меня раны на ногах. Размягченная и раздраженная его, в это время, душа чувством жалости, т. е. любви, облекала всякий образ в художественную форму и отрицала всё, что не соответствовало идее вечной красоты и гармонии. Как только Сёмка увлекался высказыванием непропорциональных подробностей о ягнятах в коннике и т. п., Федька сердился и говорил: ну тебя, уж наладил! Стоило мне только намекнуть о том, например, что делал мужик, как жена убежала к куму, и в воображении Федьки тотчас же возникала картина с ягнятами, бякающими в коннике, со вздохами

старика и бредом мальчика Сережки; стоило мне только намекнуть на картину искусственную и ложную, как он тотчас же сердито говорил, что этого не надо. Я предложил, например, описать наружность мужика, — он не согласился; но на предложение описать то, что думал мужик, когда жена бегала к куму, ему тотчас же представился оборот мысли: «Эх, напалась бы ты на Савоську покойника, тот бы те космы-то повыдергал!» И он сказал это таким усталым и спокойно привычно-серьезным и вместе добродушным тоном, облокотив голову на руку, что ребята покатились со смеху. Главное свойство во всяком искусстве — чувство меры — было развито в нем необычайно. Его коробило от всякой лишней черты, подсказываемой кем-нибудь из мальчиков. Он так деспотически, и с правом на этот деспотизм, распоряжался постройкой повести, что скоро мальчики ушли домой и остался только он с Сёмкою, который не уступал ему, хотя и работал в другом роде.

Мы работали с 7 до 11 часов; они не чувствовали ни голода, ни усталости, и еще рассердились на меня, когда я перестал писать; взялись сами писать попеременкам, но скоро бросили; дело не пошло. Тут только Федька спросил у меня, как меня звать. Мы засмеялись, что он не знает. «Я знаю, — сказал он, — как вас звать, да двор-то ваш как зовут. Вот у нас Фоканычевы, Зябревы, Ермилины». Я сказал ему. «А печатывать будем?» спросил он. — Да! — «Так и напечатывать надо: сочинение Макарова, Морозова и Толстова». Он долго был в волнении и не мог заснуть, и я не могу передать того чувства волнения, радости, страха, и почти раскаяния, которые я испытывал в продолжение этого вечера. Я чувствовал, что с этого дня для него раскрылся новый мир наслаждений и страданий, — мир искусства; мне казалось, что я подсмотрел то, что никто никогда не имеет права видеть — зарождение таинственного цветка поэзии. Мне и страшно, и радостно было, как искателю клада, который бы увидал цвет папоротника; радостно мне было потому, что вдруг, совершенно неожиданно, открылся мне тот философский камень, которого я тщетно искал два года — искусство учить вы-

ражению мыслей; страшно потому, что это искусство вызывало новые требования, целый мир желаний, несоответственный среде, в которой жили ученики, как мне казалось в первую минуту. Ошибиться нельзя было. Это была не случайность, но сознательное творчество».

В этом маленьком «ошмётке», как Васька Морозов сам себя назвал в своих талантливых воспоминаниях, Толстой вдруг нашел художественный талант: «Чувство меры было в нем так сильно, как ни у одного из известных мне писателей, — то самое чувство меры, которое огромным трудом и изучением приобретают редкие художники, — во всей его первобытной силе жило в его неиспорченной детской душе.

Я оставил урок, потому что был слишком взволнован.

— Что с вами, отчего вы так бледны, вы верно нездоровы? — спросил меня мой товарищ. Действительно, я два-три раза в жизни испытывал столь сильное впечатление, как в этот вечер, и долго не мог дать себе отчета в том, что я испытывал. Мне смутно казалось, что я преступно подсмотрел в стеклянный улей работу пчел, закрытую для взора смертного; мне казалось, что я развратил чистую, первобытную душу крестьянского ребенка. Я смутно чувствовал в себе раскаяние в каком-то святотатстве. Мне вспоминались дети, которых праздные и развратные старики заставляют ломаться и представлять сладострастные картины для разжигания своего усталого, истасканного воображения, и вместе с тем, мне было радостно, как радостно должно быть человеку, увидевшему то, чего никто не видал прежде его.

Я долго не мог дать себе отчета в том впечатлении, которое я испытал, хотя и чувствовал, что это впечатление было из тех, которые в зрелых летах воспитывают, возводят на новую ступень жизни и заставляют отрекаться от старого и вполне предаваться новому. На другой день я еще не верил тому, что испытал вчера. Мне казалось столь странным, что крестьянский, полуграмотный мальчик вдруг проявляет такую сознательную силу художника, какой, на всей своей необъятной высоте развития, не может достичь Гёте. Мне казалось

столь странным и оскорбительным, что я, автор «Детства», заслуживший некоторый успех и признание художественного таланта от русской общественной публики, что я, в деле художества, не только не могу указать или помочь 11-летнему Сёмке и Федьке, а что едва-едва, — и то только в счастливую минуту раздражения, — в состоянии следить за ними и понимать их. Мне это казалось так странным, что я не верил тому, что было вчера».

---

1) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой, № 37, июль 61 г., стр. 154.

2) Полн. собр. соч. Госизд. Т. 8, стр. 455. Приложение. Дневник Ясно-полянской школы.

3) Там же, стр. 466.

4) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. № 42, 7 авг. 62 г., стр. 163.

5) Полн. собр. соч. Госизд. Т. 8, стр. 3. «К публике».

6) Там же, стр. 54. «Ясно-полянская школа за ноябрь и декабрь месяцы».

7) Там же, стр. 61. «Ясно-полянская школа за ноябрь и декабрь месяцы».

8) Там же, стр. 112. «Ясно-полянская школа за ноябрь и декабрь месяцы».

9) «Русский Вестник» 1862 г. № 5.

10) Полн. собр. соч. Госизд. Т. 8, стр. 335. «Прогресс и определение образования».

11) Там же.

12) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. № 42, 7 авг. 62 г., стр. 163.

13) Полн. собр. соч. Госизд. Т. 8, стр. 302-308. «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят».

ГЛАВА XXIV

ОБЫСК

У Толстого было одно характерное свойство, сохранившееся в нем до глубокой старости, — детская, непосредственная веселость, искреннее, почти страстное увлечение спортом, играми, разными забавами. «Игра — серьезное дело» (изречение Т. А. Берс-Кузминской, которое Толстой любил повторять). И в ту минуту, как Толстой играл в городки, боролся, охотился, бегал наперегонки со своими ребятами — это было для него серьезное дело, потому что он всем существом своим отдавался ему и веселился не меньше своих ребят. Яснополянские школьники заражались его весельем. Чего только он ни придумывал! На Рождестве устраивал елку, на новый год — ряженых, на масляницe — блины и катанье, по русскому обычаю. Блины ели с маслом, сметаной, селедками, чинно, досыта, и когда, наконец, отваливались, отирая пот от сытости и жары в школьной, нагревшейся от русской печки небольшой кухне, «граф» приказывал запречь несколько розвальней и ехали кататься. Восторг был полный. Наваливаются ребята — полные сани. Заливаются колокольчики, заливаются песнями детские голоса, смех, веселье, а в передних санях — главный затейник-учитель Толстой. Он правит сам, лаской и весельем сияют из-под густых бровей глубокие серые глаза, мощью веет от всего его широкого бородатого лица, могучего, сильного тела. Для ребят он был каким-то высшим, необыкновенным существом, не совсем понятным — их отцы снимали перед ним шапки, для них же, детей, он минутами был чудесно, необъяснимо близок.

Весной этого года Толстой почувствовал усталость, недомоганье, стал кашлять и так как в нем, так же как в его братьях, были задатки туберкулеза, доктор посоветовал ему ехать в Самару, на кумыс. Но он не смог

оторваться от своих ребят и взял с собой самых любимых, Ваську Морозова и Егора Чернова; с ними же поехал и слуга его, Алексей Орехов. Ехали сначала на лошадях до Москвы, потом железной дорогой до Твери, где сели на пароход. Путешествие пароходом по Волге, от Твери до Самары, успокоило его; в степях, в полудиком башкирском кочевье, он почувствовал себя совсем хорошо. С башкирами он быстро подружился. Они приглашали «князя», как они его звали, в свои кибитки, устланные по земляному полу коврами, где руками ели баранину и конину, запивая кумысом. Толстой сам устраивал игры с башкирами, борьбу, из которой всегда выходил победителем. «Он был сильный богатырь и ему не находилось соперников. Только один башкир был ему равный по силе, и Льву Николаевичу не удавалось его класть на землю, но и башкиру не удавалось Льва Николаевича положить, — писал В. Морозов в своих воспоминаниях. — Во время таких игр все башкиры из кибиток собирались, от большого и до малого... Вечерней зарей около нашей кибитки бывало постоянное сборище»...[1])

В то время как Толстой, безмятежно отдыхая, проводил время в степи, над головой его, совершенно неожиданно для него, сгущались тучи.

Революционные, атеистические веяния уже тогда носились в воздухе; читали втихомолку Герцена, Маркса, возводили в героев участников восстания декабристов, печатали революционные прокламации. Среди 20 учителей, работавших в школах Толстого, были студенты с революционным прошлым. Так, 1-го декабря 1861 г. прибыл в Ясную Поляну, в качестве учителя, некий поднадзорный студент Соколов. Пробыл он в школе всего около полутора месяцев, но как ни странно, а это незначительное событие повлекло за собой серьезные последствия, которые могли кончиться для Толстого катастрофой.

Жандармский генерал Перфильев, немедленно после отъезда Соколова из Москвы, сообщил тульскому начальнику жандармского отделения Муратову об его отъезде в Тулу. Последний доносит, что Соколов про-

следовал в Ясную Поляну. Для учреждения слежки за Яснополянской школой командируется в Тулу сыщик Михаил Шипов, позднее известный полиции как Зимин. Это бывший крепостной, из дворовых, князя Долгорукова, шефа жандармов в Петербурге. Шипов был дрянной, опустившийся, пьяный человек, кичившийся своими мнимыми связями с его сиятельством — шефом жандармов. 9-го июня Шипова арестовывают за безобразное его поведение. Во время своего ареста в Москве Шипов-Зимин обдумывает план, как бы ему выслужиться перед начальством и при допросах сочиняет постепенно всю историю своего доноса чиновнику московского военного генерал-губернатора о том, что из Москвы в Ясную Поляну привезены «литографические камни со шрифтом и какие-то краски для печатания запрещенных сочинений», и затем, «все эти камни и инструменты из предосторожности были перевезены в Курское имение Толстого, где печатание начнется в августе».

Вслед за первым доносом Шипов шлет через несколько дней дополнительное донесение о том, что Толстого часто посещают раскольники «из Стародубских слобод», и что в августе предполагается печатание манифеста по поводу тысячелетия России. В доме Толстого устроены «потайные двери и лестницы, и вообще дом в ночное время всегда оберегается большим караулом».

Откуда пошли эти выдумки, неизвестно. «Большой караул» состоял из старика ночного сторожа, обходившего усадьбу с своей колотушкой, а слух о «потайных дверях и лестницах» мог возникнуть только от несколько необычной, странной архитектуры Толстовского дома. Из передней, где за перегородкой спал слуга Толстого, Орехов, шла дверь в кабинет Толстого. Комната эта совершенно изолирована от всякого внешнего шума толстыми каменными стенами и таким же сводчатым потолком, в котором, на определенном расстоянии друг от друга, ввинчены большие, тяжелые железные кольца. Говорили, что здесь была кладовая при князе Волконском, и что на эти кольца вешали коптившиеся на усадьбе окорока. Из кабинета Толстого шла маленькая, узкая дверь в «каменную» крошечную комнату с полом

неровно уложенным каменными плитами. И отсюда вилась узкая, темная деревянная лестница наверх, где помещались тетенькины покои, гостиная и другие шесть жилых светлых, просторных проходных комнат.

Получив эти донесения, московский генерал-губернатор приказал «сделать тщательное расследование и принять необходимые меры». Дело было передано московскому шефу жандармов, который немедленно предписал шефу жандармов города Тулы, полковнику Дурново, произвести обыск в Ясной Поляне и, если потребуется, в Курской губернии, куда якобы была переправлена тайная типография из Ясной Поляны.

В те времена, помещичьи усадьбы были как бы отдельными маленькими мирами, ничто не нарушало тишины размеренной, неторопливой жизни обитателей. Годами складывались привычки, слуги, не торопясь, делали свое дело, вечерами тетенька Татьяна Александровна раскладывала пасьянсы, Мария Николаевна играла на фортепиано, под праздник, перед киотом с образами, зажигались лампады. Без хозяина, который вносил такую кипучую энергию и жизнь и захватывал внимание всех и вся, в доме было тихо и спокойно.

Но вдруг усадьба проснулась — колокольчики, бубенцы, ближе, ближе... Кто-то едет по обсаженному старыми березами пришпекту... подкатывает к дому тройка, одна, другая, подводы заполнили весь двор... Что это? Люди в формах, жандармский полковник, исправник, становые...

Забегали служащие, тетеньке Татьяне Александровне сделалось дурно, Марья Николаевна в ужасе, никто ничего не понимает, срочно послали нарочного за соседями. Обыск! графскую усадьбу обыскивают жандармы!.. Слух этот как молния разнесся по усадьбе, перекинулся на деревню... А власти между тем расставили везде сторожей и принялись за свое грязное дело: перерыли все столы в комнате Толстого, прочли все его интимные письма, дневники, обыскали школы, ломом подняли полы в конюшне, ища типографский станок, на котором Толстой якобы печатал революционные прокламации.

Обыск продолжался два дня, в течение которых учителя держались под арестом. Легко себе представить, какое впечатление произвел этот обыск на учащуюся молодежь! Революционный дух, дух протеста, возмущения против правительства, остывшие во время работы с Толстым, загорелись в них с новой силой.

Не найдя ничего подозрительного, кроме выписки из Герцена у одного из учителей, жандармский полковник распорядился сделать обыск в имении покойного брата Толстого, Николая, в Никольском-Вяземском. Этот обыск также не дал никаких результатов. Всё это происходило 6 и 7 июля, а около 20-го вернулся из Самары в Москву Толстой.

«Какие это опасения вы имели на мой счет? — пишет он немедленно «бабушке» Александрин. — Это меня интриговало всё время и только теперь, получив известия из Ясной Поляны, я всё понял. Хороши ваши друзья! Мне пишут из Ясной: 6-го июля приехали три тройки с жандармами, не велели никому выходить, должно быть и тетеньке, и стали обыскивать. — Что они искали — до сих пор не известно. Какой-то из ваших друзей, грязный полковник, перечитал все мои письма и дневники, которые я только перед смертью думал поручить тому другу, который будет мне тогда ближе всех; перечитал две переписки, за тайну которых я бы отдал всё на свете, — и уехал, объявив, что он подозрительного ничего не нашел. Счастье мое и этого вашего друга, что меня тут не было, — я бы его убил. Мило! Славно! Вот как делает себе друзей правительство. Ежели вы меня помните с моей политической стороны, то вы знаете, что всегда и особенно со времени моей любви к школе, я был совершенно равнодушен к правительству и еще более равнодушен к теперешним либералам, которых я презираю от души. Теперь я не могу сказать этого. Я имею злобу и отвращение, почти ненависть к тому милому правительству, которое обыскивает у меня литографские и типографские станки для перепечатывания прокламаций Герцена, которые я презираю, которые я не имею терпения дочесть от скуки. Это факт — у меня раз лежали неделю все эти пре-

лести — прокламации и «Колокол», и я так и отдал, не прочтя. Мне это скучно, я всё это знаю и презираю не для фразы, а от всей души. — И вдруг меня обыскивают с студентами... Милые ваши друзья! Я еще не видал тетеньки, но воображаю ее... Тьфу! — Как вы, отличный человек, живете в Петербурге! Этого я никогда не пойму»...[2])

Приехав в Ясную Поляну и узнав подробности обыска из рассказов тетеньки и сестры, Толстой пришел в такое бешенство, что близкие его опасались, как бы он не наделал чего-нибудь такого, что могло бы погубить всю его жизнь. В письме к Александрин от 7 августа, уже из Ясной Поляны, Толстой, со свойственной ему страстностью, выражает свой гнев и возмущение.

«Я вам писал из Москвы: я знал всё только по письму; теперь, чем дольше я в Ясной, тем больней и больней становится мне нанесенное оскорбление и невыносимее становится вся испорченная жизнь. Я пишу это письмо обдуманно, стараясь ничего не забыть и ничего не прибавить, с тем, чтобы вы показали его разным разбойникам Потаповым и Долгоруким, которые умышленно сеют ненависть против правительства и роняют государя во мнении его подданных. Дела этого оставить я никак не хочу и не могу. Вся моя деятельность, в которой я нашел счастье и успокоение, испорчена. Тетенька больна так, что не встанет. Народ смотрит на меня уже не как на честного человека, мнение, которого я заслуживал годами, а как на преступника, поджигателя или делателя фальшивой монеты, который только по-плутовски увернулся. «Что, брат, попался! будет тебе толковать нам о честности, справедливости; самого чуть не заковали». О помещиках, что и говорить, — это стон восторга. Напишите мне, пожалуйста, поскорее, посоветовавшись с Перовским или А. Толстым, или с кем хотите, как мне написать и как передать письмо Государю. Выхода мне нет другого, как получить такое же гласное удовлетворение, как оскорбление (поправить дело уже невозможно), или экспатриироваться, на что я твердо решился. К Герцену я не поеду: Герцен сам по себе, я сам по себе. Я и прятаться не стану, я громко

объявлю, что продаю именья, чтобы уехать из России, где нельзя знать минутой вперед, что меня, и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут, — и уеду»...

«Я часто говорю себе, какое огромное счастье, что меня не было. Ежели бы я был, то наверно бы уже судился, как убийца. — Теперь представьте себе слухи, которые стали ходить после этого по уезду и губернии между мужиками и дворянами. Тетенька с этого дня стала хворать всё хуже и хуже. Когда я приехал, она расплакалась и упала; она почти не может стоять теперь. Слухи были такие положительные, что я в крепости или бежал за границу, что люди, знавшие меня, знавшие, что я презираю всякие тайные дела, заговоры, бегства и т. п., начинали верить. — Теперь уехали, позволили нам ходить из дома в дом, однако у студентов отобрали билеты и не выдают, но жизнь наша и в особенности моя с тетенькой, совсем испорчена. Школы не будет, народ посмеивается, дворяне торжествуют, а мы волей-неволей, при каждом колокольчике думаем, что едут везти куда-нибудь. У меня в комнате заряжены пистолеты и я жду минуты, когда всё это разрешится чем-нибудь. — Г-н жандарм постарался успокоить нас, что ежели что спрятано, то мы должны знать, что завтра может быть он опять явится нашим судьей и властелином вместе с частным приставом. Одно — ежели это делается без ведома государя, то надобно воевать и из последних сил биться против такого порядка вещей. Так жить невозможно. Ежели же всё это так должно быть и государю представлено, что без этого нельзя, то надо уйти туда, где можно знать, что, ежели я не преступник, я могу прямо нести голову, или стараться разуверить государя, что без этого невозможно».[3])

Бедная Александрин, которую Толстой отождествлял с правительством только за то, что она служила при дворе, и на которую он излил всё свое негодование, не оскорбилась, а только до смерти перепугалась, что Лев наделает каких-нибудь неосторожных поступков и написала ему:

«Лев, дорогой мой, во имя всего, что у вас было святого в жизни, умоляю вас не принимать никаких мер,

что бы ни случилось, особенно до тех пор, пока вы не успокоитесь совершенно».[4])

23 августа Толстой подал через флигель-адъютанта, гр. Шереметева, письмо на Высочайшее имя, с жалобой на действия жандармского отделения. Он между прочим писал:

«По свойственному человеку чувству, я ищу, кого бы обвинить во всем случившемся со мною. Себя я не могу обвинять: я чувствую себя более правым, чем когда бы то ни было; ложного доносчика я не знаю; чиновников, судивших и оскорблявших меня, я тоже не могу обвинить: они повторяли несколько раз, что это делается не по их воле, а по высочайшему повелению... Для того, чтобы знать, кого упрекать во всем случившемся со мною, я решаюсь обратиться прямо к Вашему Величеству. Я прошу только о том, чтобы с имени Вашего Величества была снята возможность укоризны в несправедливости и чтобы были, ежели не наказаны, то обличены виновные в злоупотреблении этого имени».[5])

Обыск этот, несомненно, сильно подействовал на Толстого и надолго оставил в нем горькое чувство незаслуженной обиды. И раньше Толстой критиковал действия правительства, но отношение его к правительству и государю было вполне лояльным; незаслуженное оскорбление, произвол, лишний раз заставили его задуматься, натолкнули его на мысли, сделавшиеся убеждением в старости.

Объяснение шефа жандармов, кн. Долгорукого, тульскому губернатору, в ответ на письмо Толстого государю, не могло удовлетворить последнего.

«Хотя некоторые из проживающих у него лиц и оказались неимеющими для жительства законных видов, а у одного хранились запрещенные сочинения, Его Величеству благоугодно, чтобы помянутая мера (т. е. обыск) не имела собственно для графа Толстого никаких последствий».[6])

Обыск ли, или другие события, изменившие всю жизнь Толстого, но хотя школа и журнал «Ясная Поляна», на который тоже начали коситься, еще некоторое время и продолжались, но Толстой уже внутренно отходил от своего любимого школьного дела.

---

[1]) В. С. Морозов. «Воспоминания ученика яснополянской школы», изд. Посредник, М. 1917 г. — Также: Гусев. «Жизнь...» Т. 1, Гл. 16, стр. 406.

[2]) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. № 41, стр. 162.

[3]) Там же, № 42, стр. 163.

[4]) Там же, № 43, стр. 173.

[5]) Полн. собр. соч. Юбил. Гос. Изд. т. 60, стр. 440.

[6]) Ильинский, Игорь. «Обыск в Ясной Поляне», стр. 411.

ГЛАВА XXV

«ЕСЛИ БЫ Я КОГДА-НИБУДЬ ЖЕНИЛСЯ»...

Всё труднее и труднее становилось жить одному.

Возвращался ли он зимними вечерами из школы, мягко хрустя валенками по узкой, протоптанной снеговой тропинке, еще весь погруженный в мысли о Васьках, Федьках, Парашках, всей грудью вдыхая холодный, чистый воздух, когда мертвую тишину нарушало лишь потрескивание скованных морозом деревьев — он был один.

Шагал ли он ранней весной в высоких болотных сапогах по вязкой глине, любуясь только что освободившимися от снежного покрова яркими зеленями, слушая неумолчное журчание прилетевших жаворонков, низко стелящихся над оживающей, дышащей сыростью землей, когда вместе с пробуждающейся природой просыпались новые надежды, и когда от сознания собственного бытия и красоты Божьего мира хотелось кричать от восторга — он был один.

Сидел ли он в гостиной, где тетенька неторопливо раскладывала пасьянс, а в открытое итальянское окно властно врывались волнующие звуки весны — пенье крестьянской молодежи с деревни, несущиеся с пруда веселые крики ребят, кваканье лягушек, силившихся перекричать переливы и трели изнемогавших от страсти соловьев, когда воздух был насыщен пряным запахом цветущих яблонь и черемухи, и хотелось страстно любить и быть любимым — он был один.

Возвращался ли он знойным летом, потный и усталый, с покоса, где наравне с мужиками косил весь день, а в обеденный перерыв с наслаждением бросался с берега в нагретую солнцем речку Воронку и, освежившись, хлебал из общей чашки мужицкую тюрю, радуясь и силе своего тела, и общению с этими самыми мужиками, и

погоде, и тому, что луг так быстро скошен, и хотелось с кем-то поделиться, — он был один.

Слушал ли он музыку в восторженном упоении от нахлынувших на него вдохновенных, неуловимых полумыслей, получувств, уносивших его в высший, неосязаемый мир, где смутные образы принимали какие-то очертания и начинали жить — ему некому было сказать об этом — он был один.

«Мне грустно, — писал он в дневнике, — нет у меня друзей, нет! Я один!»

Вначале Толстой не предполагал, что в семье Берсов он найдет себе жену. Он ездил к ним, потому что с детства знал Любовь Александровну Иславину-Берс, она была очень дружна с его сестрой, Марией Николаевной, и он любил и уважал ее. Толстой знал и отца Любови Александровны — Александра Михайловича Исленьева.

В молодости Исленьев был страстным игроком. Про него рассказывали, что в один вечер он проигрывал и отыгрывал целые состояния — золото на простынях выносили — что был он лихим офицером, кутилой, страстным охотником и любителем цыган. Необузданная натура его не знала препятствий и когда он встретил княгиню Софию Петровну Козловскую, рожденную графиню Завадовскую, и они полюбили друг друга, он, не долго думая, решил увезти Софью Петровну и тайно с ней повенчался, так как князь Козловский отказался дать развод своей жене. История эта наделала в свое время много шума в высшем московском обществе, брак был признан незаконным, детям не разрешили носить фамилию Исленьевых, а дали фамилию Иславиных.

Исленьевы счастливо прожили 15 лет. На шестнадцатом году Софья Петровна скончалась, оставив после себя трех дочерей, младшей из которых и была Любочка. Остро пережив бурный период горя, Исленьев скоро утешился, женился вторично на дочери тульского помещика, Софье Александровне Ждановой и жизнь его трех дочерей, особенно младшей, Любочки, в семье мачехи была невеселой.

Когда Любочке было 15 лет, она серьезно заболела горячкой и Исленьев пригласил молодого врача Андрея Евстафьевича Берса ее лечить. В продолжение нескольких недель Берс выхаживал Любочку и за это время они полюбили друг друга. Брак этот с доктором немецкого происхождения считался мезальянсом. Исленьев протестовал, но Любочка настояла на своем и оказалась права, так как Берсы счастливо прожили вместе до конца своей жизни.

Андрей Евстафьевич Берс был придворным врачем и Берсы жили в Москве в Кремлевском дворце. Человек он был умный, способный и порядочный, но вспыльчивый и своенравный. Софья Андреевна Берс-Толстая, отчасти унаследовавшая вспыльчивый характер своего отца, рассказывала, что, когда на Андрея Евстафьевича находили припадки гнева, весь дом трепетал. Был случай, когда к обеду подали плохо зажаренный ростбиф, Андрей Евстафьевич пришел в бешенство, схватил блюдо с ростбифом и, к ужасу Любови Александровны, детей и служащих, пустил его в стену, а сам выскочил изза стола и убежал. К счастью, такие припадки случались очень редко, а к старости и совсем прекратились, но в доме хозяина боялись и уважали.

Детей у Берсов народилось много: три дочери и пять сыновей.

В воспитании детей Любовь Александровна придерживалась традиций того круга, в котором она выросла. В доме жили гувернантки, дети говорили по-французски, по-немецки, было человек 10 служащих: лакеи, горничные, повара... Семья Берсов была принята во многих аристократических семьях в Москве; по субботам, как полагалось, устраивались танцклассы, то у Берсов, то еще чаще у Марии Николаевны Толстой, где дети Толстые — Лизанька, Варенька и Николенька — танцевали вместе с детьми Берсов. Любовь Александровна приучала своих девочек к хозяйству и они, надев изящные, с кружевами, фартучки, помогали на кухне или в столовой.

Чем старше становились девочки Берсы, тем чаще Толстой посещал их. Здесь он не искал ответов на му-

чившие его религиозно-философские вопросы, вопросы народного образования, экономического улучшения крестьянского быта — здесь он искал другое: семейный уют, молодое, непосредственное веселье, общество хороших, порядочных девушек. Выскакивая из своего, как он говорил, «отшельничества», он должен был, как молодой, выпущенный на волю конь, хоть изредка, как выражались в семье Толстых, «взбрыкивать».

У Берсов было весело. Несмотря на буржуазно-спокойный уклад семьи, среди молодежи уже бушевали страсти. Царила та атмосфера, которую Толстой описал в «Войне и мире», в доме Ростовых. Постоянно вертелась молодежь, товарищи старшего сына, Саши Берса, кадеты, гимназисты, юнкера. Все были влюблены. Соня была влюблена в Поливанова, усиленно за ней ухаживавшего, Таня в своего двоюродного брата, Сашу Кузминского. Пели, танцевали, ставили спектакли... Казалось, 34-летний, уже получивший известность писатель, должен был бы нарушать веселье всей этой зеленой молодежи, но на самом деле Толстой своими приездами вносил еще больше веселья.

«Мы не чувствовали его возраста, — рассказывала впоследствии младшая из дочерей Берсов, Таня. — Когда он приезжал, всё оживало: то поведет нас всех в лес на прогулку, сам заблудится, по дороге рассказывает нам какие-нибудь истории. Придем, бывало, домой, еле ноги тащим — измученные, голодные, конечно опоздав к обеду. Мама недовольна, но Левочка умел состроить такое умильное лицо, так мóлит о прощении, что она, бывало, в конце концов рассмеется и простит».

Та же Таня рассказывает в своих воспоминаниях, как Толстой выдумал ставить оперу. У Тани был чудесный голос — лирическое сопрано, и она пела главную роль, брат ее Саша изображал рыцаря.

«Всё шло своим чередом, — пишет Татьяна Андреевна Кузминская, — но вдруг Лев Николаевич шумно и громко заиграл в басу. Дверь отворилась и появился грозный муж в лице фрейлейн Безэ (гувернантка девочек Берс). Одета она была в охотничьи шаровары, с красной мантией через плечо, с приклеенными волося-

ными подкладками в виде бак. Она громко пела басом, подбирая немецкие слова: "Trummel, Kummer, Küche, Liebe!" причем грозно наступала на рыцаря. Ее маленькие черные глаза сверкали гневом. На голове была надета большая круглая шляпа, с длинным пером, брови были подрисованы и ее невозможно было узнать. Всё это было так неожиданно и комично, что послышался неудержимый смех Льва Николаевича. Я взглянула на него. Он весь трясся от смеха, перегибаясь в бок к роялю, выделывая при этом в басу громкие рулады. Его смех заразил всех».[1])

Кто знавал Толстого — помнит, как он смеялся. Он смеялся, как смеются очень молодые существа, безудержно, прерывая иногда смех стонами изнеможения, всем телом раскачиваясь взад и вперед, смеялся до слез, сморкаясь и вытирая слезы; окружавшие часто, не зная даже в чем дело, глядя на него, тоже начинали смеяться.

Барышни Берс воспитывались строго, по-старинному. Выходить одним на улицу воспрещалось, не только поцеловаться с молодым человеком считалось преступлением, но даже поздороваться за руку было неприлично, девушка должна была, слегка наклонив голову, сделать легкий реверанс, и скромно отойти в сторону. Любовь Александровна приходила в ужас от всё более и более внедрявшегося в интеллигентную среду вольнодумства, от всех этих девиц нигилисток, революционерок, шагавших по городу без родителей и гувернанток, а иногда даже и с мужчинами, читавших романы, революционные брошюры и статьи Герцена, и выбиравших себе мужей по своему вкусу, без совета и согласия родителей...

Все три барышни Берс были очень хорошенькие. Старшей, Лизе, было 18 лет, когда Толстой участил свои поездки в семью доктора. Лиза была самая образованная, много читала, хорошо знала математику, интересовалась философией, писала, и Толстой даже пробовал привлечь ее к работе над своим педагогическим журналом. На младших сестер своих Лиза смотрела сверху вниз — «Что, мол, эти легкомысленные девчонки понимали в жизни, кроме глупых игр, флирта и сентимен-

тальных мечтаний». Все ее рассуждения были всегда логичны, замечания основательны, она была всегда права, когда жаловалась родителям на проступки своих братьев и сестер; но эта логичность и правота и вызывали страшное раздражение в молодежи, державшейся от нее в стороне. Бывало Соня и Таня, забыв о Лизином присутствии, размечтаются о чем-нибудь, строят планы о будущем, и вдруг спокойный металлический голос Лизы сразу рассеивает поэзию, рушит воздушные замки: «Вот дуры!» — бросает она, очень довольная тем, что своим замечанием прекратила всю эту глупую болтовню.

Младшая, Таня, была совершенной противоположностью своей старшей сестры. Худенькая и грациозная, с правильными чертами лица, которое немного портил слишком большой, чувственный рот, веселая, как ртуть подвижная, она была, несомненно, самая привлекательная из трех сестер. Она никого не боялась в доме, даже своего строгого отца, всегда всех тормошила, придумывала какие-то шалости, потихоньку читала романы, влюблялась и мечтала быть танцовщицей. Толстой прозвал ее Мадам Виардо за ее чудесный, чистый и необычайно приятный голос.

Из всех трех сестер Соня была самая красивая. Она была одного роста с Таней, тоненькая, прекрасно сложенная, причем особенностью ее сложения были узкие бедра, высокая талия, тонкости которой позавидовала бы любая кокетка, с тонкими, красивыми ногами, и только короткие, широкие пальцы на руках портили общую картину. Никакие румяна или белила не могли бы заменить нежности и красоты здорового, свежего румянца на ее щеках, придать бóльшей белизны ее коже. Соня не так щедро расточала улыбки, как Таня, но когда она улыбалась или заливалась беззвучным смехом, что, впрочем, бывало очень редко, и сквозь полуоткрытые губы сверкали ослепительно-белые, здоровые зубы, а глаза сияли радостью и весельем — она была очень привлекательна. Соня была такая же живая, как Таня, походка быстрая, легкая, но движения ее не были такими ловки-

ми, как у Тани. Соня была очень близорука и поэтому всегда казалась немного робкой и нерешительной. Очков тогда не носили — это портило бы лицо девушки, но она не щурилась, как это делают многие близорукие люди, наоборот, она широко раскрывала свои громадные, черные, чуть-чуть выпуклые вопрошающие глаза, придававшие особую прелесть выражению ее лица.

Т. А. Кузминская — Таня в своих воспоминаниях писала:

«Соня никогда не отдавалась полному веселью или счастью, чем баловала ее юная жизнь и первые годы замужества. Она как будто не доверяла счастью, не умела его взять и всецело пользоваться им. Ей всё казалось, что сейчас что-нибудь помешает ему или что-нибудь другое должно придти, чтобы счастье было полное. Эта черта ее характера осталась у нее на всю жизнь».[2])

«Отец знал в ней эту черту характера и говорил: «Бедная Сонечка никогда не будет вполне счастлива».[3])

Это же свойство неоправданной мечтательной грусти проскальзывает и в Сонином дневнике:

«Мне было так хорошо, так отрадно, так весело, — пишет она, и дальше, не объясняя почему, она вдруг впадает в грустное настроение. — Но недолго длилось всё это, теперь стало так тяжело жить на свете».[4])

В Лизе не было никакой сентиментальности, в Тане ее было мало, в Соне это чувство было очень сильно. Она умилялась над красивым цветочком, трогательной книгой, над самой собой и своими чувствами.

И Таня и Соня не представляли себе жизни без поэтического романа, Лиза относилась к вопросу здраво, рассудительно и ядовито подсмеивалась над сестрами.

Вся семья Берсов была очень практична. Образование для мальчиков, хорошие службы впереди, удачные замужества для трех дочерей — составляли мечты родителей.

Толстой в семье Берсов назывался "le Comte" и родители мечтали о том, что старшая, Лиза, которую пора было уже выдавать замуж, выйдет за этого, хотя и не очень молодого, но нашумевшего уже своими писаниями

человека из аристократической семьи. Партия была хорошая.

Толстой как-то сказал своей сестре Марии Николаевне:

«Машенька, семья Берс мне особенно симпатична и если бы я когда-нибудь женился, то только в их семье».[5])

Чем чаще ездил Толстой к Берсам, тем больше распускали свои языки гувернантки, бонны, тетушки, подружки, делая свои умозаключения. Ради кого мог так часто ездить в дом "le Comte"? Сомнения не было, конечно он приглядывался к старшей, самой разумной и рассудительной, Лизе. Постепенно окружающие внушили и самой Лизе эту мысль. Таня сразу подметила, что как только должен был появиться "le Comte", Лиза подолгу застаивалась перед зеркалом и вообще стала заниматься своей наружностью. Это было непохоже на Лизу и очень забавно, и Таня с любопытством продолжала свои наблюдения.

В дневнике своем от 22 сентября 1861 г. Толстой пишет: «Л(иза) Б(ерс) искушает меня; но этого не будет. Один расчет, а чувства нет».[6]) А в письме к А. А. Толстой от 10 февраля 1862 г. он писал: «Почти влюбился».[7]) Но он скоро понял, что чувство его не было настоящим и его тяготило создавшееся убеждение семьи, что он должен жениться на Лизе. «У Берсов свободнее, меня немного отпустили на волю», — пишет он в дневнике 20 мая 1862 г.[8])

В начале августа семья Берс — Любовь Александровна, три девушки и маленький Володя — предприняли большое путешествие в Тульскую губернию, к Толстым в Ясную Поляну и к родителям Любови Александровны — Исленьевым, в их имение Ивицы. Железной дороги между Москвой и Тулой тогда еще не было и Берсы наняли большую, так называемую Анненскую, карету для этой поездки.

В Ясной Поляне Любовь Александровну встретила ее друг Мария Николаевна, уже собиравшаяся выехать с детьми заграницу, тетенька Татьяна Александровна и сам гостеприимный хозяин Толстой. Можно себе пред-

ставить, какое оживление внесли Берсы в тихий, почти патриархальный уклад Ясной Поляны. Пошла суета. Надо было всех разместить, накормить, забегали слуги, затормошилась тетенька, но больше всех хлопотал сам хозяин. Устраивая всех на ночлег, он сам непривычными, большими руками с особой нежностью стелил постель Соне на длинном дедовском кресле, в комнате «под сводами». Он радовался, что всем было хорошо, что по дому раздавались веселые, молодые голоса, звуки рояля, пение. Ему хотелось показать Берсам свои любимые места в Ясной Поляне и окрестностях, заливные луга, перелески, дремучую Засеку с ее вековыми дубами. Здесь, в казенном лесу, на поляне, устроили пикник... Всё забавляло девушек Берс: и верховая езда, и прогулки, и охотничьи собаки, крутившиеся по усадьбе, и замечательная линейка «катки», как она называлась — специальное Яснополянское сооружение, необычайно длинный и тряский экипаж, на котором могло уместиться человек 12, спиной друг к другу, по шесть человек с каждой стороны — и зреющие на горячем августовском солнце яблоки и груши, и молодые учителя, неумело гарцующие на лошадях перед молодыми девушками...

Всё это было чудесно, как в сказке, и всем было весело, особенно Соне, которая невольно, женским тонким чутьем своим чувствовала, что она нравится и что "le Comte" уделяет ей всё больше и больше внимания. И то, чего не хотели замечать Любовь Александровна и сама Лиза, давно уже было подмечено востроглазой Таней: "le Comte" явно ухаживал за Соней.

Из Ясной Поляны Берсы поехали к Исленьевым, в имение Ивицы. Когда-то блестящий, красивый, с бурным прошлым старик, теперь тихо доживал свой век в деревне, со своей второй женой.

После отъезда Берсов Ясная Поляна опустела, Толстому стало скучно, чувство более сильное, чем желание быть с молодежью, потянуло его за ними. Не прошло и двух дней, как он верхом приехал в Ивицы. А здесь уже шел дым коромыслом. Из соседних имений понаехала молодежь, горевшая любопытством познакомиться с

московскими барышнями. Опять устраивались пикники, прогулки, по вечерам молодежь танцевала, старики играли в карты.

Толстой старался быть с Соней, Лиза ревновала, сердилась на Соню, жених, которого она так долго и усиленно завлекала в свои сети, отходил от нее всё дальше и дальше.

Уже вечер близился к концу и Любовь Александровна гнала своих дочерей спать, когда Толстой вдруг окликнул Соню. В гостиной старички только что кончили играть в карты и на зеленом сукне еще не были стерты цифры, написанные мелом. Толстой позвал Соню к одному из столов, очистил щеточкой карточные записи и стал писать начальные буквы слов, ожидая, что Соня поймет их значение.

Сцена эта записана в «Анне Карениной» и в дневнике Софьи Андреевны Толстой. Трудно сказать, какая запись более соответствует действительности. Несомненно одно: чувство невысказанной любви владело обоими, нервное напряжение, желание понять друг друга дошло до крайних пределов и когда Толстой, взявши мелок, начал писать лишь начальные буквы слов, Соня ловила всё слово. Иногда она останавливалась и Толстой подсказывал ей и писал дальше... Это было почти что объяснение в любви. «Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья»... «В вашей семье существует ложный взгляд на меня и вашу сестру Лизу. Защитите меня вы с вашей сестрой Танечкой»,[9]) — писал Толстой дальше, опять лишь начальными буквами. И когда Соня опять прочла и назревало объяснение, раздавшийся недовольный материнский голос, требовавший, чтобы Соня шла спать, нарушил его...

На обратном пути из Ивиц в Москву Берсы опять заехали ненадолго в Ясную Поляну и оттуда поехали в Москву. Толстой поехал с ними.

В Москве Толстой продолжал бывать у Берсов. Отношения с Лизой явно тяготили его: «Боже мой! Как бы

она была красиво несчастлива, ежели была бы моей женой», — писал он в дневнике от 8 сентября 1862 года. — Вечером она долго не давала мне нот. Во мне всё кипело». «Ее я начинаю ненавидеть вместе с жалостью», — писал он в дневнике от 10 сентября 1862 г.

Старик Берс сердился. По его понятиям, надо было выдавать дочерей по старшинству. Ничего не было хорошего в том, что Толстой стал явно ухаживать за второй дочерью Соней. Соня выскочит замуж, сделает хорошую партию, а старшая, глядишь, и засидится. Любовь Александровна страдала за Лизу, волновалась за Соню. Таня жалела Лизу, сочувствовала Соне, всё больше и больше привязывалась к le Comte'у, а Толстой терзался сомнениями, анализируя с обычной своей прямотой и честностью захватившее его чувство. «Ночевал у Берсов, — писал он в дневнике от 23 августа 1862 года. — Ребенок! Похоже! А путаница большая! О, коли бы выбраться на ясное и честное кресло! Я боюсь за себя; что ежели и это желание любви, а не любовь? Я стараюсь глядеть только на ее слабые стороны и всётаки оно. Ребенок! Похоже!».[10])

Его наружность, возраст — мучили его и, не переставая, терзал вопрос: любит ли она его? Узнав, что Соня писала дневник и повесть, Толстой стал просить, чтобы она дала ему прочитать свои писания. Она отказалась дать дневник, но дала повесть. Это было наивное описание жизни трех девушек Берс, их увлечений, описание романа между Соней и молодым Поливановым, а сам le Comte фигурировал в этой повести как князь Дублицкий «необычайно непривлекательной наружности».[11])

«Начал работать и не могу, — писал Толстой 9 сентября. — Вместо работы написал ей письмо, которое не пошлю. Уехать из Москвы не могу, не могу... До трех часов не спал. Как 16-ти летний мальчик мечтал и мучился».[12])

«Проснулся 10 сентября в 10 усталый от ночного волнения. Работал лениво и, как школьник ждет воскресенья, ждал вечера. Пошел ходить... и в Кремль. Ее не

было... приехала строгая и серьезная. И я ушел опять обезнадеженный, но влюбленный больше чем прежде. Au fond сидит надежда. Надо, необходимо надо разрубить этот узел. Господи! Помоги мне! Боже! научи меня! Опять бессонная и мучительная ночь, я чувствую, я, который смеюсь над страданиями влюбленных. Чему посмеешься, тому и послужишь. Сколько планов я делал сказать ей, Танечке, и всё напрасно... Господи, помоги мне, научи меня. Матерь Божья, помоги мне... Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить, — писал он в дневнике от 12 сентября 1862 года. — Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так продолжится. Был у них вечер. Она прелестна во всех отношениях. А я — отвратительный Дублицкий. Надо было прежде беречься. Теперь уже я не могу остановиться. Дублицкий — пускай, но я прекрасен любовью. Да. Завтра пойду к ним утром. Были минуты, но я не пользовался ими. Я робел, надо было просто сказать. Так и хочется сейчас идти назад и сказать всё и при всех. Господи, помоги мне».

Напряжение росло.

«Завтра пойду, как встану, и всё скажу или застрелюсь, — писал он 13-го сентября. — Четвертый час ночи. Я написал ей письмо и отдам завтра, т. е. нынче 14-го. Боже мой, как я боюсь умереть. Счастье, и такое, мне кажется невозможно. Боже мой! Помоги мне!»[13])

16 сентября Толстой, по обыкновению, был у Берсов — это была суббота. Приехал Саша Берс из кадетского корпуса, понаехала молодежь. Выбрав минутку, когда в комнате никого не было, Толстой передал Соне письмо: «Я хотел с вами поговорить, — начал он, — но не мог. Вот письмо, которое я уже несколько дней ношу в кармане. Прочтите его. Я буду здесь ждать вашего ответа», — сказал он ей.

Соня помчалась в комнату, где она жила со своими сестрами. Но Лиза, поняв, что что-то происходит особенное, побежала за ней. Она не дала Соне дочитать письма. «Что он тебе пишет, что?» — приставала она к сестре. «Le Comte сделал мне предложение, — ответила

Соня и побежала к матери. Лиза была вне себя. «Откажись, откажись», — кричала она ей вдогонку...

«Софья Андреевна, — писал Толстой, — мне становится невыносимо. Три недели я каждый день говорю: нынче всё скажу, и ухожу с той же тоской, раскаянием, страхом и счастьем в душе. И каждую ночь, как и теперь, я перебираю прошлое, мучаюсь и говорю: зачем я не сказал, и как, и что бы я сказал. Я беру с собой это письмо, чтобы отдать его вам, ежели опять мне нельзя или не достанет духу сказать вам всё. Ложный взгляд вашего семейства на меня состоит в том, как мне кажется, что я влюблен в вашу сестру Лизу. Это несправедливо. Повесть ваша засела у меня в голове, оттого что, прочтя ее, я убедился в том, что мне, Дублицкому, не пристало мечтать о счастье... что ваши отличные поэтические требования любви... что я не завидовал и не буду завидовать тому, кого вы полюбите. Мне казалось, что я могу радоваться на вас, как на детей. В Ивицах я писал: «Ваше присутствие слишком живо напоминает мне мою старость и невозможность счастья, и именно вы». Но и тогда и после я лгал перед собой. Еще тогда я мог бы оборвать всё и опять пойти в свой монастырь одинокого труда и увлечения делом. Теперь я ничего не могу, а чувствую, что напутал у вас в семействе; что простые, дорогие отношения с вами, как с другом, честным человеком, потеряны. И я не могу уехать и не смею остаться. Вы честный человек, руку на сердце, не торопясь, ради Бога, не торопясь, скажите, что мне делать? Чему посмеешься, тому поработаешь. Я бы помер со смеху, ежели бы месяц тому назад мне сказали, что можно мучаться так, как я мучаюсь, и счастливо мучаюсь это время. Скажите, как честный человек, хотите ли вы быть моей женой? Только ежели от всей души, смело вы можете сказать: «да», а то лучше скажите: «нет», ежели в вас есть тень сомнения в себе. Ради Бога, спросите себя хорошо. Мне страшно будет услыхать «нет», но я его предвижу и найду в себе силы снести. Но ежели никогда

мужем я не буду любимым так, как я люблю, — это будет ужасно!»[14])

Соня не думала ни одной минуты. Как ураган помчалась она в комнату матери, где ждал ее Толстой.

— Ну что? — спросил он.

— Разумеется, да, — ответила Соня.

Через неделю была свадьба. Любовь Александровна была в ужасе, когда Толстой решительно потребовал, чтобы свадьба не откладывалась ни на один день. «Приданое?» Какое это имело значение в глазах Толстого? Соня всегда была прекрасно одета, что еще нужно? Но всё же приданое поспешно шилось и сам Толстой старался добросовестно исполнять всё, что требовало от него положение жениха: возил подарки, заказывал фотографии, купил дормез для свадебного путешествия. Всё это он делал, потому что так полагалось, но другие мысли мучили его — его прошлая жизнь, его моральная загрязненность по сравнению с той кристально чистой девушкой, которую он избрал себе в жены. Что она знала о жизни? Подозревала ли она о его прошлых грехах, увлечениях? «Вы не любили?» спросила она както у него. А что если она, узнав правду, откажется от него? И он решил дать ей прочитать свои дневники. «Напрасно, — писала Соня в своем дневнике, — я очень плакала, заглянув в его прошлое».[15])

В день свадьбы, по принятому обычаю, жених не должен был видеть своей невесты. Каков же был ужас Любови Александровны, когда она, зайдя в комнату Сони, нашла там Толстого и горько плачущую Соню. Оказалось, что в последнюю минуту Толстой вдруг усумнился в Сониной любви и приехал объясняться: «Нашел когда ее расстраивать, — напала Любовь Александровна на Левочку. — Сегодня свадьба, ей и так тяжело, да еще в дорогу надо ехать, а она вся в слезах». И она прогнала его.

Свадьба была назначена в семь часов вечера. Соня, в подвенечном платье, сидела и ждала шафера жениха,

который должен был приехать за невестой и объявить, что жених в церкви. Но пробило семь часов, никто не приезжал. Прошло еще полчаса, час... Соня, под впечатлением тяжелого разговора, происшедшего утром между ней и женихом, волновалась, мучалась сомнениями... В восемь тридцать приехал Алексей — лакей Толстого. Оказалось, что слуги уложили все графские рубашки и жениху нечего было надеть.

Но вот, наконец, шафер приехал, Соню в облаках тюлевого венчального платья усадили в карету вместе с тетушкой Пелагеей Ильиничной и маленьким братом Володей — мальчиком с образом — и повезли в дворцовую церковь.

Понаехало множество гостей, церковь была битком набита, но свадьба была невеселая. Соня растерялась и заробела. Лиза избегала жениха и невесту и явно страдала, Любовь Александровна едва сдерживала слезы, неожиданно приехал отверженный молодой, красивый, в гвардейском мундире Поливанов, которому Саша Берс объявил грустную новость о сонином замужестве. Плакал маленький Петя, плакали старые слуги, и горько разливалась в слезах Таня, понявшая какое одиночество ждет ее после отъезда сестры...

После венчания, приняв поздравления, молодые переоделись. Соня казалась худенькой и бледной в своем темно-синем дорожном платье. К крыльцу подкатил новый дормез, запряженный шестеркой лошадей, верный слуга Алексей вскочил на запятки и молодые уехали.

Они ехали меньше суток. В Ясной Поляне их торжественно встретила тетенька Татьяна Александровна, с образом Знамения Божьей Матери, и Сергей Толстой, с хлебом и солью. Молодые молча поклонились им в ноги, перекрестились, поцеловали образ и нежно расцеловались с тетенькой.

С этого дня всё переменилось для Толстого, всё приобрело иной смысл, иное значение — рядом с ним была любимая и любящая жена. Он уже был н е о д и н!

[1]) Кузминская, Т. А. «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», стр. 73.
[2]) Там же, стр. 44. (Изд. Polyglotte), Берлин, 1928.
[3]) Там же, стр. 44. (Изд. Polyglotte), Берлин, 1928.
[4]) Дневники С. А. Толстой. Изд. Сабашниковых, Москва, стр. 7.
[5]) Кузминская, Т. А. «Моя жизнь дома...», стр. 78.
[6]) Гусев, Н. Н. «Жизнь Л. Н. Толстого», т. 1, стр. 421.
[7]) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. № 39, стр. 159.
[8]) Гусев, Н. Н. «Жизнь...», т. 1, стр. 421.
[9]) Дневники С. А. Толстой, стр. 15.
[10]) Гусев, Н .Н. «Жизнь...», т. 1, стр. 424.
[11]) Дневники С. А. Толстой, стр. 19.
[12]) Гусев, Н. Н. «Жизнь...», стр. 427, т. 1.
[13]) Там же, стр. 427, т. 1.
[14]) Дневники С. А. Толстой, стр. 22-23.
[15]) Там же — стр. 24.

ГЛАВА XXVI

«ЖЕНАТ И СЧАСТЛИВ»

Многое писалось об отношениях Толстого с женой. Некоторые авторы невольно защищали ту или иную сторону, обвиняя либо Толстого, либо его жену в той драме, которой завершилась их совместная, сорокавосьмилетняя жизнь. Думаю, что писать беспристрастно об этом вопросе — задача невыполнимая, и, бросая это обвинение многочисленным авторам, писавшим о Толстом, я не думаю исключать себя из их числа. Я вполне сознаю, что в своей книге «Трагедия Толстого» я сделала ту же ошибку, недостаточно вдумавшись в глубину и сложность создавшихся отношений между моими родителями. Я резко встала на сторону отца, обвиняя мать. Но я надеюсь, что теперь, дожив до старости и поняв многое, что раньше, по молодости лет, было мне недоступно, я смогу подойти к этому сложному вопросу более беспристрастно, попытаться, насколько возможно, проникнуть в тайны психологических тонкостей этих двух сложных, сильных и цельных характеров. С одной стороны, мне это легче сделать, чем посторонним людям. Вспыльчивость, излишняя уступчивость отца, страстность обоих родителей, резкость матери, граничащая иногда с бестактностью, ее живость, поверхностность в решении тех или иных глубоких вопросов — все эти свойства перемешались, воплотились в моем существе. С другой стороны, дочери тяжело писать об интимной жизни своих родителей, писать не только об их достоинствах, но и об их недостатках.

Я постараюсь в этой книге дать беспристрастное описание действующих лиц, их жизни, психологии, без собственной оценки. Личность автора, его суждения должны, по возможности, отсутствовать. Насколько эта чрез-

вычайно трудная, почти невыполнимая задача мне удастся — не знаю!

Соня не знала жизни. Она выросла в спокойной семейной кремлевской обстановке, поэтизируя, мысленно играя, как недавно еще она играла в куклы, в будущую свою семейную жизнь, в роман с «ним», с своим будущим мужем — молодым, красивым, поэтичным. То, что случилось, было неожиданно, молниеносно, совсем не то, о чем она мечтала. Вихрем ворвался в ее жизнь этот не молодой уже, не совсем понятный, могучий человек, опалил ее своей безудержной страстью, перенес ее к себе в чуждый ей, незнакомый мир. Всё было совсем, совсем другое. И старенькая тетенька со своими приживалками, любопытными, жадными глазами рассматривавшими и оценивавшими молодую графиню, и новые служащие, к которым надо было привыкнуть и которых надо было приучить к себе, и грубые деревенские бабы и мужики, и чуждые учителя, и тишина, и вязкая грязь во дворах и на дорогах — всё было дико и непривычно.

На другой день после приезда, по старинному обычаю, деревенские бабы пришли величать молодых. Громкое, веселое пение слышно было еще издали с деревни. Ближе, ближе толпа по пришпекту подходила к дому. Впереди толпы, разряженной в яркие сарафаны, в расшитые рубахи, в клетчатые, отороченные золотыми, красными и зелеными лентами паневы, шли две бабы, держа в руках разукрашенных яркими лентами петуха и курицу.

Молодые вышли на крыльцо. Соня смущенно, своими близорукими глазами, разглядывала яркую толпу. Бабы пели, хлопая в ладоши приплясывали и всячески выражали свой восторг. «Вот так граф! Какую красавицу молодайку подхватил себе в Москве!» Своими простыми, грубоватыми замечаниями они смущали, вгоняли в краску молодую графиню, не знавшую что делать с трепыхавшими в ее руках пестрыми птицами.

С первых же дней Соня изо всех сил старалась приспособиться к новой жизни. Как ребенок, она забавля-

лась разборкой своих вещей, устройством уютной комнаты, важно сидела за пузатым самоваром, разливая чай, как большая, и с гордостью подписывала свои письма «гр.(афиня) С. Толстая».[1])

«Она нынче в чепце с малиновыми бантами, ничего! — приписывает Толстой к письму Тане Берс. — И так она утром играла в большую барыню — похожа и отлично».

Он был влюблен как 17-ти летний юноша. «Неимоверное счастье! — писал он в дневнике от сентября 25-го 1862 г. — Не может быть, чтобы это кончилось только жизнью!»

«Любезный, дорогой друг и бабушка! — писал он 28 сентября 1862 года Александрин Толстой. — Пишу из деревни, пишу и слышу наверху голос жены, которая говорит с братом и которую я люблю больше всего на свете. Когда буду спокоен, напишу вам длинное письмо — не то что спокойное, — я теперь спокоен и ясен, как никогда не был в жизни, — но когда буду привычнее».[2])

Перемена в жизни его была так огромна, что он никак не мог опомниться. «Фетушка, дяденька, и просто милый друг Афанасий Афанасьевич, — писал он Фету 9-го октября 1862 г. — я две недели женат и счастлив, и новый, совсем новый человек. Хотел я сам быть у вас, но не удается. Когда я вас увижу? Опомнившись, я дорожу вами очень и очень. Заезжайте познакомиться со мной».[3])

Но безоблачного счастья не бывает. Стали набегать тучки, вспыхивали недоразумения, ссоры. Соня была слишком молода, чтобы понять своего мужа таким, каков он был: широким и бурным, как море, страстным грешником с порывами святого; беззубого и старого, но веселого и беззаботного, как ребенок, иногда до примитивности простого и наивного и столь многосложного, что и сам он терялся и путался в своих глубинах.

«Всегда, с давних пор, — писала она в дневнике, — я мечтала о человеке, которого я буду любить, как о совершенно целом, новом, ч и с т о м человеке. Я вооб-

ражала себе, это были детские мечты, с которыми до сих пор трудно расстаться, что этот человек будет всегда у меня на глазах, что я буду знать малейшую его мысль, чувство... Всё его (мужа) прошедшее так ужасно для меня, что я, кажется, никогда не помирюсь с ним...» «Он не понимает, что его прошедшее — целая жизнь с тысячами разных чувств хороших и дурных, которые мне уже принадлежать не могут, точно так же, как не будет мне принадлежать его молодость, потраченная Бог знает на кого и на что. И не понимает он еще того, что я ему отдаю всё, что во мне ничего не потрачено, что ему не принадлежало только детство».[4])

Ссоры вспыхивали, но в основном не нарушали его счастья. В безумном увлечении своем он не чувствовал того, что она чутким женским инстинктом уже начала понимать. «Я вижу, — пишет она в дневнике от 9-го октября 1862 г., — это правда, что я ему даю мало счастья. Я вся как-то сплю, и не могу проснуться. Если бы проснулась, я стала бы другим человеком. А что надо для этого — не знаю. Тогда бы он видел, как я люблю его, тогда я могла бы говорить, рассказывать ему, как я его люблю, увидела бы, как бывало, ясно, что у него на душе, и знала бы, как сделать его совсем счастливым. Надо, надо скорее проснуться».[5])

Тоской, горечью, душевной неудовлетворенностью и детской беспомощностью проникнуты Сонины дневники. И это две, три недели после свадьбы! «Не хочу попадать в общую колею и скучать, — пишет она в дневнике 13-го ноября, — да и не попаду. Я бы хотела, чтобы муж имел на меня больше влияния. Странно, я его ужасно люблю, а влияния еще чувствую мало».

«Качаюсь между прожитым и настоящим и будущим, — пишет она в дневнике от того же числа (ноября 13). — Муж меня слишком любит, чтобы уметь дать направление, да и трудно, сама выработаюсь»...[6])

Разная среда вскормила их. Она была городская, он, муж, не то что любил, но он был частью деревенской жизни, без которой он, по самой сути своего существа, не мог жить и быть счастливым.

«Он мне гадок со своим народом, — пишет Соня в дневнике от 23-го ноября. — Я чувствую, что или я, т. е. я, пока представительница семьи, или народ с горячей любовью к нему Л. Это эгоизм. Пускай. Я для него живу, им живу, хочу того же, а то мне тесно и душно здесь, и я сегодня убежала, потому что мне все и всё гадко. И тетенька, и студенты, и Н. П.*), и стены и жизнь, и я чуть не хохотала от радости, когда убежала одна тихонько из дома. Л. мне не гадок, но я вдруг почувствовала, что он и я по разным сторонам, что его народ не может меня занимать всю, как его, а что его не может занимать всего я, как занимает меня он. Очень просто. А если я его не занимаю, если я кукла, если я только жена, а не человек, так я и жить так не могу и не хочу».[7])

Соня охотно и весело помогала мужу в некоторых понятных и доступных ей областях хозяйства.

Толстой в то время был страстно увлечен улучшением хозяйства Ясной Поляны: то в перелеске за речкой Воронкой устраивал пасеку, где старый, бородатый, белый, как лунь, старик ухаживал за пчелами, то целые поля засаживал деревьями, то разводил яблоневый сад, покупал овец, мечтал завести каких-то необычайных японских свиней и писал своему тестю, «что не может быть счастлив, если не купят ему японских поросят».[8])

Управляющего не было и он сам распоряжался рабочими и Соня была его ближайшим помощником. Повесив на пояс связку ключей, она с важным, значительным видом выдавала провизию из кладовых и амбаров, одно время проверяла удой коров, хлопотала по дому.

Старания ее трогали его и он любовался ею. Как умел, он старался развлекать ее. В тихие морозные дни или вечера он катал ее в санях на тройке и радовался, когда она, укутавшись в меховую шубку и баранью полость, раскрасневшись наслаждалась, как ребенок, и его любовью, и красотой природы и быстротой езды. Но развлечений было мало. Она скучала по родным, по

---

*) Наталья Петровна Охотницкая, приживалка при тетеньке Татьяне Александровне.

молодежи и по городу. Народ — мужики, бабы, грубые существа созданы, по ее понятиям, только для того, чтобы работать на господ, учителя раздражали ее не совсем чистыми ногтями и тем, что ели с ножа, тетенькины приживалки надоедали ей, а он, муж, то и дело отвлекающийся от нее своими чуждыми интересами, был непонятен и труден.

«Страшно с ним жить, — пишет она в дневнике от того же числа, — вдруг народ полюбит опять, а я пропала, потому и меня любит, как любил школу, природу, народ, может быть, литературу свою, всего понемногу... А тут все тетенька, Н. П., опять тетенька, опять Н. П., студенты вперемежку. Муж не мой и немой сегодня».[9])

Ко всему этому, как на грех, случилась беда. По обыкновению, бабы с деревни пришли на барский двор мыть полы. Одной из них была Аксинья Базыкина...

«Мне кажется, я когда-нибудь себя хвачу от ревности, — записывает Соня в дневнике от 16-го декабря 62 года, и дальше с чувством горькой иронии приводит слова своего мужа из его дневника: «Влюблен, как никогда!» И просто баба, толстая, белая, ужасно... И она тут в нескольких шагах. Я просто как сумасшедшая... Могу ее сейчас увидеть. Так вот как он любил ее. Хоть бы сжечь журнал его и всё его прошедшее»...[10])

Сцена ревности — примирение, страстные объяснения в любви...

Временами ей казалось, что она свыкается со своей жизнью. «Я понемногу мирюсь со всеми. И студентами и народом, и тетенькой, — конечно, и всем, что прежде бранила. Сильно влияние Лёвы и радостно мне чувствовать его над собой».[11])

Порою он тосковал без художественной работы, он чувствовал, что он слишком погрязал в семейной жизни, в хозяйстве, школьное дело начинало тяготить его. «По правде сказать, — писал он Лизе, — журнальчик мой начинает тяготить меня, особенно необходимые условия его: студенты, корректуры, etc. etc., а так и тянет теперь к свободной работе de longue haleine — роман или т. п.»[12])

И 1-го октября (62 г.) он записывает в дневнике: «с студентами и народом распростился».[13])

Октября 15-го он снова подтверждает это решение: «Журнал решил кончить, школы — тоже, кажется»...[14])

Цензурное разрешение о напечатании журнала № 9 «Ясная Поляна», полученное 5-го ноября, со статьей «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят», которой он был так увлечен, уже мало волновало его. Интересы школы отошли на задний план.

Октября 15-го он записывает: «Всё это время я занимаюсь теми делами, которые называются практическими только. Но мне становится тяжела эта праздность. Я себя не могу уважать».[15])

Несмотря на шероховатости семейной жизни, он был счастлив и, что самое главное, женитьба успокоила его.

«Куда это идет? — писал он Александрин Толстой. — Не знаю, только с каждым днем мне спокойнее и лучше... я отрекся от всего прошедшего, как никогда не отрекался, чувствую свою мерзость всякую секунду, примериваюсь к ней, к Соне, «но строк печальных не смываю»... Так страшно, ответственно жить вдвоем... Ужасно страшно мне жить теперь, как чувствуешь жизнь, чувствуешь, что всякая секунда жизни вправду, а не такая как прежде была — так покаместь».[16])

А в дневнике от 5-го января 1863 г. он записывает:

«Часто мне приходит в голову, что счастье и все особенные черты его уходят, а никто его не знает и не будет знать, а такого не было и не будет ни у кого, и я сознаю его... Люблю я ее, когда ночью или утром я проснусь и вижу: она смотрит на меня и любит. И никто, — главное, я не мешаю ей любить, как она знает, по-своему. Люблю я, когда она сидит близко ко мне, и мы знаем, что любим друг друга, как можем, и она скажет: «Левочка, — и остановится, — отчего трубы в камине проведены прямо?» или: «лошади не умирают долго?» и т. п. Люблю, когда мы долго одни и я говорю: «Что нам делать? Соня, что нам делать?» Она смеется. Люблю, когда она сердится на меня, и вдруг, в мгновение ока у нее и мысль и

слово иногда резкое: «оставь, скучно». Через минуту она уже робко улыбается мне. Люблю я, когда она меня не видит и не знает, и я ее люблю по-своему. Люблю, когда она девочка в желтом платье и выставит нижнюю челюсть и язык. Люблю, когда я вижу ее голову, закинутую назад, и серьезное, и испуганное, и детское, и страстное лицо. Люблю когда...»[17])

Оба они ревновали друг друга до безумия. Он ревновал ее ко всякому мужчине, с которым она разговаривала, ко всем, кто смел восхищаться ею; она же не в силах была простить ему его прошлое, горько упрекала его за прошлые увлечения, ревновала его ко всякой молодой женщине, с которой он встречался, даже к собственной сестре Тане.

Иногда он не выдерживал и раздражался: «Мы в Москве, — писал он в дневнике от 27 декабря 1862 г. — Как всегда я отдал дань нездоровым и дурным расположениям. Я очень был недоволен ею, сравнивал ее с другими, чуть не раскаивался, но знал, что это временно и выжидал, и прошло».[18])

Несколько дней спустя он записывает: «Соня трогает боязнью... Я всегда буду ее любить».[19])

Но «приливы и отливы», как Толстой называл эти перемежающиеся настроения, в основном не нарушали их счастья, не мешали им прочно любить друг друга.

Оба они были до глубины честные люди, оба смотрели на брак, как на нечто святое, нерушимое, приходили в отчаяние от ссор и радовались, когда каждый по-своему справлялся с трудностями своих характеров и наступал мир.

Но было одно основное различие в их отношениях. Толстой считал, что он старый, искушенный в прошлых падениях великий грешник, недостойный ее и это мучило его. Соня не могла отрешиться от мысли, что она принесла себя в жертву человеку старше ее, с нечистым прошлым, и мысли эти терзали ее.

В дневнике от 23 января Толстой писал: «всё страх, что она молода и многого не понимает и не любит меня,

и что многое в себе она задушает для меня и все эти жертвы инстинктивно заносит мне на счет».[20])

Сплошь да рядом в дневнике появляются подобные записи: «Я все больше и больше люблю. Нынче седьмой месяц и я испытываю давно не испытанное сначала чувство уничтожения перед ней. Она так невозможно чиста, хороша и цельна для меня».[21])

Уже будучи матерью, Соня была еще настоящим ребенком. «Зажгла две свечи, села за стол, и мне стало весело. Я малодушна, пуста. Мне нынче беспечно, лениво и весело. Мне все смешно и все нипочем, — писала она в дневнике от 19-го декабря 1863 г. — Меня злит, что Лёва мало занимается и даже совсем не чувствует и не понимает, что я его так люблю; и за это мне хотелось бы ему что-нибудь сделать. Он стар и слишком сосредоточен. А я нынче так чувствую свою молодость, и так мне нужно чего нибудь сумасшедшего. Вместо того, чтобы ложиться спать, мне хотелось бы кувыркаться. А с кем?»[22])

Первый сын Толстого родился 27 июня 1863 года и назвали его Сергеем.

Событие это оставило громадный след в душе Толстого и, как всегда, нашло отражение много лет спустя в его романе «Анна Каренина», когда Левину показали «это странное, качающееся и прячущее свою голову за края пеленки красное существо». Его поразило, что «были тоже нос, косившиеся глаза и чмокавшие губы... Этот прекрасный ребенок внушал ему только чувство гадливости и жалости. Это было совсем не то чувство, которого он ожидал. И вдруг, личико старческое... еще более сморщилось, и ребенок чихнул».

«То, что он испытывал к этому существу, было совсем не то, чего он ожидал, — пишет дальше Толстой. — Ничего веселого и радостного не было в этом чувстве; напротив, это был новый, мучительный страх. Это было сознание новой области уязвимости. И это сознание было так мучительно первое время, страх за то, чтобы не пострадало это беспомощное существо, был так силен, что из-за него и незаметно было странное чувство бес-

смысленной радости и даже гордости, которое он испытывал, когда ребенок чихнул».[23])

Успокоившись, Толстой постепенно возвращался к литературному творчеству: заканчивал «Казаков», писал «Поликушку», пытался писать рассказ из крестьянской жизни — идиллию — «Тихон и Маланья», писал историю пегого мерина «Холстомера», в которой он переносит нас, со свойственной ему художественной силой, в психологию лошади и заставляет нас переживать вместе с ним горести этого мерина.

Успех «Казаков» вдохновил Толстого. Особенно порадовал его отзыв Фета, который писал: «Сколько раз я вас обнимал заочно при чтении «Казаков». «Казаки» в своем роде chef d'œuvre.»[24])

«Казаки» вызвали целый ряд критических статей. Все критики в один голос отмечали выдающиеся художественные достоинства повести, и почти все осуждали автора за его страстный протест против цивилизации. «Перед вами поэма, — писала Евгения Тур, — где воспеты не с дюжинным, а с действительным талантом отвага, удаль, жажда крови и добычи, охота за людьми, бессердечность и беспощадность дикаря-зверя. Рядом с этим дикарем-зверем унижен, умален, изломан, изнасилован представитель цивилизованного общества... Автор силится доказать, что дикие велики и счастливы, образованные — низки, мелки и несчастливы».[25])

Тургенев также выражал свое восхищение повестью «Казаки»: «Перечел я роман Л. Н. Толстого «Казаки» и опять пришел в восторг. Это вещь поистине удивительная и силы чрезмерной» писал он Борисову 5-го июня 1864 г.[26])

А Толстой между тем писал Фету: «Я живу в мире столь далеком от литературы и критики, что получая такое письмо как ваше, первое чувство мое было удивление. Да кто же такой написал «Казаков» и «Поликушку»? Да и что рассуждать о них? Бумага всё терпит, а редактор за все платит и печатает. Но это первое впечатление; а потом вникаешь в смысл речей, покопаешься в голове и найдешь так где-нибудь в углу, между старым

забытым хламом, найдешь что-то такое неопределенное, под заглавием художественное... даже с удовольствием начнешь копаться в этом хламе и в этом когда-то любимом запахе. И даже писать захочется. Теперь я пишу историю пегого мерина; к осени я думаю напечатаю».[27])

«Неопределенное» приобретало всё более и более реальные формы. Осенью 63 года он писал другу своему Александрин Толстой: «Вы узна́ете мой почерк и мою подпись; но кто я теперь и что я, вы, верно, спро́сите себя. Я муж и отец, довольный вполне своим положением и привыкнувший к нему так, что для того, чтобы почувствовать свое счастие, мне надо подумать о том, что бы было без него. Я не копаюсь в своем положении (grübeln оставлено) и в своих чувствах, и только чувствую, а не думаю в своих семейных отношениях. Это состояние дает мне ужасно много умственного простора. Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и столько способными к работе. И работа есть у меня. Работа эта роман из времени 1810 и 20-х годов, который занимает меня вполне с осени. Доказывает ли это слабость характеров или силу — я иногда думаю: и то и другое, — но я должен признаться, что взгляд мой на жизнь, на народ и на общество теперь совсем другой, чем тот, который у меня был в последний раз как мы с вами виделись. Их можно жалеть, но любить мне трудно понять, как я мог так сильно. Всё-таки я рад, что прошел через эту школу; эта последняя любовница меня очень формировала. — Детей и педагогику я люблю, но мне трудно понять себя таким, каким я был год тому назад. Дети ходят ко мне по вечерам и приносят с собой для меня воспоминания о том учителе, который был во мне и которого уже не будет. Я теперь писатель всеми силами своей души, и пишу и обдумываю, как я еще никогда не писал и не обдумывал».[28])

---

[1]) Из личных рассказов С. А. Толстой и по воспоминаниям А. Л. Толстой.

[2]) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. № 47, 28 сент. 1862, стр. 178.

[3]) Фет, А. А. «Мои воспоминания», т. 1, стр. 405.
[4]) Дневники С. А. Толстой, запись 8 окт. 1862 г. стр. 51.
[5]) Там же, запись 9 окт. 1862 г., стр. 54.
[6]) Там же, запись 13 ноября 1862 г., стр. 56.
[7]) Там же, запись 23 нояб. 1862 г., стр. 57.
[8]) Кузминская, Т. А. «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», т. 2, стр. 55.
[9]) Дневники С. А. Толстой, запись 23 ноября 1862 г., стр. 58.
[10]) Там же, запись 16 дек. 1862 г., стр. 58.
[11]) Там же, запись 3 марта 1863 г., стр. 65.
[12]) Кузминская, Т. А. «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», т. 1, стр. 157.
[13]) Дневник Л. Н. Толстого, 1 октября 1862 г., Гусев, Н. Н., Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, стр. 149.
[14]) Там же, 15 окт. 1862 г., стр. 149.
[15]) Там же, 15 окт. 1862 г., стр. 149.
[16]) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой, № 48, 5 окт. 1862, стр. 180.
[17]) Жданов. «Любовь в жизни Толстого», стр. 64.
[18]) Дневник Л. Н. Толстого, 27 дек. 1862 г., Гусев, Н. Н. «Жизнь Л. Н. Толстого», т. 2, стр. 9.
[19]) Там же, 30 дек. 1862 г.
[20]) Там же, 23 янв. 1863 г.
[21]) Там же, 24 марта 1863 г.
[22]) Дневник С. А. Толстой, 19 дек. 1863 г.
[23]) Анна Каренина, т. 2, стр. 240. Полн. собр. соч. Изд. 1913 г.
[24]) Письмо Фета 4 апр. 1863 г. Гусев, Н. Н. «Жизнь Л. Н. Толстого», т. 2, стр. 14.
[25]) Тур, Евгения, «Казаки», гр. Л. Н. Толстого. Отечеств. Записки, 1863, 6. Перепеч. у Зелинского, В. А. «Русская критическая литература о произведениях Л. Н. Толстого», Москва, 1900-03.
[26]) Письмо Тургенева Борисову, 5 июня 1864 г. Щукинский Сборник, т. 8, стр. 364. Тоже Гусев, Н. Н. «Жизнь Л. Н. Толстого», т. 2, стр. 14.
[27]) Фет, А. А. «Мои воспоминания», стр. 418, т. 1.
[28]) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой, № 52, осень 1863 г. стр. 191.

ГЛАВА XXVII

КАК РОДИЛАСЬ «ВОЙНА И МИР»

В 1918 году, в самый разгар революции, я приняла деятельное участие в создании Общества изучения творений Л. Н. Толстого. В Общество вошли известные историки литературы и ученые того времени: А. Ф. Кони, Н. К. Пиксанов, А. Е. Грузинский, А. А. Шахматов, В. И. Срезневский, М. А. Цявловский и другие. Всеми этими учеными, при содействии некоторых толстовцев и моего брата Сергея, была произведена большая научная работа по разработке 12 ящиков рукописей Толстого, приведению их в порядок, фотографированию, переписке и подготовке первого полного юбилейного собрания сочинений Толстого, издание которого впоследствии и было предпринято Государственным издательством Советского Союза. Предполагалось, что издание это, включающее в себя все письма и дневники Толстого, составит около 82 томов и будет выпущено в 1928 году, к 100 летнему юбилею со дня рождения Толстого. Однако, прошло с тех пор уже более 24 лет, а Государственное издательство до настоящего времени выпустило лишь 41 том этого исключительного по своей ценности издания, которое действительно является капитальным трудом в смысле исследования творчества Толстого лучшими русскими учеными в области русской литературы.

12 ящиков, хранящихся в Московском Румянцевском Музее, были разобраны Обществом изучения творений Л. Н. Толстого, среди них были рукописи «Войны и Мира».

Моя мать всю жизнь бережно хранила черновые записи Льва Николаевича и никогда не выбрасывала ни одной бумажки, написанной его рукой. Рукописи «Войны и Мира» складывались в одну из нежилых ком-

нат в Яснополянском доме и многие годы никто их не трогал. Но случилось так, что когда старший сын Сергей подрос, ему понадобилась эта комната и, очищая ее от всякого хлама, он не заметил, что в числе других ненужных бумаг, он выкинул в канаву рукописи «Войны и Мира». К счастью, моя мать это заметила и спасла их. Со временем она заказала 12 деревянных ящиков, в которые, без особого порядка, сложила все Толстовские рукописи и отдала их на хранение в Румянцевский Музей в Москве.

Рукописи «Войны и Мира» мало пострадали в канаве. Все они были разобраны, напечатаны и по ним мы можем судить о той грандиозной работе, которую Толстой проделал над своим романом.

Участвуя в разборке рукописей отца, что было делом нелегким, так как отец писал неразборчиво и вносил невероятное количество поправок, зачеркивал, вставлял между строк, на полях, на обороте листов — мне удалось до известной степени проследить и самый процесс его творчества, который всемерно подтверждается проф. А. Е. Грузинским, работавшим над редакцией «Войны и Мира».[1])

В самой первой стадии творчества — Толстой обдумывает. Рождаются смутные образы, замыслы, он ищет, нащупывает, обрисовывает, стирает, добавляет новые штрихи. Образы еще расплывчаты, неясны, они еще под вопросом. Постепенно Толстой познает их и они начинают жить, думать, чувствовать, действовать, грешить и Толстой уже владеет ими, любит их. В письме к Александре Андреевне Толстой, в январе 1865 года, Толстой пишет: «На днях выйдет 1-ая половина 1-ой части романа 1805 год. Скажите мне свое чистосердечное мнение. Я бы хотел, чтобы вы полюбили моих этих детей; там есть славные люди, я их очень люблю».[2])

Некоторые первоначальные наброски Толстого так слабы с литературной точки зрения, что вы иногда сомневаетесь, что они принадлежат его перу. Но Толстому это безразлично. Небрежно, не заботясь о стиле, он набрасывает события, сцены, обрисовывает не-

сколькими фразами характеры своих героев, он торопится, боится забыть мысли, тонкие, едва уловимые, ему одному понятные штрихи. Так, например, в дневнике от 16 сентября 1864 г. есть такая запись: «К роману. 1) любит мучить того, кого любит — все теребит. 2) Отец с сыном ненавидят друг друга. В глазах неловко».[3])

К чему это относится? Может быть, к отношениям старика Болконского к дочери и сыну?

Но есть варианты превосходные, вы читаете их, захлебываясь от эстетического наслаждения, вы спрашиваете себя, зачем он их выпустил, но вдумавшись, понимаете, что места в романе им нет.

История декабристов всегда занимала Толстого. Его интересовали и увлекали жертвенность и самоотвержение жен, последовавших за своими мужьями в ссылку, психология вернувшихся из Сибири декабристов, отвыкших от суеты светской жизни. Начавши писать историю 1825 года и написав три главы, он бросил и решил писать роман, начав его с 1805 года.

«В 1856 г. я начал писать повесть с известным направлением и героем, который должен был быть декабрист, возвращающийся с семейством в Россию, — писал Толстой в одном из черновых предисловий к «Войне и Миру». — Невольно от настоящего я перешел к 1825 г. — эпохе несчастий и заблуждений моего героя — и оставил начатое. Но и в 1825 г. герой мой был уже возмужалым семейным человеком. Чтобы понять его, мне нужно было перенестись к его молодости, и молодость его совпадала с славной для России эпохой 1812 г. Я в другой раз бросил начатое и стал писать со времени 1812 г., которого еще запах и звук слышны и милы нам, но которое теперь уже настолько отдалено от нас, что мы можем думать о нем спокойно. Но и в третий раз я оставил начатое, но уже не потому, что мне нужно было описывать первую молодость моего героя, напротив, между теми полуисторическими, полуобщественными, полувымышленными великими характерными лицами великой

эпохи, личность моего героя отступила на задний план и на первый план стали с равным интересом для меня и молодые и старые люди, и мужчины и женщины того времени. В третий раз я вернулся назад по чувству, которое, может быть, покажется странным большинству читателей, но которое, надеюсь, поймут именно те, мнением которых я дорожу: я делал это по чувству, похожему на застенчивость, и которое я не могу определить одним словом. Мне совестно было писать о нашем торжестве в борьбе с Бонапартовской Францией, не описав наших неудач и нашего срама. Кто не испытывал того скрытого неприятного чувства застенчивости и недоверия при чтении патриотических сочинений о 12-м годе? Ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху неудач и поражений.

Итак от 1856 г., возвратившись к 1805 г., я с этого времени намерен провести уже не одного, а многих моих героинь и героев, через исторические события 1805, 1807, 1812, 1825 и 1856 гг. Развязки отношений этих лиц я не предвижу ни в одной из этих эпох. Сколько я ни пытался сначала придумать романическую завязку, я убедился, что это не в моих средствах, и решил в описании этих лиц отдаться своим привычкам и силам. Я старался только, чтобы каждая часть сочинения имела независимый интерес».

«Я бесчисленное количество раз начинал и бросал писать ту историю из 12 года, которая всё яснее и яснее становится для меня и которая всё настоятельнее просилась в ясных и определенных образах на бумагу, — писал Толстой в одном из своих черновых набросков предисловия к «Войне и Миру». — Я знал, — писал он дальше, — что никто никогда не скажет того, что я имел сказать, не потому что то, что я имел сказать, было очень важно для человечества, но потому что известные стороны жизни, ничтожные для других, по *особенности своего развития и характера* (курсив

мой), (особенности, свойственной каждой личности) считал важным.

Больше всего меня стесняют предания — как по форме, так и по содержанию. Я боялся писать не тем языком, которым пишут все, боялся, что мое писание не подойдет ни под какую форму — ни романа, ни повести, ни поэмы, ни истории; я боялся, что необходимость описывать лиц 12 года заставит меня руководиться историческими документами, а не истиной, и от всех этих боязней время проходило, и дело мое не двигалось, и я начинал остывать к нему. Теперь, помучившись долгое время, я решил откинуть все эти боязни и писать только то, что мне необходимо высказать, не заботясь о том, что выйдет от всего этого и не давая моему труду никакого наименования».[4])

Кузминская пишет в своих воспоминаниях, как «по вечерам Лев Николаевич приходил в комнату тетеньки и делал там пасьянсы, загадывая вслух:

— Если этот пасьянс выйдет, то надо изменить начало.

Или:

— Если этот пасьянс выйдет, то надо назвать ее... — но имени не говорил...[5])

В семье Берс были взволнованы идеей Толстого писать роман из времен 12-го года. «Вчера вечером, — пишет Андрей Евстафьевич Берс (5-го сентября 63 года) — мы много говорили о 1812 годе по случаю намерения твоего написать роман, относящийся к этой эпохе».[6]) И, желая поощрить зятя, Андрей Евстафьевич начинает собирать материалы по 12 году, достает ему книги, подлинные письма М. А. Волковой к В. И. Ланской 1812-14 годов.

18 сентября 1863 г. он пишет Толстому:

... «Так-то бывало, отец мой начнет нам рассказывать об 1812 годе; действительно, это была замечательная и интересная эпоха; ты избрал для романа твоего высокий сюжет, дай Бог тебе успеха».[7])

Фету 17 ноября 1864 г. Толстой пишет: «Вы не можете себе представить, как мне трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на ко-

тором я принужден сеять. Обдумать и передумать всё, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, очень большого, и обдумать миллионы возможных сочетаний для того, чтобы выбрать из них 1/1000000, ужасно трудно. И этим я занят».[8])

А через год он пишет тому же Фету: «Я тоскую и ничего не пишу, а работаю мучительно».[9])

Проследить процесс рождения и развития творчества «Войны и Мира» — невозможно, так же невозможно, как войти в душу другого человека. Целый ряд неуловимых оттенков мыслей, отношений, чтение тех или иных произведений, семейные отношения, люди, встречавшиеся на его пути — всё это и многое другое накапливалось и постепенно находило отражение в творчестве. Кто знает, смог бы ли Толстой описать войну, если бы сам не участвовал в сражениях? Описать переживания картежника, если бы сам не проигрывал целые состояния в карты? Понять психологию светского общества, если бы не принадлежал к нему сам? Понять рыцарскую честь своих героев, их удальство, храбрость, кутежи, если бы в нем самом не было этих черт, понять азарт, страсть охотника, если бы он сам не увлекался этой страстью? Таня, его свояченица, в своих воспоминаниях описывает, как во время одной из охотничьих поездок у нее свернулось седло и она повисла головой вниз. «Лёвочка, падаю, — кричала изо всех сил Таня, когда Лёвочка бешено скакал мимо нее за зайцем. — Душенька, подожди! — крикнул ей Толстой в ответ, продолжая скакать мимо беспомощно висевшей Тани.[10]) Мог ли бы Толстой описать Наташу Ростову, проникнуть в психологию влюбленной девушки, если бы день за днем не наблюдал романических переживаний своей привлекательной свояченицы Тани? Или описать разумную, скучную Соню, черты которой мы наблюдали в Лизе Берс? Смог ли бы он описать героев войны двенадцатого года, Николая Ростова, если бы с детства не наслышался рассказов о походах своего отца в войне 12-го года?

Еще в письме от 11 ноября 1862 года Софья Андреевна писала сестрам: «Девы, скажу вам по секрету, прошу не говорить, Лёвочка может быть нас опишет, когда ему будет 50 лет».[11])

Толстой не любил, когда его спрашивали, кто его герои, с кого он списал Наташу Ростову. Но мы невольно замечаем, что не только описаны характер и многие черты Тани Берс в Наташе, но и целый ряд эпизодов из жизни Тани. «Я взял Таню, перетолок ее с Соней, и вышла Наташа».[12]) Трудно сказать, умная ли была Таня Берс-Наташа Ростова, хорошая или плохая, красивая или нет, но в Тане была такая неуловимая прелесть, такой огонь, радость жизни, что она увлекала за собой всех — и старых, и малых, и всюду, где бы она ни появлялась, становилось весело.

Ссорились ли люди между собой — вихрем влетала Таня в комнату, не обдумывая скажет что-то смешное, добродушно обругает ссорящихся, пожалеет — и всё улаживается. Плачет ли ребенок, Таня подхватит его на руки, запоет, затормошит, или даст ему подзатыльник — и ребенок утешится; ворчит ли старая нянюшка, хмурятся ли родители, скучают ли гости — стоит Тане войти, как всем делается весело и непринужденно-радостно.

Такова была одна из «дев» — Таня Берс.

Таня всегда и всюду была верным спутником Толстого. Ранней весной она ходила с ним на тягу вальдшнепов, ездила с ним верхом, на охоту с борзыми в отъезжее поле. Таня любила спорт, игры, Соня же была ко всему этому совершенно равнодушна. Когда Соня за компанию ездила на охоту, она любовалась природой, задумывалась, равнодушно рассматривала в лорнет, близорукими своими глазами, скачущего зайца и спускала собак, когда было уже слишком поздно и зверь благополучно удирал, а Соня, к великому возмущению настоящих охотников, радовалась, что бедный зайчик ушел. Вечерами Толстой садился за фортепиано и Таня пела. И в пении, и в голосе ее был тот же неуловимый шарм, мелодичность и сдержанная страсть, как и во всем ее существе. Недаром

Фет посвятил ей одно из лучших своих стихотворений:

Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

Толстой, прослушав как-то раз пение дедушки Исленьева, сказал про Исленьево-Берсовскую породу: «Экая жизненная энергия эта, Исленьевская кровь, и во всех вас, черных Берсах, течет она!» Черными назывались те, у кого были темные глаза и черные волосы. В письме от 8 декабря 64 г., в письме к жене Толстой дает следующую характеристику семье Берсов:

«Все черные вашей семьи мне ужасно милы и симпатичны. Любовь Александровна ужасно похожа на тебя. Она на днях делала колпак для лампы, точно как ты, примешься за работу и уже тебя не оторвешь. Даже нехорошие черты у вас одинаковые. Я слушаю иногда, как она с уверенностью начинает говорить то, чего не знает, и утверждать положительно и преувеличивать, — и узнаю тебя. Но ты мне всячески хороша. Я пишу в кабинете, и передо мной твой портрет в 4-х возрастах. Голубчик мой, Соня! Какая ты умница во всем том, о чем ты захочешь подумать. От этого-то я и говорю, что у тебя равнодушие к умственным интересам, и не только не ограниченность, а ум, и большой ум. И это у всех вас, мне особенно симпатичных, черных Берсов. Есть Берсы черные: Любовь Александровна, ты, Таня, Петя; и белые — остальные. У черных ум спит, — они могут, но не хотят, и от этого у них уверенность, иногда некстати, и такт. А спит у них ум оттого, что они сильно любят, а еще и оттого, что родоначальница черных Берсов была не развита, т. е. Любовь Александровна. У белых же Берсов участие большое к умственным интересам, но ум слабый и мелкий. Саша пестрый, полубелый».[13])

Детская любовь Тани к Кузминскому не удовлетворяла ее. Красивый, стройный юноша, прямой и чест-

ный, но узкий и суховатый, не мог ей дать того, что тянуло Таню к Толстовской семье. Таня была счастлива только тогда, когда она была в Ясной Поляне у сестры или в Покровском, у Марьи Николаевны Толстой, с дочерьми которой, Лизанькой и Варенькой — «зефиротами», как их прозвали — она была очень дружна. Дома Таня скучала, ее разумная сестра Лиза, со своими скучными и неувлекательными романами, была для нее не интересна.

Во время поездки в Петербург, куда в первый раз в жизни ее повез отец, Таня встретилась со своим дальним родственником, Анатолем Шостаком, которому она дала следующую характеристику: «он был один из тех людей, которых часто встречаешь в свете. Он был самоуверен, прост и чужд застенчивости. Он любил женщин и нравился им. Он умел подойти к ним просто, ласково и смело. Он умел внушить им, что сила любви дает права, что любовь есть высшее наслаждение. Преград для него не существовало. Не бывши добрым, он был добродушен. В денежных делах честен и даже щедр. В обществе он был остроумен и блестящ. Прекрасно владел языками и слыл за умного малого».[14])

Анатоль влюбился в Таню и ни минуты не сомневался, что Таня разделяет его чувства. Он действовал наверняка. Пожатие руки, смелая, восторженная фраза — всё это кружило голову 16-тилетней девочке. Узнав, что Таня в Ясной Поляне, Анатоль приехал туда. Толстые с беспокойством следили за происходящим. В своих воспоминаниях Таня описывает, как во время верховой поездки они с Анатолем отстали от других и как, в лесу, Анатолий целовал ее. По тому времени это было недопустимой вольностью. Таня не сумела скрыть своего «поступка», особенно от Лёвочки, который видел Таню насквозь и всё понимал без лишних слов. Толстые были возмущены поведением Анатоля, зная, что он не имел намерения на ней жениться, и предложили ему уехать из Ясной Поляны.

Этот эпизод, в измененном виде, был описан Толстым в «Войне и Мире».

Бурное, хотя и поверхностное увлечение Тани Анатолем быстро прошло и заменилось на этот раз самым серьезным, как она говорила, увлечением во всей ее жизни — она полюбила Сергея Николаевича Толстого.

Любовь вспыхнула между ними с невероятной силой. Не соображая, не задумываясь, Сергей Николаевич, в безумии своего увлечения сделал Тане предложение и они решили жениться, несмотря на препятствия, серьезности которых Таня даже и не представляла себе. В глубине души Сергей Николаевич чувствовал, что он не имеет права дать себе волю. У него была семья. Многие годы он жил со своей цыганкой Машей — маленькой, кроткой, смуглой женщиной, покорившей его своим чудесным голосом. У них было уже трое детей. Кроме того, закон запрещал двум братьям жениться на двух сестрах... Но Сергей Николаевич лишился способности рассуждать логично и невольно обманывал и себя и Таню, надеялся неизвестно на что, мучил ее и себя.

Особенно их сблизила одна ночь. Таня гостила у Марии Николаевны Толстой в Пирогове. Сергей Николаевич предложил Тане прокатиться с ним в его Пирогово, расположенное по ту сторону реки. Но когда они собрались ехать обратно, надвинулась страшная гроза, сверкала молния, гремел гром, дождь лил, как из ведра. Ехать назад нельзя было. Сергей Николаевич и Таня оказались одни в его новеньком домике. Сергей Николаевич порывался уйти наверх, к себе, но Таня боялась. Полночи они просидели разговаривая, наконец, Таня заснула безмятежным детским сном, а Сергей Николаевич всю ночь просидел рядом, за ширмами, один со своими волнительными и радостными мыслями от сознания ее любви, и отчаяния от невозможности счастья, связанности своей с другой женщиной — беспомощной, робкой, преданной матерью трех его детей.

Толстые остро переживали эту драму между самыми близкими им людьми, еще острее переживали ее старики Берсы.

Наконец, перемучившись, узнав всю правду о семье Сергея Николаевича, Таня решительно отказала ему.

Как подстреленная птица, Таня опустила крылья, перестала петь, исхудала, побледнела, кашляла, боялись за ее легкие.

Толстой писал жене из Пирогова уже после разрыва брата с Таней:

«Я спал внизу, должно быть, на том диване, на котором Таня держала его (Сережу). И эта вся поэтическая и грустная история живо представилась мне. Оба хорошие люди, и оба красивые и добрые: стареющий и чуть ли не ребенок, и оба теперь несчастливые; а я понимаю, что это воспоминание этой ночи — одни, в пустом и хорошеньком доме, — останется у обоих самым поэтическим воспоминанием...

...Вообще мне стало грустно на этом диване и о них, и Сереже, особенно глядя на ящичек с красками, тут в комнате, из которого он красил, когда ему было 13 лет. Он был хорошенький, веселый, открытый мальчик, рисовал и всё бывало пел разные песни, не переставая. А теперь его, того Сережи, как будто нет».[15])

И если вы внимательно прочтете «Войну и Мир», вы невольно сравните образ Тани Берс с образом Наташи Ростовой, со всей ее привлекательностью, поразительным голосом, страстностью, бурными увлечениями, ее тоской по князю Андрею.

«Лёвочка, — сказала один раз Татьяна Андреевна Кузминская, — я понимаю, как ты можешь описывать помещиков, отцов, генералов, солдат, но как ты можешь влезть в душу влюбленной девушки, как ты можешь описывать переживания матери — хоть убей — не понимаю». (Из личных воспоминаний. А. Т.). Да, понять это трудно, и возможно, что если бы Толстой ежечасно не наблюдал Таниных переживаний, и сам не переживал бы с нею вместе ее бурных увлечений, не наблюдал бы психологии жены и матери в собственной своей жене — он и не написал бы «Войны и Мира».

В конце 63 года Толстой на время отвлекся от «Войны и Мира» и впервые испытал свои силы в новой для него форме творчества.

Он никогда не признавал стриженых, эмансипированных, мужеподобных женщин с папиросами в зубах, отклоняющихся, как он говорил, от прямого своего назначения жены и матери или от служения людям в той области, где они своей мягкостью, женским чутьем могли принести самую большую пользу человечеству. Такие женщины всегда увлекались так называемыми передовыми движениями — социализмом, нигилизмом, революционной работой и тем, что в то время называлось «хождением в народ». Толстой не сочувствовал этому течению, оно было ему скорее противно, и в своей комедии в пяти действиях, «Зараженное семейство», он осмеял этих «передовых» людей, — почтенное интеллигентное семейство, увлекавшееся новыми идеями. Но комедия эта — первый опыт Толстого в драматическом искусстве — на сцену принята не была. Толстой кончил комедию в начале 1864 года и повез ее в Москву, но успеха она никакого не имела и Островский не пожелал ее ставить в Малом театре. «Когда я еще только расхварывался, — писал Островский Некрасову 7 марта 1864 года, — утащил меня к себе Л. Н. Толстой и прочел мне свою новую комедию; это такое безобразие, что у меня положительно завяли уши от его чтения».

Толстому очень хотелось поскорее выпустить свою комедию в свет. «Почему ты так спешишь? — с иронией спрашивал его Островский, — боишься люди поумнеют?»[16])

Было ли это мнение и мнение других современных литераторов основано исключительно на несовершенстве комедии с чисто литературной точки зрения, или же существенную роль в непринятии ее играло ее отрицательное отношение к либеральным веяниям эпохи, сказать трудно. Но возможно, что даже если бы «Зараженное семейство» было бы шедевром литературно-драматического творчества, его бы не приняли к постановке.

Соня была погружена в свои материнские заботы, Сереже не было еще двух лет, а в октябре ожидалось появление второго ребенка. Таня хандрила. Толстой снова погрузился в писание своего романа. «Скоро год, как я не писал в эту книгу, — пишет он в дневнике от 16 сентября 1864 года. — И год хороший. Отношения наши с Соней утвердились, упрочились. Мы любим, т. е. дороже друг для друга всех людей на свете, и мы ясно смотрим друг на друга. Нет тайн и ни за что не совестно. Я начал с тех пор роман, написал листов 10 печатных, но теперь нахожусь в периоде поправления и переделывания. Мучительно. Педагогические интересы ушли далеко. Сын очень мало близок мне. На днях вспомнил начатый материнский дневник о Соне, и надо его дописать для детей».[17])

Толстой писал урывками, порою с увлечением и сильно. В лето 1864 года он много разъезжал то на охоту, то к соседям, к Фету, к брату Сергею.

Один раз, отправляясь к соседу Бибикову, Толстой приказал оседлать молодую, горячую лошадь Фанни, его любимые борзые собаки увязались с ним. Толстой никогда не ездил торными дорогами, он или выбирал узкие тропинки, или ездил полями, по скошенным жнивьям. Так было и на этот раз. На беду из-под межи выскочил заяц. Толстой крикнул: «ату его!» и вместе с собаками помчался за зверем. Молодая, неопытная лошадь попала передними ногами в рытвину, на всем скаку упала и Толстой перелетел через ее голову.

В полуобморочном состоянии, с трудом поднявшись и изнемогая от боли в плече и руке, Толстой добрался до большой дороги, где его подобрали крестьяне и положили в крестьянскую избу на деревне. Он боялся, что известие о его падении напугает Соню, ожидавшую ребенка.

Вывихнутая рука поправилась быстро, но ключица оказалась переломанной. Вправляли ее Тульские доктора, вправили плохо, и кость срослась неправильно. Толстой продолжал страдать и плохо владел правой рукой.

4 октября у Толстых родилась здоровенькая девочка, которую назвали Татьяной. Жизнь начала входить в нормальное русло. Толстой снова принялся за свой роман — его тянуло к писанию. Но рука болела, плохо поднималась и, тщетно испробовав всякие домашние средства, Толстой решил ехать в Москву лечиться.

В Москве он остановился у Берсов. По совету Андрея Евстафьевича, показал сломанную ключицу нескольким врачам, по их совету делал гимнастику, массаж, но улучшения не было. Наконец, после ряда совещаний с врачами, Толстой решился на операцию. 29 ноября Толстой диктует письмо жене:

«Вот тебе отчет за два дня. Когда мне сказали, и я поверил, что гимнастика одна сделает пользу, я стал махать рукой, и должен признаться, что она пришла в скверное состояние, что я очень уныл, и в этом унынии поехал к Редлиху; когда Редлих, у которого была выгода брать с меня деньги на гимнастику, сказал, чтобы я правил, то я окончательно решился; по чистой правде, решился я накануне в театре, когда музыка играет, танцовщицы пляшут, Мишель Боде владеет обеими руками, а у меня, я чувствую, вид кривобокий и жалкий, в рукаве пусто и ноет; а главное же, нервное расстройство, под влиянием которого я приехал из Ясной, совершенно прошло, и я вспомнил твои слова: не слушаться Андрея Евстафьевича, что он меня собьет; так и вышло.

В этот день особенно деятельно ходил по книжным лавкам, докторам, и хотя я чувствовал, что всех Берсов смутил своим решением править, я был очень весел, поехал в оперу, мне было очень приятно и от музыки, и от вида различных господ и дам, которые для меня все типы. Бояться хлороформа и операции мне было даже совестно думать, несмотря на то, что ты обо мне такого низкого мнения; неприятно мне было остаться без руки немного для себя, но право больше для тебя, особенно после разговора с Таней, который меня еще больше в этом убедил. Я шел

наверное на то, что не исправят; но делал это, чтобы избавить себя от своих же упреков в будущем»...

«Операцию тебе описала Таня, которая обо всем могла иметь большее понятие, чем я; я знаю только, что не чувствовал никакого страха перед операцией, и чувствовал боль после нее, которая скоро прошла от холодных компрессов.

Ухаживали и ухаживают за мной так, что желать нечего, и только совестно; но несмотря на всё, вчера с расстроенными нервами после хлороформа, особенно после твоих писем, которые пришли четверть часа после операции, я Бог знает как хотел, чтобы ты тут была.

Боль утихала очень скоро, и к вечеру было только неловко и скверно от оставшегося во мне хлороформа. В этот вечер мне всё хотелось ходить, и как можно больше делать»...[18])

В это время рукопись «1805 года» уже была сдана и должна была появиться в № 1 «Русского Вестника» за 1865 год.

Вот что пишет Толстой жене от того же 29 ноября:

«Забыл, было, описать свидание с Любимовым перед оперой; он приехал от Каткова и, опять слюняво смеясь, объявил, что Катков согласен на все мои условия, и дурацкий торг этот кончился, т. е. я им отдал по 300 рублей за лист первую часть романа, которую он с собою и увез. Но когда мой porte-feuille опустел и слюнявый Любимов понес рукописи, мне стало грустно именно за то, за что ты сердишься, что нельзя больше переправлять и сделать еще лучше».[19])

8-го декабря Толстой пишет жене: «Как ты мила, что поняла мое чувство, отдавая рукописи. Вот такие черты для меня самые главные и лучшие доказательства твоей хорошей любви ко мне»...[20]) Толстой был счастлив, что Соня поняла, что отдав рукопись издателю, он точно оторвал от себя часть своего существа.

Около двух недель Толстой продолжает лечить ключицу под наблюдением врачей. Но он не теряет

времени: посещает библиотеки, собирает книги и продолжает, с помощью трех сестер, работать над романом. Соня переписывает рукопись, сидя в Ясной Поляне. Он никогда не любил диктовать, его это стесняло, связывало, но желание писать было так сильно, что он изредка диктовал сестрам Берс, особенно Тане, которая была ему ближе.

«Я вчера объяснял Тане, — пишет Толстой жене 1-го декабря, — почему мне легче переносить разлуку с тобой и с детьми (я чувствую однако здесь, что я их еще мало люблю), у меня есть постоянная любовь и забота о моем деле писания. Ежели бы этого не было, я чувствую, что я бы не мог решительно пробыть дня без тебя, ты это верно понимаешь, потому что то, что для меня писанье, для тебя должны быть дети».

Но, как всегда, у Толстого подъемы сменяются разочарованием и в том же письме он писал Соне:

«Я всегда податлив на похвалу, и твоя похвала характера княжны Марьи меня очень порадовала. Но сегодня я перечел всё присланное тобою (начисто переписанное), и мне показалось всё это очень гадко, и я почувствовал лишение руки; хотел поправить кое-что, перемарать — и не мог; вообще разочаровался сегодня насчет своего таланта, тем более, что вчера диктовал Лизе ужасную ерунду. Я знаю, что это только временное настроение, которое пройдет»...[21])

А 7-го декабря он пишет жене: «Нынче, поутру, около часа диктовал Тане, но не хорошо; спокойно, без волнения, а без волнения наше писательское дело не идет».[22])

Всё же, к концу 1864 года 38 глав романа «1805 год» были написаны и отданы в печать. Судьба величайшего творения Толстого, «Войны и Мира», была уже предрешена. Он уже не мог оставить своего романа. Всю силу творческого своего гения, всю умственную жизненную энергию, весь свой опыт он должен был посвятить созданию этого своего «детища», неведомыми, сложными процессами зародившегося в нем.

23 января 1865 года Толстой писал Фету:

«А знаете, какой я вам про себя скажу сюрприз: как меня стукнула об землю лошадь и сломала руку, когда я после дурмана очнулся, я сказал себе, что я литератор. И я литератор, но уединенный, потихонечку литератор».[23])

---

[1]) Грузинский, А. Е. Первый период работы над Войной и Миром. Голос минувшего, 1923, № 1.

[2]) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой, № 54, в январе 1865 г., стр. 198.

[3]) Дневник Л. Н. Толстого, 16 сент. 1864 г. Литературное Наследство, № 37/38, стр. 84.

[4]) Грузинский, А. Е. Первый период работы над Войной и Миром. Голос Минувшего, 1923, № 1.

[5]) Кузминская, Т. А. «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», ч. II, стр. 98, изд. Polyglotte, Берлин, 1928.

[6]) Письмо А. Е. Берса к Л. Н. Толстому, 5 сент. 1863 г., там же, стр. 99.

[7]) Письмо А. Е. Берса к Л. Н. Толстому, 18 сент. 1863 г., там же, стр. 99.

[8]) Фет, А. А. «Мои воспоминания», ч. 2, стр. 49.

[9]) Там же.

[10]) Кузминская, Т. А. «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», стр. 116.

[11]) Там же, стр. 8.

[12]) Бирюков, П. И. Биография Л. Н. Толстого, т. 2, стр. 42.

[13]) Письма гр. Л. Н. Толстого к жене, № 28, 8 дек. 1864, стр. 36.

[14]) Кузминская, Т. А. «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», ч. 2, стр. 60.

[15]) Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. Госизд. Т. 83, стр. 28.

[16]) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. № 59. 14 нояб. 1865 г., стр. 210.

[17]) Дневник 1864-65 гг. Литературное Наследство, № 37/38, стр. 89.

[18]) Письма графа Л. Н. Толстого к жене, № 23, 29 нояб. 1864, стр. 22.

[19]) Там же, № 23, 29 нояб. 1864, стр. 22.

[20]) Там же, № 29, 8 дек. 1864, стр. 38.

[21]) Там же, № 24, 1 дек. 1864, стр. 27.

[22]) Там же, № 27, 7 дек. 1864, стр. 34.

[23]) Фет, А. А. «Мои воспоминания», т. 2, стр. 59.

ГЛАВА XXVIII

ВОЙНА И МИР

Роман Толстого произвел громадное впечатление. Люди зачитывались им и с нетерпением ждали продолжения. Появился целый ряд критических статей. И хотя Толстой не любил критиков, они мешали ему, но все же он был к ним не безразличен, мнением же некоторых людей он очень дорожил. Так 23 января 1865 г. он пишет Фету:

«Пожалуйста подробнее напишите свое мнение, Ваше мнение, да еще мнение человека, которого я не люблю тем более, чем более я вырастаю большой, мне дорого — Тургенева. Он поймет. Печатанное мною прежде я считаю только пробой пера; печатаемое теперь, мне хотя и нравится более прежнего, но слабо кажется, без чего не может быть вступление. Но что дальше будет — беда!!! Напишите, что будут говорить в знакомых вам различных местах и, главное, как на массу. Верно, пройдет незамеченно. Я жду этого и желаю: только бы не ругали, а то ругательства расстраивают».

... «Я очень рад, что вы любите мою жену, хотя я ее и меньше люблю моего романа, а все-таки, вы знаете, жена».[1])

Но Тургенев остался верен себе и Толстой напрасно ждал от него беспристрастной и справедливой оценки своего творчества.

«Вторая часть 1805 г. слаба, — писал он Фету от 25 марта 1866 года, — как всё это мелко и хитро, и неужели не надоели Толстому эти вечные рассуждения о том, трус, мол, я или нет? Вся эта патология сражения. Где тут черты эпохи? Где краски исторические? Фигура Денисова бойко начерчена; она была бы хороша, как узор на фоне, а фона то и нет».[2])

В письме от 27 июня 1866 года Тургенев выражается еще более резко по поводу «Войны и Мира». «Роман Толстого *плох* (курсив мой. А. Т.) не потому, что он также заразился «рассудительством», этой беды ему бояться нечего: плох он потому, что автор ничего не изучил, ничего не знает и под именем Кутузова и Багратиона выводит нам каких-то рабски списанных современных генеральчиков».[3])

Но по мере напечатания романа Тургенев несколько смягчает свой отзыв. Так, он пишет Анненкову из Баден-Бадена 13 апреля 1868 г.:

«Доставили мне 4-ый том Толстого. Много там прекрасного, но и уродства не оберешься. Беда, коли автодидакт, да еще во вкусе Толстого, возьмется философствовать: непременно оседлает какую-нибудь палочку, придумает какую-нибудь систему, которая, по-видимому, все разрешает очень просто, как например исторический фатализм, да и пошел писать. Там, где он касается земли, он, как Антей, снова получает свои силы: смерть старого князя, Алпатыч, бунт в деревне, — всё это удивительно».[4])

Но еще позднее, как это случалось не раз с Тургеневым в отношении к произведениям Толстого, Тургенев дает уже иную оценку «Войне и Миру». В 1868 году мы находим в его письмах следующие отзывы:

«Я только что кончил 4-ый том «Войны и Мира». Есть вещи невыносимые, и есть вещи удивительные, и удивительные эти вещи, которые в сущности преобладают, так великолепно хороши, что ничего лучшего у нас никогда не было написано никем, да вряд ли и было написано что-нибудь столь хорошее... 3-ий том почти весь chef d'œuvre».[5])

... «Есть целые десятки страниц сплошь удивительных, первоклассных — всё бытовое, описательное — охота, катанье ночью и т. д.; ... есть в этом романе вещи, которых, кроме Толстого, никому в целой Европе не написать и которые возбудили во мне озноб и жар восторга».[6])

Толстой жаждал беспристрастной критики, искал ее и, как губка, впитывал в себя все разумные, доброжелательные указания своих друзей.

«Есть важный промах, который подрезывает крылья жадному интересу, с которым читаешь вещи вечные — писал Фет Толстому от 16 июня 1866 г. —Не думаю, чтобы князь Андрей был приятным сожителем, собеседником и т. п., но всего менее он герой, способный представлять нить, на которую поддевают внимание читателей... Пока князь Андрей был дома, где порядочность его была подвигом рядом с пылким старцем отцом и дурой-женой, он был интересен, а когда он вышел туда, где надо было что-нибудь делать, то Васька Денисов далеко заткнул его за пояс. Мне кажется, что я нашел Ахиллову пяту романа. А впрочем, кто его знает».[7])

С большим опозданием, но и с большим доброжелательством и вниманием Толстой отозвался на это письмо. «Я не отвечал на ваше последнее письмо тому назад 100 лет, — писал он Фету, — и виноват за это тем более, что помню, в этом письме вы мне пишете очень интересные мне вещи о моем романе и еще пишете irritabilis poetarum gens. Ну уж не я. Я помню, что порадовался, напротив, вашему суждению об одном из моих героев — князе Андрее — и вывел для себя поучительное из вашего суждения. Он однообразен, скучен и только un homme comme il faut во всей первой части. Это правда, но виноват в этом не он, а я. Кроме замысла характеров и движения их, кроме замысла столкновений характеров, есть у меня еще замысел исторический, который чрезвычайно усложняет мою работу, и с которой я не справляюсь, как кажется. И от этого в первой части я занялся исторической стороной, а характер стоит и не движется. И это недостаток, который я ясно понял вследствие вашего письма и надеюсь, что исправил. Пожалуйста пишите мне, милый друг, всё, что вы думаете обо мне, т. е. о моем писании дурного. Мне всегда это в великую пользу, а кроме вас, у меня никого нет...»[8])

Боткин писал Фету после выхода «1805 года», что в романе слишком много французского языка, и что фон романа «занимает слишком большое место», т. е. дает совершенно обратную характеристику Тургеневской, в которой последний считает, что в романе фона нет. (14 февраля 1865 г).[9])

26 марта 1868 г. тот же Боткин писал Фету, что «успех романа Толстого действительно необыкновенный», что «все читают его, и не только читают, но и приходят в восторг. Как я рад за Толстого!» — восклицает он, и далее приводит критику литераторов, что Бородинская битва описана совсем неверно, что «философия истории мелка и поверхностна», что отрицание «преобладающего влияния личности в событиях есть не более как мистическое хитроумие, но помимо всего художественный талант автора вне всякого спора».[10])

Но прочитав 5-й том романа, Боткин изменил свое мнение: «Неужели Толстой остановится на 5-ой части. Мне кажется, это невозможно, — писал он Фету в июне 1869 г. — Какая яркость и вместе глубина характеристики! Какой характер Наташи и как выдержан! Да, всё в этом превосходном сочинении возбуждает глубочайший интерес. Даже его военные соображения полны интереса, и мне в большей части случаев кажется, что он совершенно прав. И потом, какое это глубоко русское произведение!»[11])

Приводить бесчисленное множество критических статей по поводу романа Толстого — не стоит. Наравне с хвалебными статьями появлялись статьи русских консервативных кругов, упрекавших Толстого, что он низвел великих русских полководцев, государственных деятелей с их славных пьедесталов. Слышались упреки противоположного лагеря либеральной интеллигенции, что Толстой совершенно не описал в «Войне и Мире» эту среду, упрекали Толстого в неисторичности романа, в большом употреблении французского языка и во многом другом. Временами Толстой переставал читать критические статьи — они какой-то стороной мешали ему, как мешает художнику, когда зри-

тель с любопытством косится на полотно его неоконченной картины и начинает обсуждать детали.

Толстой писал «Войну и Мир» около семи лет, с 1863 года, когда он впервые задумал свой роман, и до декабря 1869 года, когда был напечатан 6-ой и последний том «Войны и Мира». Чем дольше он писал, тем более он сживался со своими героями, с их жизнью, с веяниями и настроениями того времени.

«Я зачитался историей Наполеона и Александра, — писал он в дневнике от 19 марта 1865 года. — Сейчас меня облаком радости и сознания возможности сделать великую вещь охватила мысль написать психологическую историю романа Александра и Наполеона. Вся подлость, вся фраза, всё безумие, всё противоречие людей их окружавших и их самих. Наполеон как человек путается и готов отречься 18 брюмера перед собранием. De nos jours les peuples sont trop éclairés pour produire quelque chose de grand. Александр Македонский называл себя сыном Юпитера, ему верили. Вся египетская экспедиция — французское тщеславное злодейство. Ложь всех bulletins сознательная. Пресбургский мир escamoté. На Аркольском мосту упал в лужу, вместо знамя. Плохой ездок. В Итальянской войне увозит картины, статуи. Любит ездить по полю битвы. Трупы и раненые — радость. Брак с Жозефиной — успех в свете. Три раза поправлял реляцию сражения Риволи — всё лгал. Еще человек первое время и сильный своей односторонностью — потом нерешителен — что было! А как? Вы простые люди, а я вижу в небесах мою звезду. — Он не интересен, а толпы, окружающие его и на которые он действует. Сначала одностронность и beau jeu в сравнении с Маратами и Баррасами, потом ощупью — самонадеянность и счастье и потом сумасшествие — faire entrer dans son lit la fille des Césars. Полное сумасшествие, расслабление и ничтожество на Св. Елене. Ложь и величие потому только, что велик объем, а мало стало поприще и стало ничтожество. И позорная смерть!

Александр, умный, милый, чувствительный, ищущий с высоты величия объема, ищущий высоты человеческой. Отрекающийся от престола и дающий одобрение, не мешающий убийству Павла (не может быть). Планы возрождения Европы. Аустерлиц, слезы, раненые. Нарышкина изменяет. Сперанский, освобождение крестьян, Тильзит — одурманение величием. Эрфурт. Промежуток до 12 года не знаю. Величие человека, колебания. Победа, торжество, grandeur пугающие его самого, и отыскивание величия человека — души. Путаница во внешнем, а в душе ясность. А солдатская косточка — маневры, строгости. Путаница наружная, прояснение в душе. Смерть. Ежели убийство, то лучше всего.

Надо написать свой роман и работать для этого».[12])

В первой части 3-го тома «Войны и Мира» точка зрения на фатализм истории определилась совершенно ясно. Возможно, что если бы Толстой дожил до нашего времени — он еще раз убедился бы в правильности своего воззрения. Разве и теперь так же, как 125 лет тому назад, история фатально не выкидывает на верхи не только слабых, ничтожных, недальновидных политиканов, но и преступников, правящих миром, независимо от воли или желания масс, которыми они управляют. Так же, как и в 12 году, историки не могли учесть и понять причин тех или иных явлений, точно так же и современность не может оценить происходящие в наше время события, оценка которым будет дана лишь позднее, будущими историками.

«Для нас — потомков, не историков, не увлеченных процессом изыскания, и потому с незатемненным здравым смыслом созерцающих событие, причины его представляются в неисчислимом количестве, — пишет Толстой. — Чем больше мы углубляемся в изыскание причин, тем больше нам их открывается, и всякая отдельно взятая причина или целый ряд причин представляются нам одинаково справедливыми сами по себе, одинаково ложными по своей ничтожности в сравнении с громадностью события, и одинаково ложными

по недействительности своей (без участия всех других совпавших причин) произвести совершившееся событие...

Ежели бы Наполеон не оскорбился требованием отступить за Вислу и не велел наступать войскам, не было бы войны; но ежели бы все сержанты не пожелали поступить на вторичную службу, тоже войны не могло бы быть.

Тоже не могло бы быть войны, ежели бы не было интриг Англии и не было бы принца Ольденбургского и чувства оскорбления в Александре и не было бы самодержавной власти в России, и не было бы французской революции и последовавших диктаторства и империи, и всего того, что произвело французскую революцию, и так далее. Без одной из этих причин ничего не могло бы быть. Стало быть, причины все эти — миллиарды причин — совпали для того, чтобы произвести то, что было. И, следовательно, ничто не было исключительной причиной события, а событие должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться. Должны были миллионы людей, отрекшись от своих человеческих чувств и своего разума идти на Восток с Запада и убивать себе подобных, точно так же, как несколько веков тому назад с Востока на Запад шли толпы людей, убивая себе подобных.

Действия Наполеона и Александра, от слов которых зависело, казалось, чтобы событие совершилось или не совершилось — были так же мало произвольны, как действие каждого солдата, шедшего в поход по жребию или по набору. Это не могло быть иначе потому, что для того, чтобы воля Наполеона и Александра (тех людей, от которых, казалось, зависело событие) была исполнена, необходимо было совпадение бесчисленных обстоятельств, без одного из которых событие не могло бы совершиться. Необходимо было, чтобы миллионы людей, в руках которых была действительная сила, солдаты, которые стреляли, везли провиант и пушки, надо было, чтобы они согласились исполнить эту волю единичных и слабых людей,

и были приведены к этому бесчисленным количеством разнообразных причин.

Фатализм в истории неизбежен для объяснения неразумных явлений (то есть тех, разумность которых мы не понимаем). Чем более мы стараемся разумно объяснить эти явления в истории, тем они становятся для нас неразумнее и непонятнее»...[13])

И хотя Толстой давал собственное освещение историческим событиям 12-го года, он чрезвычайно добросовестно относился к точности изложения исторических событий. Он сам пишет: «Везде, где в моем романе говорят и действуют исторические личности, я не выдумывал, а пользовался материалами, из которых у меня образовалась целая библиотека книг, заглавия которых я не нахожу надобности записывать здесь, но на которые всегда могу сослаться».[14])

Но сами исторические лица не мертвые, они оживают под его пером. И для того, чтобы они зажили, ему нужно было знать, что у Наполеона были короткие, пухлые руки, что во время Бородинской битвы у него был насморк, что он плохо ездил верхом. Ему нужно было знать, что Кутузов, растрогавшись, всхлипывал от умиления, что он любил иногда крепко, по-русски, ругнуться, что он с трудом влезал на лошадь и пр. и пр. и Толстой читал, дополняя своим богатым воображением, характеры этих бесчисленных действующих лиц, которые действительно оживали и, читая роман, вы с ними вместе, как с близкими, любите, плачете, смеетесь, страдаете, ненавидите...

По рукописям Толстого мы знаем, какое громадное значение он придавал даже такой мелочи, как имени или фамилии того или иного героя. Так Ростов в первоначальных рукописях был «Простов», и Толстой откидывает одну букву — «Ростов». Фамилия эта сочетается с тем типом, который ему нужен. Пьер Безухов — темно-синий в воображении Наташи, другим он быть не может и Наташа обижается, когда старая графиня не сразу понимает, что она хочет этим сказать.

Толстой жадно ловил всякие сведения об описываемой им эпохе. Он даже дал объявление в «Москов-

ских Ведомостях»: «За 2.000 рублей серебром желаю приобрести полный экземпляр «Московских Ведомостей» со всеми к ним приложениями. Доставить на Тверскую, в номера Голяшкина».[15])

Живые свидетели того времени представляли для него еще большую ценность. Среди домашних было несколько современников 12-го года: обе тетушки, Александра и Пелагея Ильиничны, тетенька Татьяна Александровна и экономка Прасковья Исаевна, бывшая крепостная князя Николая Андреевича Волконского.

Толстой долго не мог изобразить сцену в Москве, когда Московский главнокомандующий, Ростопчин, желая отвлечь недовольную, разнузданную толпу, отдал ей на растерзание молодого Верещагина, арестованного по подозрению в шпионаже. Толстой просил бывшего учителя одной из своих школ, Петерсона, разыскать ему в библиотеке весь материал, относящийся к этому событию. «Я собрал множество рассказов об этом событии, газетных и других, — рассказывает Н. П. Петерсон, — так что пришлось поставить особый стол для всей этой литературы. Лев Николаевич что-то долго не приходил, а когда пришел, и я указал ему на литературу о Верещагине, то он сказал, что читать ее не будет, потому что в сумасшедшем доме встретил какого-то старика, очевидца этого события, и тот ему рассказал, как это происходило».[16])

Но этого ему мало. Толстому нужно воочию видеть места, где происходили те или иные события, описанные им в романе.

Лысые Горы, пруд, где купались солдаты, где строил с помощью итальянца архитектора свои каменные постройки старик Болконский, с тенистым парком — описать было не трудно, Толстой описывал Ясную Поляну. Он знал дом на Поварской, где жили Ростовы.[17]) Но как описать Бородинский бой, не побывав на месте, не представив себе расположения войск? И Толстой поехал в Бородино со своим шурином, Степой Берсом.

«Сейчас приехал из Бородина, — писал он своей жене 27 сентября 1866 года. — Я очень доволен, очень,

своей поездкой, и даже тем, как я перенес ее, несмотря на отсутствие сна и еды порядочной. Только бы Бог дал здоровья и спокойствия, и я напишу такое Бородинское сражение, какого не было!»[18])

Соня огорчалась, что Лёвочка так часто уезжал от нее, что он мало интересовался той жизнью, которой она была всецело поглощена — плохим здоровьем Сережи, который то болел поносом, то кашлял, маленькой Таней, которую она кормила сама, появлением на свет (мая 22, 1866 г.) второго сына, Ильи. Любовь к детям, особенно к черноглазой, живой Тане, росла в Толстом постепенно, по мере проявления в них разума и индивидуальности.

Если случалось что-нибудь серьезное в отсутствие Лёвочки, Соня терялась.

В ноябре 66 года к Толстым приехала англичанка к старшим детям. «Очень молода, — писала Соня мужу в Москву 12 ноября 1866 г., — довольно мила, приятное лицо, даже хорошенькая очень, но наше обоюдное незнание языков — ужасно. Нынче сестра ее у нас ночует, покуда она переводит нам, но что будет потом, — Бог знает, я даже совсем теряюсь, особенно без тебя, мой милый друг. На этот раз вспоминала твое правило, что надо подумать, как все это покажется через год легко и ничтожно. А теперь даже очень трудно. Дети обошлись, Таня сидела у нее на руках, глядела картинки, сама ей что-то рассказывала, Сережа с ней бегал, говорил, что «она как со мной играет!» Потом Таня представляла в детской, как англичанка говорит, и, вероятно всё это образуется, но покуда как-то всё это очень неестественно, тяжело, неловко и страшно»...[19])

Но с англичанкой скоро действительно все «образовалось», потому что в следующем письме Соня пишет, что они все ездили кататься и «Ханна была до того счастлива, что прыгала в санях и говорила все "so nice", т. е. верно это значило, что хорошо. И тут же в санях объяснила мне, что очень любит меня и детей и что country хороша и что она "very happy". Я ее понимаю довольно хорошо, но с боль-

шим напряжением и трудом. Она сидит, шьет панталончики детям, а детей укладывает старая няня. Когда они перейдут к ней, будет гораздо лучше, а то теперь у ней вполовину меньше дела. За то мне польза; я скоро выучусь, я уверена; а это очень было бы приятно. Обедает она покуда тоже с нами и чай пьет. Я до тебя еще ничего не переменю, еще успеем. А она и желает и, кажется, понимает свои будущие обязанности. Но она не нянька, она держит себя совсем как равная, но не тяготится никакой работой и очень добродушная, кажется»...[20])

Иногда Соня ревновала своего мужа, но всегда неосновательно. В дневнике от 19 июля 66 г. Соня пишет:

«У нас новый управляющий с женой. Она молода, хороша, нигилистка. У ней с Лёвой длинные, оживленные разговоры о литературе, об убеждениях, вообще длинные, неуместные, мучительные для меня и лестные для нее разговоры. Он проповедывал, что в семью, в intimité не надо вводить постороннее, особенно красивое и молодое существо, а сам первый на это попадается. Я, конечно, не показываю и вида, что мне это неприятно, но уже в жизни моей теперь нет минуты спокойной»...[21])

Результат этих «лестных», как Софья Андреевна пишет, разговоров с женой управляющего, был совершенно неожиданный.

Как всегда, в Ясную Поляну временами стекалась молодежь: «зефироты» — Лизанька и Варенька Толстые, Таня Берс и вечная затейница, веселая, остроумная Мария Николаевна Толстая. Осенью 66 года решили ставить спектакль и просили Толстого написать им пьесу.

Толстой написал пьесу «Нигилист». Тема — ничем не оправданная ревность мужа, глупо приревновавшего свою жену к студенту-нигилисту. Молодежь с восторгом принялась за постановку комедии. Соня играла мужа, Таня — жену, Лиза Толстая — старшая из зефироток — играла героя, студента-нигилиста, а Мария Николаевна Толстая играла странницу, причем

Толстой ей только наметил выходы, а она, играя, импровизировала, да так талантливо, что Толстой, сидевший в публике, был в полном восторге и покатывался со смеха. К сожалению, полного текста этой комедии не сохранилось. Но после этого спектакля ревность Сони к красивой «нигилистке» угасла.

В перерывах между заботами о детях, кормлением, прогулками, хлопотами по домашнему хозяйству, ночами, сидя за старинным с шкапчиками столиком красного дерева, Соня круглыми, четкими буквами переписывала роман, с волнением следя за его развитием. Она писала на одной стороне листа, оставляя широкие поля для поправок, которыми испещрял Толстой свои рукописи. И так она переписала всю «Войну и Мир» приблизительно 7 раз. И лишь небольшую часть «Войны и Мира» переписал специально нанятый для этого писарь.

Когда Толстой уезжал в Москву — между ним и женой всегда велась оживленная переписка. Соня писала о детях, о хозяйстве, Толстой писал ей о событиях, связанных с его работой.

«Завтра поеду к Башилову, — писал он ей от 11 ноября 66 года, — в типографию и в Румянцевский Музей читать о масонах».[22])

Башилов был художник — родственник Берсов, и Толстой вел с ним переговоры относительно иллюстраций к «Войне и Миру», которую он решил сам издать.

Через четыре дня он пишет жене: «После кофе пошел в Румянцевский Музей и сидел там до трех, читая масонские рукописи, очень интересные. И не могу тебе сказать, почему чтение нагнало на меня тоску, от которой не мог избавиться весь день. Грустно то, что все эти масоны были дураки».[23])

А из Ясной Поляны писал А. Е. Берсу 2-го ноября 65 года: «Дописываю теперь, т. е. переделываю и опять и опять переделываю свою 3-ю часть. Эта последняя работа отделки очень трудна и требует большого напря-

---

*) Башилов — инспектор Школы Живописи и Ваяния в Москве, двоюродный брат Л. А. Берс, взялся иллюстрировать «В. и М.»

жения; но я по прежнему опыту знаю, что в этой работе есть своего рода вершина, которой, достигнув с трудом, уже нельзя остановиться и, не останавливаясь, катишься до конца дела. Я теперь достиг этой вершины и знаю, что теперь, хорошо ли, дурно ли, но скоро кончу эту третью часть. Не кончив же эту часть, мы не тронемся в Москву. Так уж это мы tacitu consenso признали. В Москве займусь печатанием отдельной книжки вероятно. Впрочем меня не занимает никогда, как я напечатаю. Только бы было написано, т. е. кончено для меня, чтобы меня не тянула больше эта работа, и я бы мог заняться другой».[24])

Писал Толстой большей частью в Ясной Поляне, приезжая только на зимние месяцы в Москву.

«У меня в голове страшный туман, — писал Толстой Бартеневу, взявшемуся держать корректуры романа, 26 ноября 1867 года, — я четвертый день не разгибаясь работаю, и теперь второй час ночи».[25])

А Софья Андреевна в своем дневнике от 13 января 1867 года пишет: «Лёвочка всю зиму раздраженно, со слезами и волнением пишет».[26])

За это время в семье Толстых произошел ряд событий.

В январе 65-го года умер муж Марии Николаевны Толстой. Правда, что она уже не жила с ним, так как он часто изменял ей, был человек легкомысленный, но было время, когда Толстой был дружен с ним, и эта смерть не могла не произвести на него впечатления.

Чрезвычайно прозаично разрешился бурный роман между Таней и Сергеем Николаевичем Толстым. Сергей Николаевич в июне 67 года обвенчался со своей маленькой, кроткой цыганкой Марией Михайловной Шишкиной, а Таня вернулась к своей детской первоначальной любви и 24 июля 1867 года перевенчалась со своим двоюродным братом, Сашей Кузминским.

В этот период творчества Толстой жил двумя жизнями: жизнью 12 года и своей собственной: семь-

ей, хозяйством, охотой. Проходили дни, недели, Толстой не дотрагивался до своего романа. Временами же его собственная жизнь отходила на второй план и Толстой так напряженно работал, что совершенно отрывался от окружающей жизни. Он писал до полного изнеможения, с таким напряжением, что голова его раскалывалась от боли. Порою безудержная мысль его залетала далеко за пределы его романа. Это были мысли о России, о войне, о государственности, несправедливости, глупости и тщете так называемого общественного мнения, о бедности крестьянства и, как часто бывает, мысль наяву продолжала работать и во сне.

13 августа 1865 года Толстой видел сон, который он записал в своей записной книжке:

«Всемирно-народная задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства без поземельной собственности.

“La propriété c'est le vol” останется больше истиной, чем истина английской конституции, до тех пор, пока будет существовать род людской. — Это — истина абсолютная, но есть и вытекающие из нее истины относительные — приложения. Первая из этих относительных истин есть воззрение русского народа на собственность. Русский народ отрицает собственность самую прочную, самую независимую от труда и собственность, более всякой другой стесняющую право приобретения собственности другими людьми, собственность поземельную. Эта истина не есть мечта — она факт, выразившийся в общинах крестьян, в общинах казаков. Эту истину понимает одинаково ученый русский и мужик, который говорит: пусть запишут нас в казаки, и земля будет вольная»... (Все это видел во сне 13 августа).[27])

Летом 1866 года около Ясной Поляны стоял пехотный полк. Офицеры этого полка сообщили Толстому, что бывшего писаря, Василия Шибунина, приговорили к военно-полевому суду. По сведениям, собранным Толстым, начальник Шибунина, холодный, жестокий поляк, не возлюбив своего писаря, постоянно

придирался к нему и несправедливо разжаловал Шибунина из писарей и унтер-офицера в рядовые. Шибунин не выдержал несправедливых придирок своего командира и в припадке гнева ударил его. Ему грозил расстрел и Толстой взялся защищать его.

Единственным доводом, который мог спасти Шибунина от смертной казни — было признание его ненормальным, что Толстой и пытался доказать в своей речи. Но дело было проиграно, суд приговорил Шибунина к расстрелу и ходатайство Толстого, посланное им через Александру Андреевну военному министру Милютину, также было отвергнуто. Шибунина расстреляли 9 августа.

Как это часто бывает, казнь эта не подняла авторитета начальства. Многие, присутствовавшие при казни, плакали и народ говорил о «мученичестве» Шибунина. Пока он сидел под арестом, крестьяне снабжали его всем необходимым, а после его расстрела началось паломничество на его могилу, служились панихиды до тех пор, пока не вмешалось начальство. Службы были запрещены и могилу сравняли с землей.

Вопрос о праве одного человека убивать другого снова стал перед Толстым. Возможно даже, что казнь Шибунина каким-то образом косвенно отразилась в «Войне и Мире». В шестидесятых и семидесятых годах мы еще чувствуем некоторые противоречия в Толстом. Традиции класса, военного круга, преданность Государю еще сильны в нем, но в «Войне и Мире» так же, как в «Севастопольских рассказах», вы уже чувствуете его отвращение к войне. Все положительные герои «Войны и Мира» прямо или косвенно чувствуют преступность убийства на войне. Во всех них живет Толстой.

Чем богаче и многограннее натура, чем разностороннее черты и свойства человека, тем больше он способен поглощать мысли и чувства других существ и понимать их. В главных героев Толстого вложены и плохие и хорошие свойства самого Толстого. Но несмотря на это, каждый из них сохраняет свои, только ему одному присущие характерные черты. Некото-

рые свойства Толстого сгущены, некоторые преуменьшены, иные лишь скользящей тенью проходят в его героях, но семена заложены во всех.

«Я не знаю, что будет потом, не хочу и не могу знать, — думает князь Андрей перед Аустерлицким боем. — Но ежели хочу этого, хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть любимым ими, то ведь я не виноват, что я хочу этого, что одного этого хочу, для одного этого я живу. Да, для одного этого! Я никогда никому не скажу этого, но, Боже мой! что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди — отец, сестра, жена, — самые дорогие мне люди, — но, как ни страшно и неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать, за любовь вот этих людей... я люблю и дорожу только торжеством над всеми ими, дорожу этой таинственной силой и славой, которая вот тут надо мной носится в этом тумане»...[28])

С самого своего детства Толстой хотел славы людской, и по его же собственным словам боролся с грехом честолюбия до глубокой старости.

«Да! Всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба, — думает князь Андрей. — Ничего, ничего нет, кроме него. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения, и слава Богу!» и «глядя в глаза Наполеону», склонившемуся над раненым русским офицером, «князь Андрей думал о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих».[29])

Князь Андрей поправляется, возвращается домой и снова просится в полк. Его жизненный путь не закончен. Этот гордый человек с уязвленным самолюбием, обманутый любимой им девушкой, должен дойти до известных духовных высот — смирения, все-

прощения; черт, так сильно развитых в самом Толстом.

Смертельно раненого во время Бородинского боя, князя Андрея отвезли в госпиталь. Среди раненых, в том, которому ампутировали ногу, князь Андрей узнает того человека, который был виною его горя, человека, которого он искал случая вызвать на дуэль — Анатоля Курагина.

«Около того раненого, очертания головы которого казались знакомыми князю Андрею, суетились доктора; его поднимали, успокаивали. «Покажите мне... Ооооо! о! оооо! — слышался его прерываемый страданиями, испуганный и покорившийся страданию стон... Раненому показали в сапоге с запекшейся кровью отрезанную ногу»... Князь Андрей не сразу понял, кто был этот человек, чем-то «близко и тяжело» связанный с ним. «И вдруг новое, неожиданное воспоминание из мира детского, чистого и любовного представилось князю Андрею. Он вспомнил Наташу такою, какою он видел ее в первый раз на бале 1810 года с тонкой шеей и тонкими руками, с готовым на восторг, испуганным, счастливым лицом, и любовь и нежность к ней еще живее и сильнее, чем когда-либо, проснулись в его душе. Он вспомнил теперь ту связь, которая существовала между им и этим человеком, сквозь слезы, наполнившие распухшие глаза, мутно смотревшим на него. Князь Андрей вспомнил всё, и восторженная жалость и любовь к этому человеку наполнили его счастливое сердце.

Князь Андрей не мог удержаться более и заплакал нежными любовными слезами над людьми, над собой и над их и своими заблуждениями.

Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам, да, та любовь, которую проповедывал Бог на земле, которой меня учила княжна Марья и которой я не понимал; вот отчего мне жалко было жизни, вот оно то, что еще оставалось мне, ежели бы я был жив. Но теперь уже поздно. Я знаю это!»[30])

Так думал князь Андрей. Так и не иначе думал бы Толстой.

Разве мы не узнаем Толстого в Николае Ростове, когда он, сознавая в глубине души, что он делает преступление, проигрывает десятки тысяч и потом, рыдая, умоляет отца о прощении и решает, вернувшись в полк, выплатить отцу в течение пяти лет проигранные им деньги.

Во время смотра, «когда Государь объехал почти все полки, войска стали проходить мимо него церемониальным маршем, и Ростов на вновь купленном у Денисова Бедуине проехал в замке своего эскадрона, т. е. один и совершенно на виду у Государя. Ростов, отличный ездок, два раза всадил шпоры своему Бедуину и довел его счастливо до того бешеного аллюра рыси, которою хаживал разгоряченный Бедуин. Подогнув пенящуюся морду к груди, отделив хвост и как будто летя на воздухе и не касаясь до земли, грациозно и высоко вскидывая и переминая ноги, Бедуин, чувствующий на себе взгляд Государя, прошел превосходно.

Сам Ростов, завалив назад ноги и подобрав живот и чувствуя себя одним куском с лошадью, с нахмуренным, но блаженным лицом, чортом, как говорил Денисов, проехал мимо Государя.

— Молодцы павлоградцы! — проговорил Государь.

«Боже мой! как бы я счастлив был, если бы он велел мне сейчас броситься в огонь», — подумал Ростов.

...Ростов «был влюблен и в царя, и в славу русского оружия, и в надежду будущего торжества. И не он один испытывал это чувство в те памятные дни, предшествующие Аустерлицкому сражению: девять десятых людей русской армии в то время были влюблены, хотя и менее восторженно, в своего царя и в славу русского оружия».[31])

Великолепный, лихой ездок, всю жизнь знавший это непередаваемое словами ощущение слитности с лошадью, разве Толстой, несмотря на ненависть свою

к убийству, отрицание войны, не сохранил до глубокой старости это чувство глубокой любви к своей Родине, чувство патриотизма, теоретически и беспощадно им отрицаемое в последние годы его жизни?

И одновременно с этим всеобъемлющим чувством любви к «славе русского оружия», разве у Ростова в тайниках его сердца не было отвращения к жестокостям войны?

За лихую атаку французских драгун, когда командовавший эскадроном Николай Ростов обратил их в бегство — он был награжден Георгиевским крестом. Всё произошло с невероятной быстротой. Николай «видел, что драгуны близко, что они скачут, расстроены; он знал, что они не выдержат, он знал, что была только одна минута, которая не воротится, ежели он упустит ее... С чувством, с которым он несся наперерез полку, Ростов, выпустив во весь мах своего донца, скакал наперерез расстроенным рядам французских драгун».

Наметив жертву — французского драгунского офицера, Ростов сбил его с лошади и ударил его саблей. И «в то мгновение как он сделал это, всё оживление Ростова исчезло... Лицо его, бледное и забрызганное грязью, белокурое, молодое, с дырочкой на подбородке и светлыми голубыми глазами, было самое не для поля сражения, не вражеское лицо, а самое простое комнатное лицо. Еще прежде, чем Ростов решил, что он с ним будет делать, офицер закричал: “je me rends!”

...Ростов все думал об этом своем блестящем подвиге, который, к удивлению его, приобрел ему Георгиевский крест и даже сделал ему репутацию храбреца, и никак не мог понять чего-то. «Так они еще более нашего боятся! — думал он. — Так только-то и есть всего то, что называется геройством. И разве я это делал для отечества? И в чем он виноват с своею дырочкой и голубыми глазами? А как он испугался! Он думал, что я убью его. За что же мне убивать его? У меня рука дрогнула. А мне дали Георгиевский крест. Ничего, ничего не понимаю!»[32])

Разве Толстого не смущали те же мысли во время Севастопольской войны?

Принято считать, что в Николае Ростове Толстой описал своего отца Николая Ильича Толстого, а что в Пьере Толстой описал самого себя. Но облик Николая Ростова, его сангвинический, горячий характер, его привычки, склонности гораздо больше напоминают самого Толстого, чем Пьер.

Рассеянный, грузный, неуклюжий Пьер Безухов в очках, внешне ничем не напоминает Толстого, но мягкость его, уступчивость, внутреннее созерцание своей духовной жизни, стремление к самосовершенствованию, восторженность постижения истины, его понимание и любовь к Платону Каратаеву — это Толстой.

Пьер испытывал восторг, вступая в масонскую ложу. «Противоборствовать злу, царствующему в мире... — повторил Пьер, и ему представилась его будущая деятельность на этом поприще. Ему представлялись такие же люди, каким он был сам две недели тому назад, и он мысленно обращал к ним поучительно-наставническую речь. Он представлял себе порочных и несчастных людей, которым он помогал словом и делом; представлял себе угнетателей, от которых он спасал их жертвы. Из трех поименованных ритором целей, эта последняя — исправление рода человеческого, особенно близка была Пьеру. Некое важное таинство, о котором упомянул ритор, хотя и подстрекало его любопытство, не представлялось ему существенным; а вторая цель, очищение и исправление себя, мало занимала его, потому что он в эту минуту с наслаждением чувствовал себя уже вполне исправленным от прежних пороков и готовым только на одно доброе».[33])

Но в масонстве Пьер не нашел ответа. И он так же, как сам Толстой, продолжает искать. Его мучили противоречия жизни, ложь, оправдывающая жестокости и зло.

«Елена Васильевна, никогда ничего не любившая, кроме своего тела, и одна из самых глупых женщин в мире, — думал Пьер, — представляется людям вер-

хом ума и утонченности, и перед ней преклоняются. Наполеон Бонапарт был презираем всеми до тех пор, пока он был велик, и с тех пор как он стал жалким комедиантом — император Франц добивается предложить ему свою дочь в незаконные супруги. Испанцы воссылают мольбы Богу через католическое духовенство в благодарность за то, что они победили 14-го июня французов, а французы воссылают мольбы через то же католическое духовенство о том, что они 14-го июня победили испанцев. Братья мои масоны клянутся кровью в том, что они всем готовы жертвовать для ближнего, а не платят по одному рублю на сборы для бедных и интригуют Астрея против Ищущих Манны, и хлопочут о настоящем шотландском ковре и об акте, смысл которого не знает и тот, кто писал его, и которого никому не нужно. Все мы исповедуем христианский закон прощения обид и любви к ближнему — закон, вследствие которого мы воздвигли в Москве сорок сороков церквей, а вчера засекли кнутом бежавшего человека, и служитель того же самого закона любви и прощения, священник, давал целовать солдату крест перед казнью». Так думал Пьер, и эта вся общая, всеми признаваемая ложь, как он ни привык к ней, как будто что-то новое, всякий раз изумляла его. — «Я понимаю эту ложь и путаницу, — думал он, — но как мне рассказать им всё, что я понимаю? Я пробовал и всегда находил, что и они в глубине души понимают то же, что и я, но стараются только не видеть ее».[34])

Пьеру необходимо было пройти через ряд испытаний, физических лишений, для того чтобы обрести ту истинную веру, которую он так усиленно искал. Попав в плен к французам, после того как он бродил по охваченной пожаром Москве, с безумной мыслью убить Наполеона, Пьер впервые испытал тяжелые физические лишения и угрозу быть расстрелянным. Тут же, в плену, он сблизился с простыми солдатами, народом, чудесным воплощением которого был Платон Каратаев, который «любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком,

— не с известным каким-нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера»...

... «Отсутствие цели давало ему то полное, радостное сознание свободы, которое в это время составляло его счастье.

Он не мог иметь цели, потому что он теперь имел веру, — не веру в какие-нибудь правила, или слова, или мысли, но веру в живого, всегда ощущаемого Бога. Прежде он искал его в целях, которые он ставил себе. Это искание цели было только искание Бога; и вдруг он узнал в своем плену не словами, не рассуждениями, но непосредственным чувством, то, что ему давно говорила уже нянюшка: что Бог вот ОН, тут, везде. Он в плену узнал, что Бог в Каратаеве более велик, бесконечен и непостижим, чем в признаваемом масонами Архитекторе вселенной. Он испытал чувство человека, нашедшего искомое у себя под ногами, тогда как он напрягал зрение, глядя далеко от себя. Он всю жизнь свою смотрел туда куда-то, поверх голов окружающих людей, а надо было не напрягать глаз, а только смотреть перед собой»...

«Жизнь есть всё. Жизнь есть Бог, — думал Пьер. — Всё перемещается, и движется, и это движение есть Бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания Божества. Любить жизнь, любить Бога. Труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий».[35])

Прошло более 80-ти лет с того времени, как Толстой поставил последнюю точку к своему роману. «Войну и Мир» продолжают переводить, печатать и читать во всех странах культурного мира. Невольно спрашиваешь себя: почему?

Со времен Толстого техника писания далеко подвинулась вперед, многие события отошли в далекое прошлое, изменились нравы, обычаи, люди достигли

невероятных высот в цивилизации. Почему же роман Толстого все же представляет интерес?

Только потому, что в своем романе Толстой поднимает вопросы вечные. Для Толстого не важны величие и слава Наполеона, освещение историками тех или иных событий. Он ищет правды, своей голой Толстовской правды и не смущается тем, что правда эта не сходится с мнением толпы.

«Последний отъезд великого императора от геройской армии, — пишет Толстой, — представляется нам историками, как что-то великое и гениальное. Даже этот последний поступок бегства, на языке человеческом называемый последнею степенью подлости, которой учится стыдиться каждый ребенок, и этот поступок на языке историков получает оправдание.

Тогда, когда уже невозможно далее растянуть столь эластичные нити исторических рассуждений, когда действие уже явно противно тому, что всё человечество называет добром и даже справедливостью, является у историков спасительное понятие о величии...

И никому в голову не придет, что признание величия, неизмеримого мерой хорошего и дурного, есть только признание своей ничтожности и неизмеримой малости.

Для нас, с данною нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды».[36])

---

1) Фет, А. А. «Мои воспоминания», т. 2, стр. 59.
2) Там же, стр. 88.
3) Там же, стр. 95.
4) Бирюков, П. И. «Биография Л. Н. Толстого», т. 2, стр. 48. (Изд. Лодыжникова).
5) Там же, т. 2, стр. 46.
6) Там же, т. 2, стр. 47.
7) Гусев, Н. Н. «Жизнь Л. Н. Толстого», т. 2, стр. 80.
8) Фет, А. А. «Мои воспоминания», т. 2, стр. 106.
9) Там же, стр. 60.
10) Там же, стр. 175.

[11]) Там же, стр. 196.
[12]) Дневник Л. Н. Толстого от 19 марта 1865 г. Литературное Наследство, т. 37/38, стр. 90.
[13]) Война и Мир, изд. Огиз, т. 3, ч. 1, стр. 4.
[14]) Несколько слов по поводу книги «Война и Мир». Русский Архив, 1868,3. Также: В. Зелинский, Русская критическая литература о произведениях Л. Н. Толстого, ч. 3, стр. 51.
[15]) Цявловский, «Как писался и печатался роман Война и Мир». Толстой и о Толстом, стр. 159. Изд. Госуд. Толст. Музея.
[16] Гусев, Н. Н. «Жизнь Л. Н. Толстого», т. 2, стр. 49.
[17]) Дом гр. Соллогуба на Поварской.
[18]) Письма гр. Л. Н. Толстого к жене, изд. 1913 г., № 45, стр. 51.
[19]) Толстая, С. А. — Письма к Л. Н. Толстому, изд. Academia, № 18, стр. 67.
[20]) Там же, № 19, стр. 69.
[21]) Дневники С. А. Толстой, 1860-1891, изд. Сабашниковых, стр. 94.
[22]) Письма Л. Н. Толстого к жене, № 47, стр. 53.
[23]) Там же, № 51, стр. 60.
[24]) Гусев, Н. Н. «Жизнь Л. Н. Толстого», т. 2, стр. 43.
[25]) Там же, стр. 46.
[26]) Дневники С. А. Толстой, стр. 97.
[27]) Бирюков, П. И. «Биография Л. Н. Толстого», т. 2, стр. 80.
Тоже: Гусев, Н. Н. «Жизнь Л. Н. Толстого», т. 2, стр. 33.
[28]) Война и Мир, Изд. Огиз, 1946 г. т. 1, ч. 3, стр. 289.
[29]) Там же, т. 1, ч. 2, стр. 320.
[30]) Там же, т. 3, ч. 1, стр. 228.
[31]) Там же, т. 1, ч. 3, стр. 269.
[32]) Там же, т. 3, ч. 1, стр. 58-59.
[33]) Там же, т. 2, ч. 2, стр. 387.
[34]) Там же, т. 2, ч. 5, стр. 583.
[35]) Там же, т. 4, ч. 4, стр. 533.
Там же, т. 4, ч. 3, стр. 491.
[36]) Там же, т. 4, ч. 3, стр. 497.

ГЛАВА XXIX

СЕМЬЯ

20 июня 1869 года у Толстых родился четвертый ребенок и его, в честь отца, назвали Львом, хотя, по какому-то странному капризу судьбы, мальчик этот меньше других был похож на своего отца.

Несмотря на то, что дети были еще очень маленькие, характеры их уже определялись. Старший, Сергей, был серьезный, вдумчивый мальчик с голубыми, близорукими глазами, до наивности, правдивый, неповоротливый и робкий. Он не любил оправдываться даже тогда, когда был виноват, и черноглазая, живая Таня командовала им, хотя и была на год моложе. Таня знала, как подойти к англичанке Ханне и выпросить у нее то, что ей нужно было, как понравиться папá, как первой взлезть к нему на плечо, и как выпросить лишние 10 минут у мамá, когда надо было идти спать. Скорее всех она научилась лопотать по-английски, скорее мамá и Сережи, и Ханна обожала ее. А когда Ханна тихим голосом напевала "Home, sweet home", и, вспоминая свою любимую Англию, плакала, Таня ей подпевала и плакала вместе с ней. Голубоглазый, краснощекий Илья был здоровее и толще всех. Он мало болел, любил поесть, редко капризничал и плакал, и мало причинял забот своей матери. Последний, Лев, чуть ли не с самого своего рождения болел. Много бессонных ночей, ухаживая за этим болезненным, нервным ребенком, провела мать над его кроваткой, и благодаря этому, она с какой-то болезненностью привязалась к нему и эта исключительная привязанность осталась у нее на всю жизнь. И лицом и способностями, и своими вкусами в жизни Лев был похож на мать.

За годы женитьбы Толстые изменились и внешне и внутренно. Софья Андреевна уже была опытная, спо-

койная мать, основным интересом которой была семья. Она многому научилась. Она уже умела различать сыпь от золотухи, рассматривая своими близорукими глазами детей, умела поставить им клизму или вó-время дать касторку. Она расширилась, немного пополнела и красота ее была еще выразительнее, чем раньше. Иногда ей бывало обидно, что муж мало входил в интересы детской и не принимал к сердцу того, что у Сережи опять понос, и что Лёля не спал и кричал всю ночь. Но зато все были в полном восторге, когда он возился с детьми. Он поднимал и сажал их на свои сильные плечи, таскал их по комнате, и Таня, уцепившись своими крошечными ручками за его шею, визжала от удовольствия и страха.

Дети росли в здоровой деревенской обстановке. Ханна водила их гулять во всякую погоду, ежедневно обтирала их холодной водой, к ужасу русской няни Марии Афанасьевны — горячую ванну принимали редко — водопровода не было и воду нагревали в чугунах и наливали ведрами.

Толстой любил сажать детей на лошадей. Как только они могли держаться в седле, они уже ездили верхом самостоятельно, но когда они были маленькие, отец сажал их впереди себя на лошадь и летом возил их так купаться на речку Воронку. Зимой катались на коньках. И отец, уча детей, увлекался сам и учился вырезывать на льду фигуры тройки и восьмерки.

В этот период времени Толстой мало писал. Он пробовал, начинал, но быстро бросал, чувствуя, что это не то... Казалось, что выкачав, опустошив себя, отдав всё, что в нем было на создание «Войны и Мира», он не мог начать ничего нового, не отдохнув и не пополнив запаса мыслей. Он жадно искал этой новой умственной и духовной пищи. 30-го августа 1869 года Толстой писал Фету: «Знаете ли, что было для меня нынешнее лето? Неперестающий восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не испытывал. Я выписал все его сочинения и читал и читаю (прочел и Канта). И верно ни

один студент в свой курс не учился так много и столь многого не узнал, как я в нынешнее лето. Не знаю, переменю ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Шопенгауэр — гениальнейший из людей... Не возьметесь ли и вы за перевод его? Мы бы издали вместе. Читая его, мне непостижимо, каким образом может оставаться имя его неизвестным. Объяснение только одно, то самое, которое он так часто повторяет, что, кроме идиотов, на свете почти никого нет».[1])

Но мало того, что Толстой углубился в немецких философов, он читал и литературных классиков: Шекспира, Гёте, Мольера, Пушкина, Гоголя. Одно время Толстой интересовался драматическими произведениями, снова примериваясь писать для театра. Но и это не удалось. Повидимому, время для нового художественного произведения еще не настало. С. А. Толстая в дневнике от декабря 9-го, 1870 года, пишет:

«Сегодня в первый раз начал писать, мне кажется серьезно. Не могу выразить, что делалось у него в голове все время его бездействия... В настоящую минуту Л. сидит с семинаристом в гостиной и берет первый урок греческого языка. Ему вдруг пришла мысль учиться по-гречески. Всё это время бездействия, по-моему умственного отдыха, его очень мучило. Он говорил, что ему совестна его праздность не только передо мною, но перед людьми и перед всеми. Иногда ему казалось, что приходит вдохновение и он радовался. Иногда ему кажется — это находило на него всегда вне дома и вне семьи — что он сойдет с ума, и страх сумасшествия до того делается силен, что после, когда он мне это рассказывал, на меня находил ужас».[2])

Повидимому, в этой записи Софья Андреевна ссылалась на «Арзамасскую тоску», которую Толстой испытал в одну из своих поездок, когда он намеревался купить имение в Пензенской губернии. Кто из нас не знает этой «Арзамасской тоски», когда во время путешествия приходится останавливаться в чужом городе, далеко от своих, в мещанской обстановке гостиницы. По улицам снуют чужие люди, им нет до тебя

дела, и безучастие, и равнодушие их действуют на тебя хуже всякого одиночества.

«Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, — писал Толстой жене, — и со мной было что-то необыкновенное. Было 2 часа ночи, я устал страшно, хотелось спать и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал и никому не дай Бог испытать».[3])

В «Записках сумасшедшего» — неоконченном произведении 80-х годов — Толстой так описывает это ощущение.

«Да что это за глупость, сказал я себе. — Чего я тоскую? чего боюсь? — Меня, — неслышно ответил голос смерти. — Я тут. — Мороз подрал меня по коже. Да, смерти. Она придет, она — вот она, а ее не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал. Тогда бы я боялся, а теперь я не боялся, а видел, чувствовал что смерть наступает, а вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь, а вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно!!»[4])

Впечатление этой жуткой ночи было до такой степени глубоко, что Толстой никогда не мог его забыть. И с тех пор всякое мрачное настроение в семье Толстых всегда называлось «Арзамасской тоской», и Толстой десять лет спустя, в рассказе «Записки сумасшедшего» описал переживания этой ночи.

Занятия греческим языком не были ни дурью, ни прихотью, как Софья Андреевна писала в своем дневнике. Толстой, действительно, самым серьезным образом стал изучать греческий язык.

«Я никогда не пишу, а только учусь, — писал он Фету в декабре 1870 года. — Но как я счастлив, что на меня Бог послал эту дурь. Во-первых, я наслаждаюсь; во-вторых, убедился, что из всего истинно прекрасного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего не знал, как и все (исключая профессоров,

которые хоть и знают, не понимают); в-третьих, тому, что я не пишу и писать дребедени многословной, вроде «Войны», никогда не стану... Ради Бога, объясните мне, почему никто не знает басен Эзопа, ни даже прелестного Ксенофонта, не говорю уже о Платоне, Гомере, которые мне предстоят. Сколько я теперь уже могу судить, Гомер только изгажен нашими, взятыми с немецкого образца, переводами. Пошлое, но невольное сравнение: отварная и дистиллированная вода — и вода из ключа, ломящая зубы, с блеском и солнцем и даже щепками и соринками, от которых она еще чище и свежее... Можете торжествовать: без знания греческого — нет образования».[5])

Греческие классики были источником той живительной «с блеском и солнцем» воды, которая, вливаясь в него, давала ему новые запасы для будущего творчества.

... «Живу в Афинах, — писал Толстой тому же Фету в январе 1871 года, — по ночам во сне говорю по-гречески».[6])

«Льву Николаевичу вздумалось изучить древнегреческий язык, — писал Степан Андреевич Берс в своих воспоминаниях, — и познакомиться с классиками. Я достоверно знаю, что он изучил язык и познакомился с произведениями Геродота в течение трех месяцев, тогда как прежде греческого языка совсем не знал. Побывав тогда в Москве, он посетил покойного профессора Катковского лицея, П. М. Леонтьева, чтобы передать ему свои впечатления о древнегреческой литературе. Леонтьев не хотел верить возможности такого быстрого изучения древнего языка и предложил почитать вместе с ним à livre ouvert. В трех случаях между ними произошло разногласие в переводе. После уяснения дела, профессор признал мнение Льва Николаевича правильным».[7])

Несколько раз за этот промежуток времени Толстой пробовал писать. Одно время он задумал написать роман из времен Петра. Со свойственной ему добросовестностью он принялся изучать материалы

Петровских времен. Возможно, что когда он ближе познакомился с личностью Петра, она оттолкнула его; кроме того, ему трудно было перенестись во времена Петра I, писать языком того времени, и после «Войны и Мира» он, повидимому, не решался опять взять на себя такой колоссальный труд.

12 февраля 1871 года у Толстых родилась вторая дочь. После родов Софья Андреевна сильно болела горячкой, чуть не умерла. Девочку — маленькую и худенькую, с голубыми глазами и широким лбом — назвали Марией. Софья Андреевна устала и от детей, и от своей болезни. Сам Толстой всё время прихварывал, то болели зубы, то ноги. А весной появился сухой, упорный кашель, сильно изнурявший его. Точно тень набежала на отношения Толстых, оба устали, порою раздражались друг на друга. В сущности они, каждый по-своему, были одиноки. Софья Андреевна не находила достаточного сочувствия в муже в своих горестях. Она еще была очень молода, ей хотелось иногда другой, городской жизни, удовольствий, музыки, зрелищ, она скучала без сестры Тани, без ее жизнерадостного беззаботного веселья. Ей надоело сидеть безвыходно в детской, рожать и кормить. Она старалась ближе подойти к мужу, понять его, она любила в нем писателя, любила его художественные вещи и сердцем чувствовала их, но всё же были некоторые стороны его мышления, которые постичь она не могла. Да и были ли люди, которые могли бы угнаться за разносторонностью его мышления, его духовной жизни? Каждая прочитанная книга, были ли то Четьи Минеи или былины, или древне-греческие классики, вызывали в нем рой ему одному понятных мыслей и настроений. Еще в 1865 году, ноября 14, он писал Александре Андреевне Толстой: «Много у нас, писателей, есть тяжелых сторон труда, но зато есть и эта, верно вам неизвестная volupté мысли — читать что-нибудь, понимать одной стороной ума, а другой думать и в самых общих чертах представлять себе целые поэмы, романы, теории философии».[8])

Было несколько друзей, с которыми он делился своими мыслями, но и они, вероятно, не понимали его до конца.

Афанасий Афанасьевич Фет-Шеншин был одним из тех друзей, которые понимали и ценили Толстого-художника, и Толстой часто изливал ему свою душу. Фет был настоящий художник-поэт, хотя наружность его была весьма не поэтическая. Это был большой и тяжелый человек, с окладистой бородой, крупными чертами лица, отвисшей нижней губой и большими ушами — очень некрасивый. Даром речи он не обладал. Каждую фразу Фет начинал от мычания — «ммммммм» — часто останавливался среди рассказа и чем больше волновался, тем чаще речь его прерывалась мычаньем, начинавшимся с глубоких басовых звуков и переходивших к высоким нотам, и обратно, как завыванье, в зависимости от степени его волнения. Фет любил хорошо покушать и жена его, Мария Петровна, уютная, полная женщина, славилась тем, что всегда умела угостить какими-то необыкновенно вкусными кушаньями, разными сладостями, вареньями и соленьями.

Кроме Фета, у Толстого был друг, князь Сергей Семенович Урусов. Повидимому, между Толстым и Урусовым не было особенно глубоких отношений. Урусов был оригинальный человек, во многом не подходивший к общему трафарету, человек необычайной смелости и прямолинейности. «Это был человек очень странный и своеобразный, — писал Илья Толстой в своих воспоминаниях об отце. — Ростом он был почти великан. Во время Севастопольской кампании он командовал полком и, говорят, отличался полным бесстрашием. Он выходил из траншей и, весь в белом, гулял под дождем снарядов и пуль».[9]) А Лев Николаевич, в письме к «Шведским поборникам мира» в 1899 году, передает следующий случай с кн. С. С. Урусовым:

«Я помню, во время осады Севастополя, я сидел раз у адьютанта Сакена, начальника гарнизона, когда в приемную пришел кн. С. С. Урусов, очень храбрый офицер, большой чудак и вместе с тем один из

лучших европейских шахматных игроков того времени. Он сказал, что имеет дело до генерала... Он приходил к Сакену за тем, чтобы предложить вызов англичанам сыграть партию в шахматы на передовую траншею перед 5-м бастионом, несколько раз переходившую из рук в руки и стоившую уже несколько сот жизней».[10])

Может быть, именно эта оригинальность Урусова, его непохожесть на всех остальных людей его круга и нравилась Толстому.

Когда печаталась «Война и Мир», Урусов одно время держал корректуру романа.

Несколько позднее у Толстого завязались очень близкие отношения с Николаем Николаевичем Страховым. Эта дружба продолжалась до самой смерти Николая Николаевича. Страхов — ученый математик, философ, в то время был редактором журнала «Заря».

Николай Николаевич первый оценил «Войну и Мир» и в четырех выпусках журнала «Заря» дал блестящий отзыв о романе. Серьезность и беспристрастность этих статей, в которых Страхов дает «Войне и Миру» восторженный отзыв, были огромной радостью для Толстого.

«Ревниво осматриваем мы наше сокровище, — писал Страхов, — это неожиданное богатство нашей литературы, честь и украшение ее современного периода: нет ли где недостатков? Нет ли пропусков, противоречий? Нет ли каких-нибудь важных несовершенств, за которые мы, конечно, с избытком были бы вознаграждены сильными сторонами «Войны и Мира», но которые нам все-таки больно было бы видеть в этом произведении? Нет, нет ничего, что могло бы помешать полной радости, что смущало бы наш восторг. Все лица выдержаны, все стороны дела схвачены, и художник, до последней сцены не отступил от своего безмерно-широкого плана, не опустил ни одного существенного момента и довел свой труд до конца без всякого признака изменения в тоне, взгляде, в приемах и силе творчества».[11])

«Полная картина человеческой жизни. Полная картина тогдашней России. Полная картина того, что называется борьбой народов. Полная картина того, в чем люди полагают свое счастье и величие, свое горе и унижение. Вот что такое «Война и Мир».[12])

Когда в ноябре 70 года Н. Н. Страхов обратился к Толстому с просьбой дать ему что-нибудь из его писаний для «Зари», Толстому было неприятно ему отказывать, но в это время он уже задумал писать свою «Азбуку» и «Книги для чтения», и ничего художественного не писал, о чем и сообщил Страхову. В этом письме Толстой выражал Страхову свою «сильнейшую симпатию» и просил его заехать к нему в Ясную Поляну, если он будет проезжать по Московско-Курской железной дороге.

Первый раз Страхов посетил Толстых в августе 1871 года, уже после возвращения Льва Николаевича из Самарской губернии, и с тех пор он сделался одним из постоянных посетителей Ясной Поляны.

Николай Николаевич Страхов был одним из редких людей, глубоко понимавших Толстого и, главное, что Толстой всегда чрезвычайно ценил, Страхов беззаветно и по-настоящему любил его. По своим натурам это были два разных человека. Страхов никогда не горячился, не раздражался, слушая пламенные, горячие речи Толстого. Большими, ласковыми глазами смотрел он на своего друга, губы из-под густых усов и бороды чуть кривились в насмешливой и умной улыбке, и он не спеша, с истинным пониманием отвечал Толстому своим тихим, ровным голосом.

С течением времени Страхов все больше и больше входил в интересы Толстого, помогал ему в его работе при составлении его «Азбуки» и «Книг для чтения» и был одним из тех редких ценителей творчества Толстого, к которым он прислушивался.

После долгих уговоров своей жены Толстой, наконец, решил обратить внимание на свое ухудшающееся здоровье и 11 июня 1871 года, со Степаном Берсом, уехал в Самарскую губернию, чтобы полечиться любимым своим средством — кумысом.

Толстой не умел и не любил лечиться, пить кумыс, лежать, отдыхать, и вначале он скучал.

«Я поместился, — писал он жене от 15 июня 1871 года, — в кибитке, купил собаку за 15 рублей и собираюсь с терпением выдержать свой искус. Но ужасно трудно. Тоска, и вопрос: зачем занесло меня сюда, прочь от тебя и детей»...[13])

«Живем в кибитке, — пишет Толстой в следующем письме 18 июня, — пьем кумыс (Степа тоже, все его угощают), но неудобства привели бы в ужас твое Кремлевское сердце: ни кроватей, ни посуды, ни белого хлеба, ни ложек. Так что, глядя на нас, ты бы легче переносила несчастья пережаренной индейки или недосоленного кулича».[14])

Но постепенно Толстой освоился с обстановкой и начал вживаться: он находил какие-то новые интересы, осматривал земли, примериваясь их купить, ходил на охоту, стрелял уток, без конца пил кумыс, ел с башкирами баранину руками, так как никаких вилок и ножей не было, и находил величайшую прелесть в бесконечных просторах степей, поросших ковылем, с пасущимися на них табунами тысяч и тысяч лошадей. Башкиры звали Толстого и везде радушно принимали его: «Куда приезжаешь, — писал Толстой жене 16 июля, — хозяин закалывает жирного курдюцкого барана, становит огромную кадку кумыса, стелет ковры и подушки на полу, сажает на них гостей и не выпускает, пока не съедят его барана и не выпьют его кумыс. Из рук поит гостей и руками (без вилки) в рот кладет гостям баранину и жир, и нельзя его обидеть».[15])

Чем ближе был день отъезда, тем нежнее становились письма Толстого к жене. Он соскучился по ней, по детям и рвался домой. Бездельная растительная жизнь в степях, где он не мог писать, где он даже не читал своих греков, и где он пробовал, для собственного развлечения, рисовать портреты башкирцев — ему надоела. Он писал письма трем старшим детям — Сергею, Тане и Илье, стараясь написать каждому из них то, что было им интересно.

«Письма твои, однако, — писал он жене 16 июля, — мне уже, вероятно, вреднее всех грехов, тем волнением, которое они мне делают». И он кончает это письмо словами: «Сейчас плакать хочется, так тебя люблю».

Софья Андреевна была уверена, что одной из причин переутомления мужа были его занятия греческим языком. В одном из своих писем Софья Андреевна пишет мужу: «Пьешь ли ты кумыс, толстеешь ли и бросил ли ненавистных греков?». А в следующем письме она писала: «Если ты все сидишь над греками, — ты не вылечишься. Они на тебя нагнали эту тоску и равнодушие к жизни настоящей».[16])

«Дня же тебя лишнего не видать я ни за что не просрочу, — писал он в последнем письме от 20 июля. — Так то мне тяжела семейная жизнь! и крики детей, как ты предполагаешь! Жду не дождусь, когда услышу дуэты Лёли и Маши»...

Любовь ли Толстого к степи, башкирцам и к кумысу, страсть ли его к покупке новых имений или желание приобрести какой-то капитал для своей всё разрастающейся семьи, но поездка эта в Самарскую губернию кончилась тем, что Толстой очень выгодно купил 2500 десятин земли в Бузулукском уезде Самарской губернии за 20.000 рублей.

---

[1]) Фет, А. А. «Мои воспоминания», стр. 199.
[2]) Дневники С. А. Толстой 1860-91. Стр. 32. Изд. Собашниковых.
[3]) Письма гр. Л. Н. Толстого к жене, 1862-1910, ред. Грузинского, 1913, № 63, стр. 74.
[4]) Записки сумасшедшего. — Соч. Гр. Л. Н. Толстого, изд. 12-ое, 1911 г., т. XX, стр. 8.
[5]) Фет, А. А. «Мои воспоминания», стр. 225.
[6]) Гусев, Н. Н. «Жизнь Л. Н. Толстого», т. 2, стр. 121.
[7]) С. Берс. Воспоминания о Толстом, стр. 51. — Бирюков, Биография, стр. 186, т. 2.
[8]) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой, изд. Толстов. Музея, 1911 г., № 59, стр. 211.
[9]) Воспоминания Ильи Л. Толстого, стр. 44.
[10]) Полное собр. соч. Госиздат, т. 72, стр. 9.
[11]) Страхов, Н. Н. — Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом, СПбрг, 1885, стр. 342.

[12]) Там же, стр. 348.
[13]) Письма Л. Н. Толстого к жене, № 69, 15 июня 71 г., стр. 69.
[14]) Там же, № 70, 18 июня 1871 г., стр. 82.
[15]) Там же, № 77, 16 июля 1871 г., стр. 93.
[16]) Толстая, С. А., Письма к Л. Н. Толстому, 1862-1910. Изд. Academia. №№ 30 и 31, июня 21 и 28, 1871 г., стр. 98 и 103.

ГЛАВА XXX

«ЗАЧЕМ МЫ ХОТИМ ДАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ НАРОДУ»

Толстой оказался плохим педагогом, когда он занимался со своим собственным сыном Сергеем. Оба нервничали: отец возмущался тупостью сына, а Сережа так старался, так напрягался и боялся не угодить, что окончательно тупел. Занимаясь с сыном, Толстой снова заинтересовался педагогикой. Его поразило несовершенство учебников, убожество книг для чтения.

С тех пор как Толстой прекратил занятия с детьми и издание педагогического журнала, он несколько раз возвращался к мыслям о школе, ему хотелось привести в систему и изложить тот опыт, который был им накоплен в школе в 60-х годах. В сентябре 1868 года Толстого посетил американский консул Скайлер. Разговор коснулся педагогики. В своих воспоминаниях Скайлер писал:

«Что всегда особенно озабочивало его (Толстого) и занимало его внимание — было найти лучшую методу для обучения детей чтению. Он много расспрашивал меня о новых методах, употребляемых в Америке и по его просьбе я мог доставить ему — я думаю благодаря любезности г. Гаррисона из "Nation" — хороший выбор американских начальных и элементарных способов обучения чтению. В одном из них, я помню, что произношение различных гласных и некоторых согласных было представлено наглядно буквами, в общем виде похожими на обыкновенные буквы, но с особенными отличительными переменами, которые тотчас бросались в глаза. Эти книги Толстой пробовал применить при составлении своей Азбуки»...[1])

В архиве имеется записная книжка, дающая представление о кропотливой работе Толстого над азбу-

кой. Так, например, одну страничку Толстой испещрил примитивными рисунками. На букву «В»: «Волки любят овец», и нарисована картинка, как волк гонится за овцой. Следующая буква «Г»: «Грибы нашли», и опять смешной рисунок — три больших гриба и две девочки ищут грибы и т. д.[2]) Но серьезную работу над Азбукой Толстой начал только три года спустя — в сентябре 1871 года, и ушел в нее с головой.

12 января 1872 г. он писал Александре Андреевне Толстой: ... «А писать нечего: внешняя жизнь моя та же, т. е. по изречению les peuples heureux n'ont pas d'histoire. У меня всё также хорошо дома, детей пятеро и работы столько, что всегда нет времени. Пишу я эти последние годы Азбуку и теперь печатаю. Рассказать, что такое для меня этот труд многих лет — Азбука, очень трудно. Нынешней зимой надеюсь прислать вам и тогда вы, по дружбе ко мне, может быть, прочтете. Гордые мечты мои об этой Азбуке вот какие: по этой Азбуке только будут учиться два поколения русских всех детей, от царских до мужицких, и первые впечатления поэтические получат из нее, и что, написав эту Азбуку, мне можно будет спокойно умереть».[3])

В своем предсказании Толстой был отчасти прав, так как, исправленная и сокращенная «Азбука» и «Книги для чтения», сделались излюбленными книгами не только детей, но и преподавателей школ, и расходились эти книги по всей России в миллионах экземпляров.

«Работы всё больше и больше впереди, — писал Толстой Александре Андреевне в апреле 1872 года. — Если бы мне 20 лет тому назад сказали: придумай себе работу на 23 года, я бы все силы ума употребил и не придумал бы работы на три года. А теперь скажите мне, что я буду жить в 10 лицах по сто лет, и мы все не успеем всё переделать, что необходимо. Азбука моя печатается с одного конца, а с другого всё пишется и прибавляется. Эта Азбука одна может дать работы на 100 лет. Для нее нужно знание греческой, индийской, арабской литератур, нужны все естествен-

ные науки, астрономия, физика, и работа над языком ужасная. Надо, чтобы всё было красиво, коротко, просто и, главное, ясно».[4])

Первая, неисправленная «Азбука» составлена следующим образом: 1 часть — Алфавит, обучение чтению и письму; 2) Книга для чтения; 3) Обучение церковно-славянскому языку по особой системе, придуманной Толстым: отрывки из Четьи Миней, Библии, Ветхого и Нового Заветов, Молитвы; Арифметика — цифры по древнеславянскому, римскому и арабскому правописанию.

Рассказы, помещенные Толстым в его книгах, интересны и художественны, иногда полны глубокого содержания, но без предвзятого морализирования. Мораль, как таковая, не преподавалась, как это делается в японской школе, где мораль один из главнейших предметов. Так, например, в японских начальных книгах помещены рассказы с моралью о том, что надо выпустить птичку из неволи, помочь больной соседке и т. п., а в университетах переходят к преподаванию философии Конфуция, Лао Тзе и других великих дальневосточных мудрецов. Из рассказов, собранных Толстым, нравственная правда вытекает естественно, сама собой. Начитанность Толстого, его увлечение греческим языком пригодились ему; он припомнил и поместил всё, что произвело на него впечатление: русские сказки, «Архиерей и Разбойник» из романа Виктора Гюго "Les Misérables", басни Эзопа, кое-что из Плутарха, индийских, турецких и арабских сказок, одна сказка Андерсена, два значительных и много мелких рассказов самого Толстого. Два больших рассказа, это: «Кавказский Пленник» и «Бог правду видит, да не скоро скажет», чрезвычайно глубокие по своему внутреннему содержанию. Оба они и до сих пор читаются детьми с захватывающим интересом. «Кавказский Пленник» был помещен в журнале «Заря», редактировавшемся Н. Н. Страховым, и обратил внимание критиков своей художественной законченностью. Неизвестный автор в газете «Всемирная Иллюстрация» писал:

«Кавказский Пленник» написан совершенно особым, новым языком. Простота изложения поставлена в нем на первом плане. Нет ни одного лишнего слова, ни одной стилистической прикрасы... Невольно изумляешься этой невероятной, небывалой сдержанности, этому аскетически строгому исполнению взятой на себя задачи рассказать народу интересные для него события «не мудрствуя лукаво». Это подвиг, который, пожалуй, окажется не под силу ни одному из прочих корифеев нашей современной литературы. Художественная простота рассказа доведена до апогея. Дальше идти некуда и перед этой величественной простотой совершенно исчезают и стушевываются самые талантливые попытки в том же роде западных писателей».

... «Если эта книга, которую собирается вскоре издать для сельских школ гр. Л. Н. Толстой, состоит из рассказов, написанных тем же пошибом, как «Кавказский Пленник», то книга эта станет совершенно особо в нашей литературе».[5])

Обучение детей по «Азбуке» должно было идти по способу Толстого, который он назвал буквосложением, а не по новой, принятой уже педагогикой, звуковой методе. Метода эта заключалась в том, что при запоминании алфавита, ученик должен был произносить букву отрывисто, без гласной, что, по мнению Толстого, было чрезвычайно неестественно и трудно. По способу же Толстого буква произносилась с гласной «е» на конце: бе, ве, ге и т. д. и ученик по слуху учился складывать слоги: бе, а - ба, де, а - да и т. д.

В общих замечаниях для учителя, помещенных в конце книги, Толстой лишь уясняет и подчеркивает еще раз те принципы, на которых была основана его школа в начале 60-х годов:

«Для того, чтобы ученик учился хорошо, — пишет он, — нужно чтобы он учился охотно; для того, чтобы он учился охотно, нужно:

1) чтобы то, чему учат ученика, было понятно и занимательно и

2) чтобы душевные силы его были в самых выгодных условиях.

...Для того, чтобы душевные силы ученика были в наивыгоднейших условиях, нужно:

1) чтобы не было новых, непривычных предметов и лиц там, где он учится.

2) Чтобы ученик не стыдился учителей или товарищей.

3) (Очень важное) Чтобы ученик не боялся наказания за дурное учение, т. е. за непонимание. Ум человека может «действовать только тогда, когда он не подавляется внешними влияниями».

Далее Толстой говорит о том, чтобы не переутомлять ученика, а соразмерять его силы и проч.

«Чем легче учителю учить, тем труднее ученику учиться. Чем труднее учителю, тем легче ученику. Чем больше будет учитель сам учиться, обдумывать каждый урок и соразмерять с силами ученика, чем больше будет следить за ходом мысли ученика, чем больше вызывает на ответы и вопросы, тем легче будет учиться ученик».[6])

В преподавании арифметики Толстой также вырабатывает свою собственную систему. Он высказывается против всякого механического способа в решениях задач и требует сознательного отношения ученика к различным арифметическим действиям.

«Я до одурения занимаюсь эти дни окончанием арифметики, — писал он Н. Н. Страхову 7 августа 1872 г. — Умножение и деление кончены и кончаю дроби. Вы будете смеяться надо мною, что я взялся не за свое дело, но мне кажется, что арифметика будет лучшее в книге».[7])

Толстой любил математику и знал ее хорошо.

Чтобы проверить правильность своей теории, Толстой, с января 1872 года, снова открывает у себя школу. Он не только учит детей, но и собирает учителей со всей округи, чтобы показать им на деле способ своего обучения грамоте.

«Когда мне было шесть лет, — пишет Илья Толстой в своих воспоминаниях, — я помню, как папа

учил деревенских ребят. Их учили в «том доме». «Тот дом» — был флигель, где у Толстого была школа в 60-х годах, а иногда и в нашем доме, внизу. Деревенские ребята приходили к нам и их было очень много. Когда они приходили, в передней пахло полушубками, и учили их всех вместе и папа, и Сережа, и Таня, и дядя Костя (двоюродный дядя С. А. Толстой). Во время уроков бывало очень весело и оживленно.

Дети вели себя совсем свободно, сидели где кто хотел, перебегали с места на место и отвечали на вопросы не каждый в отдельности, а все вместе, перебивая друг друга и общими силами припоминая прочитанное. Если один что-нибудь пропускал, сейчас же вскакивал другой, третий, и рассказ или задача восстанавливались сообща.

Папа особенно ценил в своих учениках образность и самобытность их языка. Он никогда не требовал буквального повторения книжных выражений и особенно поощрял все «свое». Т. е. ценил он в преподавателе умение вызвать каждого ученика к творчеству, к выявлению себя, а не попугайского заучивания того, что сказал учитель».[8])

«Таня и Сережа учат довольно порядочно, — писала С. А. своей сестре Кузминской 2 февраля 1872 года, — в неделю уже все знают буквы и склады на слух. Учим мы их внизу, в передней, которая огромная, в маленькой столовой под лестницей и в новом кабинете. Главное то побуждает учить грамоте, что это такая потребность и с таким удовольствием и охотой они учатся все».[9])

Невольно все заражались увлечением Толстого, учили все, сам Толстой, его жена, дети, гости... Несмотря на разницу положения, между барскими и крестьянскими детьми часто завязывалась дружба, которая так и оставалась навсегда между членами семьи Толстого и крестьянскими семьями. Обращались друг к другу на ты, впоследствии Толстые крестили ребят у бывших своих друзей детства.

«У нас всё продолжается школа, — писала Софья Андреевна сестре 10 марта 1873 года, — идет хоро-

шо, ребята детям носят разные деревенские штучки: то деревяшки какие-то, правильно нарезанные, то «жаворонки»,[10]) сделанные из черного теста; после классов таскают Таню на руках, иногда шалят, но почти все выучились читать довольно бойко по складам».

Когда «Азбука» была уже готова, Толстой решил обратиться к своему новому другу Страхову с просьбой помочь ему с печатанием.

«Любезный Николай Николаевич, — писал ему Толстой 19 мая 1872 г. — Великая к вам просьба. Хочется сделать кучу предисловий о том, как мне совестно и т. д., но дело само за себя скажет. Если вам возможно и вы хотите мне сделать большое добро, вы сделаете. Вот в чем дело. Я давно кончил свою Азбуку, отдал печатать, и в четыре месяца печатание не только не кончилось, не началось и, видимо, никогда не начнется и не кончится... Я вздумал теперь взять это от Риса и печатать в Петербурге, где, говорят, больше типографий и они лучше. Возьметесь ли вы наблюдать за этой работой?».[11])

Добрейший и обожавший Толстого Страхов разумеется согласился. «Огромных денег я не жду за книгу, — писал ему Толстой, — и даже уверен, что, хотя и следовало бы, их не будет, первое издание разойдется сейчас же, а потом особенности книги рассердят педагогов, всю книгу растащат по хрестоматиям и книга не пойдет... Имеют свои судьбы книги и авторы чувствуют эти судьбы. Так и вы знаете, что ваша книга хороша, и я это знаю, но вы чувствуете, что она не пойдет. Издавая «Войну и Мир», я знаю, что она полна недостатков, но знаю, что она будет иметь тот самый успех, какой она имела, а теперь вижу очень мало недостатков в «Азбуке», знаю ее огромное преимущество над всеми такими книгами и не жду успеха именно того, какой должна иметь учебная книга».[12])

И действительно, Толстого ждало горькое разочарование. Издание не распродавалось.

«Азбука» не идет, — писал Толстой Страхову 12 ноября 1872 года, — и ее разбранили в «Петербург-

ских Ведомостях» и это меня почти не интересует. Я так уверен, что я воздвиг памятник этой «Азбукой».[13])

Но как ни старался Толстой равнодушно отнестись к неуспеху «Азбуки», на самом деле он был глубоко огорчен. В свою работу он вложил так много энергии, труда, а главное любви, что он не мог не почувствовать «оскорбление и уныние», как он писал, прочитав отрицательные отзывы о своем труде. Кончив «Азбуку», он постарался отрезать, отделить ее от своего существа и вернуться к работе над романом из эпохи Петра I. Но и это не пошло.

Для Толстого это было особенно больно, потому что он всем существом своим чувствовал, понимал то, чего не понимали педагоги, ученые... У них знания были теоретические, знания, приобретавшиеся по литературе, отношение к крестьянству было сверху вниз. Мы, ученые, интеллигенты, должны нести свои знания, свой опыт, свое умение в народ, эту темную, некультурную массу. Толстой же думал, что передавая им свои знания, мы прежде всего должны давать то, что ему, народу, нужно и одновременно должны учиться сами у народа, который во многих отношениях стоял выше своих учителей: знанием практической жизни, работоспособностью, терпением, религиозностью, смиренномудрием и даже чистотой художественного творчества, как он писал в свое статье 1862 года «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят». Толстой знал, что крестьянские дети не выносили никакой фальши, никакого прилаживания или сладких интеллигентских слов и, прислушиваясь к этим народным требованиям, он старался дать им подлинное, классическое по своей мудрости и простоте, творчество и знание.

Когда в 1873 году обратились к Толстому с просьбой помочь в издании журнала «Русский Рабочий», Толстой ответил отказом.

«Я потому только мало сочувствую народному журналу, что я слишком ему сочувствую: я убежден, что те, которые за него возьмутся, будут à cent lieues от того, что нужно для народа. Мои требова-

ния, льщу себя надеждою, одинаковые с требованием народа», — писал он.[14])

Были еще две попытки Толстого вложить свою лепту в дело народного образования.

15 января 1874 года Толстой выступил в Московском Комитете Грамотности с защитой своего способа обучения грамоте. Там же он предложил произвести опыты: соревнования в двух московских школах. В одной школе велось обучение по звуковому методу, а в другой, по методу Толстого. Толстой сам не принимал в этом опыте участия, но уроки проводил учитель — ученик Толстого, Морозов. Опыты эти не удались и защитники той и другой системы остались каждый при своем мнении.

В декабре 1874 года Толстой писал другу своему Александрин Толстой:

...«Я теперь весь из отвлеченной педагогики перескочил в практическое, с одной стороны, и в самое отвлеченное, с другой стороны, дело школ в нашем уезде. И полюбил опять, как 14 лет тому назад, эти тысячи ребятишек, с которыми я имею дело.

Я у всех спрашиваю, зачем мы хотим дать образование народу и есть пять ответов. Скажите при случае ваш ответ. А мой вот какой: я не рассуждаю, но когда я вхожу в школу и вижу эту толпу оборванных, грязных, худых детей с их светлыми глазами и так часто ангельскими выражениями, на меня находит тревога, ужас, в роде того, как испытывал бы при виде тонущих людей. Ах, батюшки, как бы вытащить, и кого прежде, кого после вытащить. И тонет тут самое дорогое, именно то духовное, которое так часто бросается в глаза в детях. Я хочу образования для народа только для того, чтобы спасти тех, тонущих там Пушкиных, Остроградских, Филаретов, Ломоносовых. А они кишат в каждой школе. И дело у меня идет хорошо. Я вижу, что делаю дело, и двигаюсь вперед гораздо быстрее, чем ожидал».[15])

В 1874 году осенью Толстой поместил в «Отечественных записках» статью «О народном образовании»,

написанную в форме письма к Председателю Московского Комитета Грамотности Шатилову. В ней он подробно излагает свой взгляд на народное образование и способ преподавания грамотности по своему методу — буквосложения.

«Народ, — писал Толстой, — главное заинтересованное лицо и судья, и ухом не ведет теперь, слушая наши более или менее остроумные предположения о том, какими манерами лучше приготовить для него духовное кушанье образования; ему все равно, потому что он твердо знает, что в великом деле своего умственного развития он не сделает ложного шага и не примет того, что дурно, — и, как к стене горох будут попытки по-немецки образовывать, направлять и учить его».[16])

Последняя попытка Толстого внести свой вклад в дело народного образования была сделана уже в 1876 году. Толстой мечтал создать крестьянскую учительскую семинарию, «университет в лаптях», как он выражался, где подготовлялись бы учителя-крестьяне, могущие ближе подойти к крестьянским детям. Ходатайство Толстого, поданное министру народного просвещения об открытии такого учебного заведения, было удовлетворено. Тульская губернская управа пошла Толстому навстречу, казалось дело налаживалось, но дойдя до уездных управ оно застряло и так и не кончилось ничем.

Толстой сократил свою Азбуку и она была издана под заглавием «Новая Азбука» и четыре «Книги для чтения». Они имели большой успех и оказались ценным вкладом в мир детской литературы. Сотни тысяч русских детей обучались грамоте по Толстовской Азбуке и детские чуткие сердца с трепетом воспринимали те истинно художественные перлы литературного творчества, в которые Толстой вложил столько любви и силы своего созидательного гения.

Вот как отозвался об этом труде С. А. Рачинский, посвятивший всю свою жизнь обучению кре-

стьянских детей в тех школах, которые он, в тех же 70-х годах прошлого столетия, создавал в Смоленской губернии. Он пишет Толстому 20 марта 1877 года:

«Вы мне оказываете такое благодеяние тем, что Вы существуете, что я не могу, от времени до времени, не поблагодарить Вас за это обстоятельство»...

«Понимаете ли Вы теперь, за что я Вас благодарю. Знаете ли Вы, какие сокровища Ваши азбуки. Ваши книги для чтения. Но Вы не можете этого знать. Ваши импровизации в школе, пожалуй, еще лучше того, что Вы напечатали, и всё это Вам кажется очень естественным. Поверьте, что в Ваших школьных книгах есть та же доля сверхестественного, т. е. творчества par la grâce de Dieu, как и в лучших Ваших романах. Нет в мире литературы, которая могла бы похвалиться чем либо подобным»...[17])

И в другом письме от 19 июня 1886 года он говорит:

«До нас дошли Ваши последние два рассказа («Где любовь, там и Бог» и «Два старика»). Вчера я прочел их моим ребятам (я живу в школе, и летом окружен ребятами, взрослыми). Да наградит Вас Бог. Но Вы уже награждены. Вы не можете не чувствовать сами, какое Вы делаете великое, доброе дело, как, на склоне Ваших лет, растут и светлеют Ваши исполинские художественные силы... Ради Христа, продолжайте, тем же тихим, чистым тоном. Последние два рассказа лучше даже блистательного «Чем люди живы». Исчезли все следы художественного procédé. Остался только «блеск правды». Это — верх искусства»...[18])

---

[1]) Скайлер, Евгений, Воспоминания. Гр. Л. Н. Толстой. — «Русская Старина», октябрь, 1890, стр. 268.

[2]) Гусев, Н. Н. «Жизнь Л. Н. Толстого», т. 2, стр. 129.

[3]) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой, № 70, 12 янв. 1872, стр. 229.

[4]) Там же, № 72, апр. 1872, стр. 232.

[5]) Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, № 21, 4-5 мая 1875, стр. 64.

[6]) Бирюков, П. И. — Л. Н. Толстой. Биография. Изд Посредника, т. 2, стр. 117.

[7]) Общие замечания для учителя. — Полн. собр. соч. Изд. Сытина, 1913, т. 13, стр. 225.

[8]) Толстой, Илья Л. — Мои воспоминания, стр. 14.

[9]) Бирюков, П. И. — Биография Л. Н. Толстого. Т. 2, стр. 112.

[10]) Там же, стр. 112.

[11]) Там же, стр. 116.

[12]) Там же, стр. 118.

[13]) Там же, стр. 119.

[14]) Об издании народного журнала. — Полное собр. соч. Изд. Сытина, 1913 г., т. 13, стр. 226.

[15]) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой, № 88, декабрь 1874, стр. 258.

[16]) «Отечественные Записки», сент. 1874, № 9. — Тоже: «О народном образовании». Полн. собр. соч. Изд. Сытина, М. 1913, т. 13, стр. 276.

[17]) Письма Толстого и к Толстому, стр. 216. Юбил. Сборн. Труды Пуб. Биб-ки СССР имени Ленина. М. ГИЗ. 1928.

[18]) Там же, стр. 239.

ГЛАВА XXXI

«НАЧИНАЕТ НАХОДИТЬ ЭТА ДУРЬ»

Несколько важных событий совершилось за то время, как Толстой был погружен в свою «Азбуку», которая, как он писал А. А. Толстой, «печатается с одного конца, а с другого все пишется и прибавляется».[1])

Толстой сделал к дому большую пристройку в два этажа. В нижнем поместилась просторная передняя и большая комната с каменным балконом — его кабинет; наверху — большая комната с тремя окнами с каждой стороны, выходившими на юго-запад и на юго-восток. Эта комната одновременно служила и гостиной и столовой для семьи Толстых, и называлась «залой». Пристройка эта была сделана основательно — такие же толстые стены, как и в основной части дома, паркетные полы, от которых дети пришли в восторг, потому что когда их натерли воском, по ним можно было скользить, как по льду. Калориферная печь внизу, в «лакейской», отапливала верхний этаж горячим воздухом. Кабинет был разгорожен пополам книжными полками, в середине перегородки дверь, над дверью перекладина. В свой кабинет Толстой поставил свой письменный стол, кожаную мебель, кожаный диван, на котором рожались все его дети, а в нише, в углублении, стоял бюст его любимого старшего брата Николая. Илья Толстой так описывает эту комнату в своих воспоминаниях.

«На стенах оленьи рога, привезенные отцом с Кавказа, и одна оленья голова, набитая в виде чучела. На эти рога он вешает полотенце и шляпу. Тут же на стене висят портреты Диккенса, Шопенгауэра, Фета в молодости и известная группа писателей из кружка «Современника» 1856 года. На ней Тургенев, Ост-

ровский, Гончаров, Григорович, Дружинин и отец, совсем еще молодой, без бороды, в офицерском мундире».[2])

Здесь, в этом кабинете, Толстой был отделен от общей шумной жизни семьи. Из окон, через лужайку, поверх деревьев парка, спускающегося вниз к прудам, виднелись поля, мелькали поезда только что проведенной железной дороги. Толстой радовался на свою новую постройку, как радовался хорошей молодой лошади, удачной охоте, посаженному им молодому яблочному саду.

Но, как всегда в жизни, радости чередовались с огорчениями. Летом 1872 года, в то время как Толстой ездил в Самарскую губернию, чтобы наладить хозяйство во вновь купленном им имении, в Ясной Поляне случилась беда: молодой бык на смерть забодал пастуха. Судебный следователь взял с Толстого подписку о невыезде, предстоял суд. Чувствуя себя не виноватым, Толстой рвал и метал, возмущался, сердился, собирался писать об этом в газетах и сгоряча решил даже эмигрировать заграницу.

«Неожиданно, негаданно на меня обрушилось событие, изменившее всю мою жизнь, — писал Толстой Александрин, сентября 18, 1872 г. — Молодой бык в Ясной Поляне убил пастуха и я под следствием, под арестом — не могу выходить из дома (все это по произволу мальчика, называемого судебным следователем), и на днях должен обвиняться и защищаться в суде — перед кем?.. С седой бородой, с 6-ю детьми, с сознанием полезной и трудовой жизни, с твердой уверенностью, что я не могу быть виновным...

... Для того, чтобы жизнь в Англии была приятна, — пишет он далее, — нужны знакомства с хорошими аристократическими семействами. В этом-то вы можете помочь мне и об этом я прошу вас. Пожалуйста, сделайте это для меня. Если у вас нет таких знакомых, вы, наверное, сделаете это через ваших друзей. Два, три письма, которые открыли бы нам двери хорошего английского круга. Это необходимо для детей, которым придется там вырасти. Когда мы

сдем, я еще ничего не знаю, потому что меня могут промучить, сколько им угодно... Тяжелее для меня всего — это злость моя. Я так люблю любить, а теперь не могу не злиться. Я читаю и Отче наш, и 37-ой псалом и на минуту, особенно Отче наш, успокаивает меня, и потом я опять киплю и ничего делать, думать не могу...»[3])

Но дело уладилось, Толстой успокоился и ему, как это всегда бывало после таких припадков раздражения и вспыльчивости — стало стыдно.

«Вы спрашиваете о деле быка, — писал он А. А. Толстой осенью 1872 года. — Оно кончилось тем, что следователь ошибся, обвинив меня... Немножко в оправдание себя скажу вам еще то, что в последнее время, кончив свою Азбуку, я начал писать ту большую (я не люблю называть романом), о которой я давно мечтаю. А когда начинает находить эта дурь, как прекрасно называл Пушкин, делаешься особенно ощутителен на грубость жизни. Представьте себе человека, в совершенной темноте прислушивающегося к шорохам и вглядывающегося в просветы мрака, которому вдруг под носом пустят вонючие бенгальские огни и сыграют на фальшивых трубах марш. Очень мучительно. Теперь я опять в тишине и темноте слушаю и гляжу, и если бы я мог описать сотую долю того, что я слышу и вижу! Это большое наслаждение»...[4])

Еще 24 февраля 1870 года Софья Андреевна писала в автобиографических записях: «Вчера вечером он (Толстой) мне сказал, что ему представился тип женщины замужней, из высшего общества, но потерявшей себя. Он говорил, что задача его сделать эту женщину только жалкой и не виноватой, и что как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины».[5]) На следующий день Толстой сделал первый набросок «Анны Карениной»...

Но, как видно, не созрела еще эта жемчужина его творчества и он спрятал ее обратно в свою сокровищницу-копилку. Он «слушал и смотрел».

В январе 1872 года покончила с собой Анна Степановна Пирогова, сожительница Александра Николаевича Бибикова, ближайшего соседа Толстых.

18 января С. А. Толстая пишет сестре Тане: ... «Еще у нас тут в Ясенках случилась драматическая история. Ты помнишь у Бибикова Анну Степановну. Ну вот, Анна Степановна ревновала к Бибикову всех гувернанток... Анна Степановна бросилась под вагоны, и ее поезд раздавил до смерти».[6])

Прошло больше года, трагический случай с Анной стал забываться, но обворожительный образ другой Анны уже родился в воображении Толстого. Может быть, уже тогда он знал всю жизнь и трагический конец ее, когда она, Анна, «откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон».

19 марта 1873 года, неожиданно для жены, может быть даже для самого себя, Толстой начал писать новый роман.

«Вчера вечером», — писала Софья Андреевна в своих «Записях», — Л. мне вдруг говорит: «А я написал полтора листочка и, кажется, хорошо». Думая, что это новая попытка писать из времен Петра Великого, я не обратила большого внимания. Но потом я узнала, что начал он писать роман из частной и современной эпохи».[7]) И дальше Софья Андреевна рассказывает, как это случилось.

Старший сын Сережа все приставал к матери, чтобы она дала ему что-нибудь почитать тетеньке Татьяне Александровне. Она дала ему «Повести Белкина» Пушкина. Тетенька скоро заснула и книга осталась лежать на окне. Утром Толстой стал перелистывать книгу и увлекся ею: «Многому я учусь у Пушкина, — сказал он, — он мой отец, у него надо учиться».

В семье Толстых часто вспоминали этот эпизод и рассказывали, что Толстой, прочитавши первую строчку неоконченного отрывка Пушкина, «Гости съезжались на дачу», пришел в восторг, спустился к себе в кабинет и начал повесть «Анну Каренину» словами: «Все смешалось в доме Облонских». На самом деле это не так. Роман в первом наброске начинался со

слов еще более близких к Пушкину: «Гости после оперы съезжались к молодой княгине Врасской»... Это превратилось в дальнейшем в начало 6-ой главы 2-ой части романа.[8]) Второе же предложение окончательной редакции начала романа: «Все смешалось в доме Облонских», только лишний раз убеждает нас в влиянии Пушкина на творчество Толстого. «Сила Пушкина, — говорил Толстой, — в том, что он сразу, без лишних слов, лишних описаний вводил читателя в жизнь, в действие».[9])

Он начал писать Анну Каренину в середине марта, а около 16 мая он писал Страхову, что «роман Анна Каренина вчерне готов».

Мы знаем, как действовала на Толстого весна. Каждый год до глубокой старости, вместе с весной в Толстом пробуждалась жажда жизни, творческая сила, жизнерадостность. «Весна. Вечер. — писал он в записной книжке. Разорванные на заре тучи. Тихо, глухо, сыро, темно, пахуче, лиловый оттенок... Скотина лохматая, из-под зимних лохмотьев светятся полянки перелинявших мест»...

Для тех, кто знает и любит деревню, эти скупые, отрывочные слова дают целую картину, колышат рой воспоминаний. Краткость и сочность формы изображения природы напоминают однострочные японские «танки» (четверостишие).

Май: «Лист на березе во весь рост, как платочек нежный. Голубые пригорки незабудок, желтые поля свербигуса... Пчела серо-черная гудит и вьется и впивается. Лопухи, крапива, рожь в трубке, лезет по часам. Примрозы желтые. На острых травках, на кончиках, радуги на росе. Пашут под гречу. Черно, странно. Бабы тренькают пеньку и стелят (на траве) серые холсты. Песни соловьев, кукушки и баб по вечерам»...[10])

И Толстой, настежь открыв дверь на свой каменный балкон, в сад, откуда врывались струи свежего, насыщенного ароматом цветов, весеннего воздуха, писал свою «Анну», писал запоем два месяца и, также неожиданно, как начал — бросил ее.

Этим летом Толстые уехали в свое новое Самарское имение. Софья Андреевна побаивалась диких самарских степей, но Толстому так хотелось ехать и он так заботливо старался как можно удобнее устроить жизнь своей семьи в Самарской губернии, что Софья Андреевна согласилась и они все двинулись, с гувернантками, гувернерами и слугами, вниз по Волге, в свое новое имение. За предыдущие поездки, когда Толстой так близко жил с башкирцами, он полюбил их и они относились к нему с большим уважением.

«К чему занесла меня судьба туда, не знаю, — писал он Фету. — Но знаю, что я слушал речи в английском парламенте (ведь это считается очень важным), и мне скучно и ничтожно было; но что там — мухи, нечистота, мужики башкирцы, и я с напряженным уважением, страхом, вслушиваюсь, вглядываюсь и чувствую, что это очень важно».[11])

Ни внешняя грубость, грязь, неграмотность, ничто не могло уничтожить глубокого уважения и любви Толстого к простому народу. Думаю, что если бы он дал волю своему гневу на русское правительство и переехал бы в Европу — он, оторванный от этой внутренней красоты, самобытности, благообразия народа — зачах бы, как чахнут растения на чужой почве.

Последние годы в Самарской губернии были плохими, три года под ряд была засуха — неурожай, и населению грозил голод. Толстому было не до писания романа. Надо было спасать людей.

Объездив всю округу по радиусу 70 верст, Толстой убедился в серьезности надвигающегося бедствия и решил немедленно же написать письмо в редакцию «Московских Ведомостей» с призывом о помощи голодающим.

«Крестьянин, — писал он, — несмотря на то, что сеет и жнет, более всех других христиан живет по евангельскому слову: «Птицы небесные не сеют, не жнут, и Отец Небесный питает их». Крестьянин твердо верит в то, что при его вечном, тяжком труде и самых малых потребностях Отец его Небесный пропитает его, и потому не учитывает себя, и когда придет

такой, как нынешний, бедственный год, он только покорно нагибает голову и говорит: «Прогневали Бога, видно за грехи наши!»

...«В 9/10 семей, — писал дальше Толстой, — недостает хлеба. Что же делают крестьяне? Во-первых, они будут мешать в хлеб дешевую и потому не питательную и вредную лебеду, мякину (как мне говорили, в некоторых местах уже начали делать); во-вторых, сильные члены семьи, крестьяне, уйдут осенью или зимой на заработки, и от голода будут страдать старики, женщины, изнуренные родами и кормлением, и дети. Они будут умирать»...[12])

Было собрано деньгами на голодающих Самарской губернии за 1873-1874 гг. 1.887.000 рублей и 21 тысяча пудов хлеба.

Когда в 1874 году Толстой снова поехал в Самарскую губернию, крестьяне уже вздохнули от голода, так как урожай был хороший.

Весной 1873 года Толстые остро пережили, вместе с сестрой Таней, ее первое большое горе— смерть ее старшей дочери Даши. А осенью того же года им самим пришлось пережить первую потерю в своей семье. Умер младший, полуторагодовалый сын Петр. «9 ноября, — писала Софья Андреевна в своем дневнике 11 ноября 1873 года, — в 9 часов утра умер мой маленький Петюшка болезнью горла. Болел он двое суток, умер тихо. Кормила его год и два с половиной месяца, жил он с 13 июня 1872 года. Был здоровый, светлый, веселый мальчик».[13])

«Похоронили мы Петю за часовней, где лежат родители Лёвочки, — писала Софья Андреевна своей сестре, — и теперь огородили место для всех нас чугунной решёткой*). Был очень морозный и ясный день и, так же, как Дашечку, и его освещало солнце, и его волосики золотистые так и остались у меня в памяти, освещенные солнцем в окно церкви».[14])

Матери всегда тяжелее потеря маленького ребенка, чем отцу. Кто, кроме матери, может ощутить

---

*) Село Кочаки, в трех верстах от усадьбы Ясной Поляны.

эту неразрывную физическую связь с своим ребенком? Мать, прислушивающаяся к зарождающейся жизни в своем существе, выкармливающая это теплое, живое существо у своей груди, жадно следящая за мельчайшими индивидуальными его проявлениями, за мутными, постепенно приобретающими осмысленное выражение глазками, за ростом нежных, как шелк, волосиков; кто, как не мать, с беспокойной радостью следит за первыми нетвердыми шагами своего младенца и каким-то необъяснимым чутьем угадывает смысл его первого непонятного лепета. Для нее, для матери — ее будущее сливается с будущим ее ребенка... И вдруг — холодное, каменное тельце... увозится, закапывается где-то у стены церкви и маленький бугорок превратится в одну из могил, занесенную безжалостным снежным покровом.

В письме к Фету Толстой писал: «Утешаться можно, что если бы выбирать одного из нас восьмерых, эта смерть легче всех и для всех: но сердце, и особенно материнское, — это удивительное проявление Божества на земле, — не рассуждает, и жена очень горюет».[15])

Толстой писал Анну Каренину с большими перерывами. 25 сентября он писал Фету: «Я начинаю писать, т. е. скорее кончаю начатый роман».[16]) Повидимому в то время он даже и не представлял себе той громадной работы, которая предстояла ему впоследствии.

Во время писания Толстому нужен был полный покой, сосредоточение. Малейшее нарушение внешней обстановки — нарушало его рабочее настроение. И когда в Ясную Поляну приехал знаменитый художник Крамской, которому Третьяковская галлерея поручила написать его портрет — он был недоволен. Он не любил позировать. Но согласился по настоятельной просьбе самого Крамского и Софьи Андреевны, которая настояла на том, чтобы Крамской сделал два портрета — один для галлереи, другой для Толстых.

Портрет удался. Художник сумел схватить сходство, передать силу, мощь некрасивого лица, глубоко сидящих и проницательных глаз, прямо смотрящих на вас из-под густых бровей, и могучее спокойствие всей

фигуры в серой блузе, подпоясанной кожаным ремнем.*)

В середине февраля 1874 года Толстой сообщает своему другу Страхову, что первая часть романа готова к печати. Известие это вызвало восторг со стороны Страхова.

«Дело, которое совершается в Ясной Поляне, — писал он, — до того важно и для меня драгоценно, что я боюсь чего-то, как бывало боишься и не веришь, что женщина тебя любит. Но вы пишите, что всё готово; ради Бога берегите же рукопись и не сдавайте ее в типографию. Не поверю своему счастью, пока не увижу печатных строк»[17])

Повидимому, уже к тому времени Толстой обдумал конец Анны, так как в июле 1874 года Страхов ему пишет: «Ваш роман не выходит у меня из головы... Развитие страсти Карениной — диво дивное... Что касается до меня, то внутренняя история страсти — главное дело и всё объясняет. Анна убивает себя с эгоистической мыслью, служа всё той же своей страсти, это неизбежный исход, логический вывод из того направления, которое взято с самого начала. Ах, как это сильно, как неотразимо ясно!»[18])

С момента сближения Страхова с Толстым, Николай Николаевич не пропускал ни одного слова им написанного. С величайшим вниманием, тонко, с любовью подмечал он малейшие оттенки и изгибы душевной и умственной жизни своего друга. В Страхове Толстой, наконец, нашел чуткого, умного ценителя своего творчества.

20 июня 1874 года семья Толстых снова пережила большую потерю: скончалась тетенька Татьяна Александровна...

«Вчера я похоронил тетушку Татьяну Александровну, — писал Толстой Александрин 23 июня 1874 года... — Она была чудесное существо. Вчера, когда мы

---

*) Портрет этот до сих пор находится в Ясной Поляне, в зале дома-музея.

несли ее через деревню, нас у каждого двора останавливали: мужик или баба подходили к попу, давали деньги и просили отслужить литию, и прощались с ней. И я знал, знал, что каждая остановка — это было воспоминание о многих добрых делах, ею сделанных. Она 50 лет жила тут и не только зла, но неприятного не сделала никому. А боялась смерти: не говорила, что боится, но я видел, что боялась. Что это значит? Я думаю, что это смирение. Я с ней жил всю свою жизнь и мне жутко без нее».[19])

Стоит вспомнить одинокое детство и юность Толстого, его жизнь до женитьбы, чтобы понять, чем была для него тетушка Татьяна Александровна. Не было бы тетеньки, кто позаботился бы о сиротах после отца? Кто ежедневно молился бы о Лёвочке, писал бы ему письма, полные любви и ласки в то время, как он был на войне? Кто создал бы ему уют, когда он вернулся и холостяком жил в Ясной Поляне?

Толстой до глубокой старости любил вспоминать тетеньку.

«Как я мог пожалеть для нее сладенького, забывать ее или сердиться на нее? Когда она умерла, мне было невыразимо больно, что я недостаточно внимательно относился к ней при жизни», — говорил он.

После Пети, 22 апреля 1874 года, у Толстых родился сын, которого в память Николая Николаевича Толстого назвали Николаем. Прожил он всего 10 месяцев и умер от водянки. И эта смерть так же, как и смерть Пети, сильно подействовала на Софью Андреевну.

«Унылая апатия, — писала она в дневнике, — равнодушие ко всему, и нынче, завтра, месяцы, годы — всё то же и то же. Проснешься утром и не встаешь».

Ее мучила мысль о бесцельности ношения, кормления детей, весь этот труд, болезни... Зачем? Смерть казалась ей бессмысленно жестокой, никому не нужной. Ей стало всё, всё равно...

«Что меня подымет, что ждет меня? — писала она дальше. — Вечером то же вышивание дырочек и веч-

ное, ненавистное для меня раскладывание пасьянсов тетеньки с Лёвочкой. Чтение доставляет короткое удовольствие, но много ли хороших книг?»

«Видит Бог, — пишет она дальше, — как я нынешний год боролась с этой постыдной скукой, как я одна, в душе, поднимала в себе всё хорошее и вооружалась главной мыслью, что для детей, для их нравственного и физического здоровья самое лучшее — деревенская жизнь, и мне удавалось утишить свои личные, эгоистические чувства, но я к ужасу своему вижу, что это переходит в такую страшную апатию и такое животное, тупое ровнодушие ко всему»...[20])

Жить всецело интересами своего мужа — она не могла. Она старалась интересоваться его делами: и Самарским имением, и школой, которой он был особенно занят зимой 1874 года, его писанием и усердно переписывала его рукописи. Но всё это было е г о. Е е дело были дети, она потеряла двоих, и она устала носить и кормить. Порой ей бывало бесконечно тоскливо в деревне. Хотелось света, музыки, людей...

И в то время, как ему надо было прожить, как он писал, еще 100 жизней, чтобы выполнить задуманное, — она скучала, она не знала, что с собой делать, где, помимо семьи, найти то, что заполнило бы ей жизнь.

Сознавал ли он это? Мог ли он помочь ей? Может быть, и нет. Жизнь для него была так полна, так много было интересов и дела, что он не мог понять и представить себе, если бы и захотел, почему она ощущала эту пустоту.

---

[1]) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. № 72, апр. 1872, стр. 233.

[2]) Толстой, Илья Л. «Мои воспоминания», стр. 42.

[3]) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. № 74, 18 сент. 1872, стр. 235.

[4]) Там же, № 77, осень 1872, стр. 241.

[5]) Дневники С. А. Толстой, 1860-91. Изд. Собашникова, стр. 32.

[6]) Бирюков, П. И. Биография Л. Н. Толстого, т. 2, стр. 220.

[7]) Дневники С. А. Толстой, 19 марта 1873, стр. 35-36.

[8]) Гудзий, Н. К. — История писания и печатания Анны Карениной. Полн. собр. соч. Госиздат, т. 20, стр. 577.

[9]) Там же.
[10]) Записная книжка 1873 г. Бирюков. Биография... т. 2, стр. 215.
[11]) Фет, А. А. «Мои воспоминания», стр. 309.
[12]) «Моск. Вед.», 17 авг. 1873 г. Бирюков, Биография... т. 2, стр. 201.
[13]) Дневники С. А. Толстой, 11 ноября 1873, стр. 105.
[14]) Архив Кузминской.
[15]) Фет А. А. «Мои воспоминания», стр. 282.
[16]) Там же, стр. 281.
[17]) Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, № 12, стр. 41.
[18]) Там же, № 15, стр. 48.
[19]) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой, № 83, 23 июня 1874 г., стр. 250.
[20]) Дневники С. А. Толстой, 12 окт. 1875, стр. 106.

ГЛАВА XXXII

ХУДОЖНИК ИЛИ МОРАЛИСТ?

В конце января 1875 года появилось объявление в «Московских Ведомостях» о выходе романа Толстого «Анна Каренина» в № 1 «Русского Вестника», от I до XIV глав.

Несмотря на блестящие отзывы критиков, поощрения его друзей, восторженные отзывы Н. Н. Страхова, Толстому временами хотелось бросить свой роман.

22 февраля 1875 г. он писал Фету: «Вы хвалите «Каренину», мне это очень приятно, да и как я слышу, ее хвалят, но наверное никогда не было писателя столь равнодушного к своему успеху, si succès il y a, как я».[1])

Нередко в письмах к друзьям он жаловался, что Каренина ему противна, надоела.

«Я два месяца не пачкал рук чернилами и сердца мыслями, — писал он Фету 26 августа 1875 года, — теперь же берусь за скучную, пошлую А. Каренину с одним желанием: скорее опростать себе место — досуг для других занятий, но только не педагогических, которые люблю, но хочу бросить. Они слишком много берут времени».[2])

Почти в тех же выражениях он писал Страхову, — ему нужно «опростать место», иметь «досуг».

Прочтенная им первая книга Вл. Соловьева «Кризис западной философии. Против позитивистов» была еще одним толчком, взбудоражившим его собственные мысли.

«Мое знакомство с философом Соловьевым очень много дало мне нового, очень расшевелило во мне философские дрожжи и много утвердило и уяснило мне мои самые нужные для остатка жизни и смерти мысли, которые для меня так утешительны, что если

бы я имел время и умел, я бы постарался передать и другим».[3])

Это были мысли о Боге, о душе, о смерти, о смысле жизни, то, к чему он постоянно возвращался, что с годами все глубже и глубже в нем вкоренялось и то, что, спустя несколько лет, захватило его целиком и сделалось основой его миросозерцания.

Толстой часто находил ответы на свои вопросы в народе. Простые слова, сказанные неграмотным рабочим Федором Левину-Толстому, произвели целую бурю в его душе. «Люди разные, — сказал Федор, — один человек только для нужды своей живет, брюхо набивает», а другой «правдивый... для души живет, Бога помнит».[4])

Ту глубину, которую Толстой усмотрел за этими обыкновенными словами Федора, вызвали в нем тот же восторг, что и философия Шопенгауэра, Канта, Паскаля...

Левин-Толстой «чувствовал в своей душе что-то новое и с наслаждением ощупывал это новое, не зная еще, что это такое».

«Не для нужд своих жить, а для Бога. Для какого Бога? И что можно сказать бессмысленнее того, что он сказал. Он сказал, что не надо жить для своих нужд, т. е. что не надо жить для того, что мы понимаем, к чему нас влечет, чего нам хочется, а надо жить для чего-то непонятного, для Бога, которого никто ни понять, ни определить не может. И что же? Я не понял этих бессмысленных слов Федора? А, поняв, усумнился в их справедливости? нашел их глупыми, неясными, неточными?

Нет, я понял его и совершенно так, как он понимает, понял вполне и яснее, чем я понимаю что-нибудь в жизни, и никогда в жизни не сомневался и не могу усумниться в этом. И не я один, а все, весь мир одно это вполне понимают и в одном этом не сомневаются и всегда согласны.

А я искал чудес, жалел, что не видал чуда, которое бы убедило меня. Чудо материальное соблазнило бы меня. А вот чудо, единственно возможное, посто-

янно существующее, со всех сторон окружающее меня, и я не замечал его!»[2])

Описывая переживания Левина, Толстой писал про себя. Он «чувствовал» и «нащупывал», но мысли его и его мировоззрение не приняли еще определенных форм. Глубочайшие религиозно-философские мысли еще перемешивались с житейскими заботами: мыслями об увеличении состояния, желанием, чтобы дети сносились с аристократическими семьями, с неоправданными вспышками гнева и порой даже с чисто мальчишескими затеями.

Летом 1875 года Толстые опять уехали в Самарское имение. Толстого влекла к себе вольная, дикая жизнь полукочевых монгольских племен с их особыми нравами и обычаями, широкие горизонты, простор степей, поросших мягким ковылем, особая порода киргизских, с густыми гривами и хвостами, низкорослых лошадей. Ему нравилась горячность, сила и резвость этих степняков и он даже подумывал завести в своем имении конный завод, скрещивая степняков с рысаками.

Толстой так увлекся лошадьми, что к великому восторгу населения и детей Толстых, придумал устроить скачки.

Оповестили население и в назначенный день со всей округи стали съезжаться гости с своими кочевками,[6]) котлами, баранами и бочками кумыса: местные крестьяне, киргизы, башкиры в халатах, в чистых белых рубахах и шароварах, барашковых шапках, фесках и мягких кожаных сапожках. Четырех знатных магометанских женщин, лица которых, по обычаю, должны были быть закрыты, привезли на праздник в графской карете.

Вся эта толпа в несколько тысяч человек, расстелив ковры, живописными, пестрыми группами чинно расположилась на возвышении, откуда видны были скачки. Заунывное восточное пение, игра на дудочках, пляска чередовались с борьбой. По кругу в пять верст пущены были 22 лучшие лошади. Но только четыре пришли, остальные отстали. Победителям торжественно преподнесли призы: часы с портретом Государя,

халат, шелковые платки. Через два дня все разъехались, довольные и веселые. Все обошлось как нельзя лучше, без всяких неприятностей и без всякой помощи полиции, чем Толстой был очень доволен.

Вернувшись из Самарской губернии, Толстой не сразу взялся за свою Анну. Софья Андреевна писала сестре от 26 августа, что «Лёвочка налаживается писать».

«Тот Толстой, который пишет романы, еще не приежал, и я его ожидаю не с особенным нетерпением», — писал он Фету в октябре.[7])

Он никак не мог заставить себя засесть за роман.

«Страшная вещь наша работа, — писал он Фету несколько дней спустя. — Кроме нас, никто этого не знает. Для того, чтобы работать, нужно, чтобы выросли под ногами подмостки. И эти подмостки зависят не от тебя. Если станешь работать без подмосток, только потратишь материал и завалишь без толку такие стены, которые и продолжать нельзя. Особенно это чувствуется, когда работа начата. Всё кажется: отчего же не продолжать? Хвать, похвать, недостают руки, и сидишь, дожидаешься. Так и сидел я. Теперь, кажется, подросли подмостки, и засучиваю рукава».[8])

И, как всегда, в сооружении этих подмостков, необходимых Толстому для построения его здания, тонкими, меткими замечаниями, поощряющими его к писанию, более чем кто-либо, помогал ему Н. Н. Страхов.

«Вы не моралист, — писал ему Страхов 23 ноября 1875 года, — вы истинный художник... Искусство часто упрекали в безнравственности, и справедливо упрекали. Искусство воспевает страсти, красоту жизни и потому-то оно всегда есть спутник наслаждений... Но когда Вы начинаете создавать образы, то у вас является бесконечная, несравненная чуткость относительно их нравственного смысла; Вы судья, — в одно время и беспощадно проницательный, и совершенно милостивый, умеющий всё оценить в надлежащую меру»...[9])

Но писать этой осенью Толстому не удалось. Софья Андреевна тяжко заболела воспалением брюшины, едва успев оправиться от коклюша, которым заразилась от детей.

При виде страданий близких Толстой терялся, мучился, метался из угла в угол и не знал, что делать. А Софья Андреевна, как последствие своих болезней, 1-го ноября преждевременно родила девочку. Ее едва успели окрестить, дав ей имя Варвары.

Наконец, казалось, жизнь стала входить в нормальную колею, но еще одна смерть посетила семью Толстых. 22 декабря умерла родная тетушка Толстого — Пелагея Ильинична Юшкова, бывшая опекунша братьев Толстых. Старушка жила в монастыре и точно почувствовав приближение смерти, в том же году приехала умирать к своим. Невольно сталкиваясь в собственной семье со смертью, которая за последние годы унесла трех его детей и двух тетушек, Толстой стал все чаще и чаще о ней задумываться. Потеря тетушки Пелагеи Ильиничны лично мало огорчила его, он никогда не был с ней особенно близок, но в этой смерти его поразило другое — отсутствие смирения, боязнь конца, непокорность воле Божьей. Его самого мучила «тайна смерти», как он писал в Анне Карениной, описывая смерть брата Николая. «Еще менее, чем прежде, он чувствовал себя способным понять смысл смерти, и еще ужаснее представлялась ему ее неизбежность».

«Ничего не остается в жизни, как умирать. Это я чувствую беспрестанно», — писал он брату Сергею 21 февраля 1876 года. И он «беспрестанно» возвращался к этим же мыслям.

«Вы говорите, — писал он Александре Андреевне Толстой 6 апреля 1876 года, — что не знаете, во что я верую. Странно и страшно сказать: ни во что из того, чему учит нас религия; а вместе с тем, я не только ненавижу и презираю неверие, но не вижу никакой возможности жить без веры, и еще меньше возможности умереть. И я строю себе понемножку свои верования, но они все, хотя и тверды, но очень неопреде-

ленны и неутешительны. Когда ум спрашивает, — они отвечают хорошо; но когда сердце болит и просит ответа, то нет поддержки и утешения. Я с своими требованиями ума и ответами, даваемыми христианской религией, нахожусь в положении двух рук, которые стремились бы сложиться, но упираются пальцами. Я желаю, и чем больше стараюсь, тем хуже; а вместе с тем знаю, что это можно, что одно сделано для другого».[10])

Только в середине зимы Толстой вернулся к писанию своего романа. Он должен был кончать. Первая часть уже была напечатана в первых четырех книжках «Русского вестника» за 1875 год и только в январе 1876 года «Анна Каренина» снова появилась в журнале.

«Я очень занят Карениной, — писал Толстой Страхову от 15 февраля 1876 г. — Первая книга суха, да и, кажется, плоха, но нынче уже посылаю корректуры 2-ой книги, и это, я знаю, что хорошо».[11])

В марте 1876 г. Толстой писал Александрин: «Моя Анна надоела мне, как горькая редька. Я с ней вожусь, как с воспитанницей, которая оказалась дурного характера; но не говорите мне про нее дурного, или, если хотите, то с ménagement, она всё-таки усыновлена».[12])

Несомненно, что то обстоятельство, что Толстой связал себя с «Русским вестником» и стал печатать роман не закончивши его — было психологической ошибкой. Он не мог, по всегдашней своей привычке, исправить напечатанного, и эта связанность мешала ему.

В начале апреля он писал Н. Н. Страхову: «Я со страхом чувствую, что перехожу на летнее состояние: мне противно то, что я написал, и теперь у меня лежат корректуры на апрельскую книжку, и боюсь, что не буду в силах поправить их. Всё в них скверно, и всё надо переделать, и переделать всё, что напечатано, и всё перемарать, и всё бросить, и отречься, и сказать: виноват, впредь не буду, и постараться написать что-нибудь новое, уже не такое нескладное, ни то ни сёмное. Вот в какое я прихожу состояние, и это

очень приятно... И не хвалите мой роман. Паскаль завел себе пояс с гвоздями, который он пожимал локтями всякий раз, как чувствовал, что похвала его радует. Мне надо завести такой пояс. Докажите мне искреннюю дружбу: или ничего не пишите про мой роман, или напишите мне только всё, что в нем дурно. И если правда то, что я подозреваю, что я слабею, то, пожалуйста, напишите мне. Мерзкая наша писательская должность — развращающая. У каждого писателя есть своя атмосфера хвалителей, которую он осторожно носит вокруг себя и не может иметь понятия о своем значении и о времени упадка. Мне бы хотелось не заблуждаться и не развращаться дальше. Пожалуйста помогите мне в этом. И не стесняйтесь только, что вы строгим осуждением можете помешать деятельности человека, имевшего талант. Гораздо легче остановиться на «Войне и Мире», чем писать «Часы»*) или т. п.»[13])

«Анна Каренина кажется стала», — с огорчением писала Софья Андреевна своему дяде К. А. Иславину. Она все еще не могла оправиться от своих болезней — кашляла, худела. Смерти трех детей морально подкосили ее здоровый организм. Если бы Толстой снова начал писать, у нее было бы занятие — переписка, и она немного отвлеклась бы от своего горя. Пессимизм, свойственный ее характеру, усилился, ей всё было трудно, через силу заставляла она себя заниматься с детьми, не раздражаться на них.

В начале июня Толстой повез жену в Москву к доктору. Но доктор не нашел ничего серьезного и постепенно здоровье ее стало восстанавливаться.

По обыкновению, летом Толстой почти не писал. Читал, рассуждал о философских вопросах с Н. Н. Страховым, часто приезжавшим в Ясную Поляну, ездил в Самарскую и Оренбургскую губернии покупать лошадей и только в сентябре месяце опять срочно засел в Ясной Поляне, ожидая вдохновения.

---

*) «Часы» — рассказ И. С. Тургенева, написанный в 1850 году.

«Приехав из Самары и Оренбурга вот скоро два месяца (я сделал чудесную поездку), — писал он Страхову 12 ноября, — я думал что возьмусь за работу, окончу давящую меня работу — окончание романа — и возьмусь за новое, и вдруг вместо этого всего — ничего не сделал. Сплю духовно и не могу проснуться. Нездоровится, уныние. Отчаяние в своих силах. Что мне суждено судьбою, не знаю, но доживать жизнь без уважения к ней — а уважение к ней дается только известного рода трудом — мучительно. Думать даже — и к тому нет энергии. Или совсем худо или сон перед хорошим периодом работы».[14])

И действительно, в конце ноября Толстой снова начал усиленно писать и в середине декабря повез в Москву последующие главы Анны для декабрьской книжки.

Во время своего пребывания в Москве Толстой несколько раз заходил к П. И. Чайковскому.

«Я ужасно польщен и горд тем интересом, который ему внушаю, — писал Чайковский А. Давыдовой 23 декабря 1876 г., — и со своей стороны совершенно очарован его идеальной личностью».[15])

По словам брата Петра Ильича, Чайковский почти боготворил Толстого. «Впечатлительности и воображению Петра Ильича, — пишет его брат, — свойственно было всему, что он любил, но чего не осязал, придавать фантастические размеры, поэтому творец «Детства и отрочества», «Казаков» и «Войны и Мира» ему представлялся не человеком, а, по его выражению, «полубогом».[16]) И, вместе с тем, Чайковский боялся Толстого: «Мне казалось, — писал он в своем дневнике от 1886 года, — что этот величайший серцеведец одним взглядом проникает во все тайники моей души. Перед ним, казалось мне, уже нельзя скрыть всю дрянь, имеющуюся на дне души, и выставлять лишь казовую сторону».[17])

Чайковский просил Николая Рубинштейна (директора Московской консерватории) устроить специальный музыкальный вечер для Толстого.

Мы знаем, какое впечатление производила на Толстого хорошая музыка. То, что он испытывал было гораздо сложнее, чем простое наслаждение. Музыка проникала в самые глубокие тайники его души, она потрясала всё его существо, взрывая подчас ему самому неведомые, затаенные в нем источники мыслей и чувств. Волны восторга, радости и страха утерять эти секунды почти божественного подъема заливали его душу, спирали дыханье, хотелось одновременно и плакать и смеяться, и сейчас же, не теряя ни одной минуты самому творить, создавать что-то большое, им одним постигаемое...

«О том, что происходило для меня в круглой зале, я не могу вспоминать без содрогания», — писал Чайковскому Толстой из Ясной Поляны.[18])

А Чайковский записал в своем дневнике:

«Может быть, никогда в жизни я не был так польщен и тронут в моем авторском самолюбии, как когда Лев Толстой, слушая анданте моего квартета и сидя прямо со мной, залился слезами».[19])

В том же письме Толстой благодарил Чайковского и просил передать его благодарность Рубинштейну, а также и то прекрасное впечатление, которое на него произвел весь музыкальный кружок, с которым он встретился. Одновременно с этим Толстой послал Чайковскому сборник народных песен, прося их использовать для своей музыки. Чайковский ответил Толстому утонченно вежливым письмом, раскритиковал сборник и на этом отношения оборвались.

9 декабря 1876 года Софья Андреевна писала своей сестре Тане: «Анну Каренину мы пишем, наконец, по-настоящему, т. е. не прерываясь. Лёвочка оживленный и сосредоточенный, всякий день прибавляет по целой главе, я усиленно переписываю и теперь даже под этим письмом лежат готовые листочки новой главы, которую он вчера написал».[20])

Последняя часть Анны Карениной печаталась в первых четырех книжках «Русского вестника». Но тут произошло недоразумение между редактором журна-

ла Катковым и Толстым, по поводу Сербского восстания.

Как это часто бывало, Толстой пошел против течения и считал ненужным, чтобы русские добровольцы шли воевать против турок.

«Такого непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть»,[21]) — сказал Левин-Толстой, доказывая, что масса русского народа не может интересоваться войной сербов с Турцией.

Катков требовал изменения написанного.

«Оказывается, — писал Толстой Н. Н. Страхову 22 мая 1877 года из Ясной Поляны, — что Катков не разделяет моих взглядов, что и не может быть иначе, так как я осуждаю именно таких людей, как он, и мямля, учтиво просил смягчить то, выпустить это. Ужасно мне надоело и я уже заявил им, что если они не напечатают в таком виде, как я хочу, то вовсе не напечатаю у них...»[22]) И, по совету Страхова, Толстой решил выпустить последнюю 8-ую часть романа отдельным изданием.

Роман был закончен, и успех его был действительно огромный. Об «Анне Карениной» заговорили, как в Москве, так и в Петербурге и, как всегда, его хвалили и критиковали.

Толстой не хотел поддаваться развращающему влиянию похвалы. Он старался не забывать паскалевского пояса с гвоздями и когда вó-время спохватывался, то старался мысленно его нажимать... Весной Страхов послал Толстому хвалебные статьи об Анне — он не стал их читать и сжег.

Но несмотря на это, в письме к Н. Н. Страхову он писал, что «успех последнего отрывка «Анны Карениной», признаюсь, порадовал меня. Я этого никак не ожидал».[23])

Тургенев с нетерпением ждал выхода романа и, по прочтении, поспешил поделиться с другими литераторами своим мнением: «Анна Каренина мне не нравится, — писал он поэту Полонскому, — хотя попадаются истинно великолепные страницы (скачка,

косьба, охота). Но все это кисло, пахнет Москвой, старой девой, славянщиной, дворянщиной и т. д.»[24])

Между тем Достоевский писал: «Анна Каренина есть совершенство, как художественное произведение... с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравняться».[25]

Нечего говорить о восторженных отзывах друзей Толстого, Страхова и Фета. Последний в длинном письме к Толстому, говоря об романе, писал: «Но какая художницкая дерзость — описание родов. Ведь это никто от сотворения мира не делал и не сделает. Дураки кричат о реализме Флобера, а тут всё идеально. Я так и подпрыгнул, когда дочитал до двух дыр в мир духовный, в Нирвану. Эти два видимых и таинственных окна: рождение и смерть. Но куда им до этого!»...[26])

7 мая 1877 г. Страхов писал Толстому: «О выходе каждой части «Карениной» в газетах извещают так же поспешно и толкуют так же усердно, как о новой битве или новом изречении Бисмарка».[27])

А в письме от 18 мая Страхов писал Толстому: «Последняя часть «Анны Карениной» произвела особенно сильное впечатление, настоящий взрыв. Достоевский машет руками и называет вас богом искусства».[28])

Часто читатели задают себе вопрос: кто — кто? в романах Толстого. Как всегда, герои Толстого — характеры собирательные, зародившиеся в его воображении из нескольких типов, которых он встречал в жизни, и дополненные его воображением. Анну Каренину Толстой встретил на одном вечере в 1868 году. «Кто она?» спросил он у Тани Кузминской. Это оказалась дочь Пушкина, М. А. Гартунг. Ее породистость, привлекательность, милые завитки на затылке, красота — поразили его. К образу М. А. Гартунг примешались еще черты других женщин, может быть Дьяковой-Оболенской, к которой в свое время он был неравнодушен, и других.

Стива Облонский напоминает Леонида Оболенского, мужа Лизаньки, дочери Марии Николаевны Тол-

стой — то же легкомыслие, бесшабашность, мотовство, но наружностью и характером Стива больше напоминал приятеля Толстого — Перфильева, веселого бонвивана.

Николай Левин, с его сожительницей Машей, его болезнь и смерть ярко напоминают нам брата Толстого Димитрия.

Образ Кити, описание первых родов, сцена в лесу, где Кити с ребенком застала гроза — всё это взято из жизни Толстых.

Но, может быть, более чем в каком-либо другом произведении Толстого мы чувствуем его самого в его герое Константине Левине. Взгляд его на жизнь, увлечение хозяйством, желание помочь крестьянам, отрицательное отношение к земствам, ревность к жене, увлечение переселенческим движением, волновавшим Толстого и которому он приписывал большое значение — всё это несомненно черты автобиографические.

Но главное сходство — это искание Левиным того миросозерцания, которого в то время так мучительно искал автор Анны Карениной.

В последних, почти заключительных словах «Анны Карениной» ярко выявлены переживания Левина-Толстого:

«Уже совсем стемнело, и на юге, куда он смотрел, не было туч. Тучи стояли с противной стороны. Оттуда вспыхивала молния и слышался дальний гром. Левин прислушивался к равномерно падающим с лип в саду каплям и смотрел на знакомый ему треугольник звезд и на проходящий в середине его млечный путь с его разветвлением. При каждой вспышке молнии не только млечный путь, но и яркие звезды исчезали, но как только потухала молния, опять, как будто брошенные какой-то меткой рукой, появлялись на тех же местах.

«Ну что же смущает меня?» сказал себе Левин, вперед чувствуя, что разрешение его сомнений, хотя он не знает еще его, готово в его душе.

«Да, одно очевидное, несомненное проявление Божества — это законы добра, которые явлены миру откровением и которые я чувствую в себе и в признании которых я не то, что соединяюсь, а волей неволей соединен с другими людьми в одно общество верующих, которое называют Церковью».

Искать до самой смерти, искать, постепенно постигая то вечное неизменное, ради чего живет человек, — вот к чему рвалась душа Толстого в эти годы.

«Так же не буду понимать разумом, зачем я молюсь, — писал он в заключительных строчках Анны Карениной, — и буду молиться, — но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее, — не только не бессмысленна, как была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее».[29])

---

1) Фет, А. А. «Мои воспоминания», т. 2, стр. 289.
Гусев, Н. Н. «Летопись...», стр. 221.

2) Фет, А. А. «Мои воспоминания», т. 2, стр. 309.

3) Гусев, Н. Н. «Жизнь Л. Н. Толстого», т. 2, стр. 207. Письмо к Страхову, авг. 1875 г.

4) «Анна Каренина». Полн. собр. соч. Изд. Сытина 1913 г. т. IX, стр. 304.

5) Там же, стр. 305.

6) «Кочевка» — Башкирская кибитка. «Она представляет собой деревянную клетку, имеющую форму приплюснутого полушария. Клетка эта покрывается большими войлоками и имеет деревянную росписную дверцу. Пол заменяет ковыль (трава). Кочевка легко раскладывается и перевозится. Летом в степи это жилище весьма приятно». С. А. Берс. Воспоминания. Бирюков, Биография, т. 2, стр. 188.

7) Гусев, Н. Н. «Жизнь Л. Н. Толстого», т. 2, стр. 207 (письмо Фету, нач. окт. 1875 г.), тоже: Полн. собр. соч. Гос. Изд. т. 60, стр. 618.

8) Там же.

9) Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. № 24, стр. 69.

10) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. № 95, стр. 270.

11) Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. № 28, стр. 77.

12) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. № 91, стр. 263.

13) Письмо к Н. Н. Страхову, 9 апр. 1876 г. Бирюков. Биография, т. 2, стр. 227. Тоже: Полн. собр. соч. Гос. Изд. т. 60, стр. 619.

14) Письмо к Н. Н. Страхову, 12 ноября 1876 г. Полн. собр. соч. Гос. Изд. т. 60.

[15]) Бирюков. Биография, т. 2, стр. 268.
[16]) Там же, стр. 269.
[17]) Там же, стр. 269.
[18]) Там же, стр. 271.
[19]) М. И. Чайковский. «Жизнь П. И. Чайковского», т. 1, стр. 519.
Бирюков. Биография, т. 2, стр. 270.
[20]) Полн. Собр. Соч. Госизд. т. 20.
Бирюков. Биография, т. 2, стр. 222.
[21]) Полн. Собр. Соч. Госизд. т. 19, стр. 388.
[22]) Бирюков. Биография, т. 2, стр. 223.
[23]) Там же, стр. 230.
[24]) Там же, стр. 231. — Собрание писем И. С. Тургенева, стр. 260.
[25]) Там же, стр. 239. — Полн. Собр. Соч. Ф. М. Достоевского, т. 2, стр. 236.
[26]) Литерат. Наследство, т. 37/38, стр. 234.
[27]) Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. № 49, стр. 116.
[28]) Там же, № 50, стр. 117.
[29]) Полн. собр. соч. Госизд. т. 19, стр. 397.

ГЛАВА XXXIII

ИСКАНИЕ

12 апреля 1877 года объявлена была война с Турцией. «Мысль о войне застилает для меня все, — писал Толстой Страхову 9 августа 1877 года. — Не война самая, а вопрос о нашей несостоятельности, который вот, вот должен решиться и о причинах этой несостоятельности, которая мне становится всё яснее и яснее».[1])

Несмотря на внутреннее отвращение к войне, в Толстом всколыхнулись старые дрожжи. Как бывший военный патриот, он страдал от ущемленной гордости, мысль, что русские могут проиграть войну — была для него невыносима. «Чувство мое по отношению к войне перешло уже много фазисов, — писал он Страхову 2 сентября 1877 года, — и теперь для меня очевидно и несомненно, что эта война, кроме обличения, и самого жестокого и гораздо более яркого, чем в 1854 году, не может иметь последствия».[2])

«Лёвочка странно относился к Сербской войне, — писала С. А. Толстая своей сестре Тане. — Он почему-то смотрел не так, как все, а с своей личной, отчасти религиозной точки зрения; теперь он говорит, что настоящая война трогает его».

На протяжении всей жизни Толстого мы замечали, что он часто, с обывательской точки зрения, «странно» относился к разным явлениям жизни и так называемому общественному мнению. Эта черта — критическое отношение к утвердившимся модным течениям — была в нем с самого детства. У «Лёвочки» всегда были какие-то «странности», которым поражались его воспитатели. В юности Толстой, не задумываясь, бросил университет, хотя все его друзья и

братья кончали высшее образование, зная, что без диплома трудно было сделать карьеру. Но Толстого это не беспокоило. Университет не давал ему знаний, которые его интересовали и навязывал ему изучение скучных, не применимых к жизни наук, и он не задумываясь ушел из университета. Странности Толстого замечали его тетушки, братья, военные товарищи по Кавказу и Севастополю, его товарищи по перу, когда приехав в Москву и Петербург Толстой, уже получивший известность своими Севастопольскими рассказами, поражал всех своими резкими, оригинальными суждениями, часто расходившимися с принятым общественным мнением. Даже самые близкие люди не всегда понимали его и приписывали его необычайные суждения желанию рисоваться, поражать собеседников смелостью, оригинальностью взглядов.

Толстой боялся трафаретной пошлости в литературе, избитых форм в образах, вульгарности в музыке, драме, живописи, во всяком искусстве. Художественное творчество для Толстого должно было быть выражением, возбудителем всего ценнейшего, прекрасного, что есть в человечестве. Он пришел бы в ужас от современных кинофильмов, телевизии, радио, того, что заменило чистое искусство в нашей современной жизни: преступные рассказы, изображающие полубезумных злодеев, скандальные истории Холливудских артисток, бесстыдно выставляющих голые тела, обезумевших от бешеных денег, успеха, основанного на падении человеческих нравов... И самое ужасное — вращающаяся в этом гипнозе морального падения молодежь, среди которой только сильные духом способны устоять против охватившего весь мир открытого, признанного разврата.

А гипноз общественный? Его Толстой боялся еще больше. Прикрываясь высокими идеалами свободы, равенства, братства, народного блага, сильные мира сего вовлекли целые народы в братоубийственные войны, революции, междоусобицы. В такие минуты логическое мышление отсутствует — люди ослеплены, они

принимают ложь за правду, подлость за благородство, жестокость, предательство и месть за храбрость.

«Во всем, что составляет жизнь человека, в том, как жить, идти ли убивать людей или не идти, идти ли судить людей, или не идти, воспитывать своих детей так или иначе, — люди нашего мира отдаются безропотно другим людям, которые точно так же, как они сами, не знают, зачем они живут и заставляют других жить так, а не иначе».[3])

Как часто в истории человечества обезумевшая человеческая лавина, не думая, не рассуждая, несется куда-то, сметая всё на своем пути, разрушая жилища, сжигая целые деревни и города, убивая невинных людей. Горе тем, которые стараются удержать безумных — их клеймят изменниками, предателями, хватают, бросают в темницы, придумывают для них изощренные, жесточайшие пытки...

В такие минуты одержимости только немногие твердые духом выдерживают напор человеческого бешеного потока.

Вера в Бога, без которой он не мог уже существовать — была той скалой, за которую уцепился Толстой.

... «Вера в то, какова должна быть жизнь, почерпнута из учения Христа, — писал он в «Исповеди». — Как бы ни гнали этих людей (верующих), как бы ни клеветали на них, но *это единственные люди, не покоряющиеся безропотно всему*, что велят, и потому это — единственные люди нашего мира, живущие не животной, а разумной жизнью, — единственные верующие люди». (курсив мой. А. Т.)[4])

«Для меня вопрос религии такой же вопрос, как для утопающего вопрос о том, за что ему ухватиться, чтобы спастись от неминуемой гибели, которую он чувствует всем существом своим», — писал Толстой Александре Андреевне. «И религия уже года два представляется мне этой возможностью спасения».[5])

Он чувствовал, что путь к спасению — это путь к Богу и он мучительно искал его.

«Вы в первый раз говорите мне о Божестве — Боге, — писал он Фету в апреле 1877 года. — А я уже давно не переставая думаю об этой главной задаче. И если мы не можем так же, как они, думать об этом — то мы обязаны найти как».[6])

И он искал.

Он чувствовал, какая сила веры жила в русском крестьянстве. Вера эта помогала крестьянам переносить и бедность, и болезнь, и учила их безропотно, покоряясь воле Божьей, встречать смерть. Толстой часто выходил на Киевское шоссе, тянущееся из Москвы в Киев и проходящее в $1\frac{1}{2}$ верстах от Ясной Поляны. Здесь он встречал странников-богомольцев, идущих в Киев. Богомольцы эти шли по одиночке или группами, чаще всего в лаптях, с парусиновыми котомками за плечами, в которых хранилось всё их имущество: смена белья, одежды, запасные лапти, евангелие и молитвенник, краюха черного хлеба. Шли они месяцами, останавливаясь по дороге у крестьян, которые редко отказывались их принять. «Божьи люди, — говорили про них крестьяне, — грех не пустить переночевать». И их сажали за стол, наливали им горячих щей, отрезали краюху хлеба. Много невзгод терпели эти богомольцы по пути — заболевали, натирали себе ноги, мокли под дождем, — но ничего не могло поколебать их веру, они готовы были претерпевать все лишения, чтобы только приложиться к киевским святым мощам, помолиться в святых местах. Такие же паломничества были в Иерусалим, и в Троице-Сергиевскую лавру, и в другие святые места.

Что же притягивало этих людей? Толстому надо было не только понять, но и прочувствовать настроения, влекущие этих людей к вере. И он сам стал чаще ходить в церковь и решил поехать в Оптину Пустынь, куда уже некоторое время собирался с Николаем Николаевичем Страховым.

Основанная в XIV веке покаявшимся, по преданию, разбойником, Пустынь привлекала к себе многих знаменитых русских людей и писателей. Ее посещали Гоголь и Достоевский, который описал ее

в своем романе «Братья Карамазовы», философ Владимир Соловьев, поэт Алексей Толстой, там жили и похоронены другие писатели. Льву Толстому суждено было четыре раза посетить эту Обитель, в четвертый и последний раз, когда он перед смертью покинул свой дом.

Тот, кто не знает русских монастырей, вряд ли может себе представить то чувство, которое охватывает при приближении к монастырским стенам. Веками создавался монастырь, веками стекались сюда люди со всей России и, войдя в ограду, вы точно чувствуете наслоение этих веков, вы погружаетесь в старую, патриархальную Русь. Оптина Пустынь славилась с 20-х годов XIX столетия своими старцами. Молитвенники, мудрые аскеты, отрекшиеся от всех мирских благ, старцы влекли к себе всех несчастных, неудовлетворенных жизнью, больных, заблудшихся, ищущих в горе своем слова утешения. И старцы молились утешали, наставляли.

С чувством глубокой надежды Толстой вместе с Н. Н. Страховым поехал в Оптину Пустынь.

Был август месяц. На фоне густой зелени громадного леса, уходящего вглубь на десятки верст, выделялись белые стены, здания и церкви монастыря с голубыми куполами и сверкающими на ярком солнце золотыми крестами. А по эту сторону монастыря расстилались заливные луга, прорезанные неширокой, но полноводной речкой Жиздрой. Моста не было. Паломники, с котомками за плечами, ямщицкие тарантасы с «чистой» публикой, крестьянские телеги, с высоко подбитыми сиденьями из соломы, покрытой веретьями — всё это загромождало открытый паром. С двух сторон парома два монаха в рясках, подпоясанные ремнями, медленно перехватывая из одной руки в другую, тянули толстый канат.

Переехав речку, путник попадал в новый, совершенно обособленный мир.

В то время в Оптиной Пустыне жил знаменитый старец Амвросий, и Толстой надеялся получить от него ту силу веры, которой он так жаждал. Но он не

нашел того, чего искала его душа. Может быть, его не поняли святые отцы, может быть, он сам неправильно подошел к ним, но единственный человек, который произвел на Толстого впечатление, был не сам старец Амвросий, а его келейник, глубоко религиозный и простой человек, отец Пимен, которому показались такими скучными те разговоры, которые он слушал, что он тихо заснул, сидя на своем стуле.

Толстой произвел хорошее впечатление в монастыре. После посещения Оптиной Пустыни одним знакомым Страхова, Николай Николаевич писал Толстому, что тот «привез целую кучу разговоров о вас и даже обо мне. Отцы хвалят вас необыкновенно, находят в вас прекрасную душу. Они приравнивают вас к Гоголю и вспоминают, что тот был ужасно горд своим умом, а у вас вовсе нет этой гордости. Боятся как бы литература не набросилась на вас за восьмую часть (Анны Карениной) и не причинила вам горестей. Меня отец Амвросий назвал «молчуном» и вообще считают, что я закоснел в неверии, а вы гораздо ближе меня к вере. И отец Пимен хвалит нас (он-то говорил о вашей прекрасной душе) — очень было и мне приятно услышать это»...[7])

Толстому этот отзыв о нем святых отцов был приятен. В следующем письме к Страхову он писал: «Если бы научиться у отца Пимена любви и спокойствию». В Оптиной Пустыне Толстой простоял четыре часа у всенощной.

Но Толстой искал разрешения мучивших его вопросов не только в церкви. Ему надо было знать всё то, чего достигли великие мыслители, пророки и мудрецы мира, и он начал их изучать.

На многие вопросы Толстой нашел ответ в "Pensées" Паскаля. Некоторые мысли последнего совпали с мыслями Толстого. «Наше достоинство, — говорит Паскаль, — заключается в мысли. Вот чем мы должны возвышаться, а не пространством и продолжительностью, которых нам не наполнить. Будем же стараться хорошо мыслить; вот начало нравственности».

Толстой читал одного философа за другим, лихорадочно ища ответа на мучившие его вопросы о смысле жизни, о сущности и значении Бога...

«За книги, и те, и другие, не могу вам сказать, как я благодарен, — писал он Страхову 18 декабря 1877 года. — Я уже весь ушел в них, т. е. Штрауса, Ренана, Прудона; Max Müller и Burnouf у меня есть теперь. Одного мне нужно еще — это Канта — этику, «Критику Практического Разума», кажется, но я выписал себе. Над Соловьева статьей я долго ходил, боясь к ней приступить».*) [8])

Но когда он, наконец, решился «приступить» к статье Соловьева, он в письме к Н. Н. Страхову безжалостно раскритиковал ее.

«Оказывается, — писал он, — что основные начала добра бывают (это нашел Соловьев) отвлеченные и положительные, а положительные имеют силу тогда, когда за ними признается основание божественное... надо решить, законны ли те начала, которые не могут быть без Бога, или, наоборот, законны ли те начала, которые без Бога... Я увлекаюсь, — писал он дальше, — высказывая то, что я думаю, и высказываю кажется неясно, но возражение мое Соловьеву и всем философским статьям этого рода остается во всей силе: нельзя, говоря об основных знаниях, вводить понятие божества, как случайный признак, годный для подразделения».[9])

Даже такой преданный и чуткий друг, как Н. Н. Страхов, не мог до самых глубин объять того, что происходило в душе Толстого.

16 августа 1877 года он писал Толстому: «Ваше милое письмо так живо напомнило мне вас, бесценный Лев Николаевич. В эти два месяца я, конечно, лучше узнал вас, чем во все прежние посещения и всё сильнее и сильнее во мне нежность к вам и страх за вас. Я видел, что вы каждый день переживаете то, чего другому достало бы на год, что вы мыслите и чувствуете с удесятеренной силой сравнительно с дру-

*) «Критика Отвлеченных Начал».

гими. Понятно, что вы ищете и не находите спокойствия, что мрачные и раздражающие мысли иногда разрастаются у вас чрезмерно. Средство у вас под руками: живите потише, не отдавайтесь с таким пылом ни музыке, ни писанию, ни даже вашей охоте, которая вас опьяняет и на которой вы гоняетесь не за дупелями и утками, а за мыслями. Переполнение мозга кровью делает человека слишком впечатлительным, через меру раздражительным; итак, не работайте мозгом.

Пишу вам это, а сам думаю, что люблю вас именно за эту бесконечную отзывчивость и за ту неустанную работу, которой вы отдаетесь».[10])

А жизнь в Ясной Поляне шла своим чередом. 6 декабря 1877 года у Толстых родился сын Андрей. Шесть человек детей разного возраста требовали больших забот, внимания и средств. Надо было всех воспитывать, образовывать, нанимать учителей, гувернанток. Толстой старался увеличить свои доходы, покупал земли, пытался поднять хозяйство Ясной Поляны, получить как можно больше денег за свои писания. Толстого в это время избрали губернским гласным, но общественная работа его не увлекала. Главным его отдыхом была охота и он часто один с своей собакой целыми днями ходил по лесам и болотам, стреляя вальдшнепов, уток и дупелей, или, забрав с собой старших мальчиков, Сергея и Илью, ездил с ними по соседним полям, травил лисиц и зайцев.

Но что бы он ни делал, мысли его неизменно возвращались к главному, к вопросам о значении жизни и смерти. «Есть ли в философии какое-нибудь определение религии, кроме того, что это предрассудок, и какая есть форма самого очищенного христианства?» писал он Страхову 27 ноября 1877 года.[11])

И не найдя ответа, Толстой пытался сам написать «Изложение Христианского Катехизиса» и «Определение Религии».

«Мне захотелось изложить в катехизической форме, во что я верю и я попытался. И попытка эта по-

казала мне, как это для меня трудно и — боюсь невозможно», — писал он Страхову.[12])

В своем дневнике от 26 декабря 1877 года Софья Андреевна пишет, что «настроение Л. Н. сильно изменяется с годами. После долгой борьбы неверия и желания веры — он вдруг теперь с осени успокоился. Стал соблюдать посты, ездить в церковь и молиться Богу».

«Я люблю его аргумент, — записывает С. А. того же числа, — который он приводит в пользу христианства всем спорящим о том, что законы — общественные — законы всех коммунистов, социалистов, будто выше христианства... Если бы не было учения христианства, которое вкоренилось веками в нас и на основании которого сложилась вся наша общественная жизнь, то не было бы и законов нравственности, чести, желания распределить блага земные более ровно, желания добра, равенства, которое живет в этих людях».

Тогда еще Софья Андреевна не думала и не гадала, как далеко Толстой уйдет по тому пути, на котором она постепенно, с великими страданиями и душевной болью теряла его.

В начале января 1878 года Толстой порадовал свою жену. Он начал работать над историческим романом из времен Николая I, «Декабристы».

«Со мной происходит нечто похожее на то, когда я писал «Войну и Мир», — сказал мне сейчас Лев Николаевич с какой-то полу-усмешкой, отчасти радостной, отчасти недоверчивой к словам, которые он сказал, — записывает она в своем дневнике от 8 января 1878 года. — И тогда я, собираясь писать о возвратившемся из Сибири декабристе, вернулся сначала к эпохе бунта 14 декабря, потом к детству и молодости людей, участвовавших в этом деле, увлекся войной 12-го года, а так как война 12-го года была в связи с 1805 годом, то и всё сочинение начал с этого времени». Теперь Льва Николаевича заинтересовало время Николая I, а главное Турецкая война 1829 года. Он стал изучать эту эпоху. Изучая ее, заинтере-

совался вступлением Николая Павловича на престол и бунтом 14 декабря...

«И это у меня будет происходить на Олимпе. Николай Павлович со всем этим высшим обществом, как Юпитер с богами, а там, где-нибудь в Иркутске или в Самаре, переселяются мужики, один из участвовавших в истории 14 декабря попадает к этим переселенцам и — простая жизнь в столкновении с высшей».[13])

В Записной книжке, начиная с 13 января 1878 года, мы находим ряд записей Толстого, относящихся к «Декабристам». В этой Записной книжке можно проследить ту громадную работу, которую Толстой намеревался произвести и уже начал по декабристам. Он изучал историю каждого декабриста в отдельности. Запись идет таким образом: среди страницы стоит имя декабриста и дальше идут те сведения, которые Толстому нужны или которые он уже получил о том или ином участнике восстания 14 декабря.

«Рылеев. Родился 96 — отец в связи. Мать отдельно. Манифестация. Последовательность жизни. Год женитьбы. Кто мать? Родство, и т. д.»[14])

Как всегда, Толстой широко задумал свой роман. Переселенческое движение крестьян, встреча декабристов с переселенцами в Сибири, жертвенность семей последовавших за декабристами в Сибирь — всё это должно было переплетаться, захватывая целые области и сферы русской жизни.

В 20-х числах января 1878 года Толстой писал Александре Андреевне: «Я теперь весь погружен в чтение из времен 20-х годов и не могу вам выразить то наслаждение, которое я испытываю, воображая себе это время. Странно и приятно думать, что то время, которое я помню, 30-ые годы — уже история. Так и видишь, что колебание фигур в этой картине прекращается и всё устанавливается в торжественном покое истины и красоты. Я испытываю чувство повара (плохого), который пришел на богатый рынок и, оглядывая эти, к его услугам предлагаемые овощи, мяса и рыбы, мечтает о том, какой бы он сделал обед.

Так и я мечтаю, хотя и знаю, как часто приходится мечтать прекрасно, а потом портить обеды или ничего не делать!»[15])

Толстой видится с декабристами — Свистуновым и Муравьевым-Апостолом, и другими, с их родственниками, изучает целый ряд материалов, ездит сам в Петропавловскую крепость, где декабристы были в заключении. Друзья Толстого: А. А. Толстая, Н. Н. Страхов, В. В. Стасов, М. И. Семевский, В. А. Иславин, М. А. Веневитинов и С. А. Берс доставали Толстому нужные материалы в Петербурге, куда он ездил со специальной целью собрать как можно больше данных о декабристах.

Впечатление, полученное Толстым от Петропавловской крепости, было очень сильное. 14 марта он писал декабристу Свистунову:

«Я был в Петропавловской крепости, и там мне рассказывали, что один из преступников бросился в Неву и потом ел стекло. Не могу выразить того странного и сильного чувства, которое я испытал, зная, что это были вы. Подобное же чувство я испытал там же, когда мне принесли кандалы ручные и ножные 25-го года»...[16])

Как всегда в течение лета, Толстой работал мало, уезжал в свое Самарское имение и только к осени опять принялся за работу. «Лёвочка сегодня говорил, что у него в голове стало ясно, — записывает Софья Андреевна в дневнике 11 ноября, — типы все оживают, он нынче работал и весел, в е р и т в свою работу. Но у него голова болит и он покашливает».[17]) И 16 ноября она снова записывает: «Лёвочка говорит: все мысли, типы, события — всё готово в голове».[18])

Толстой узнал, что в Третьем Отделении в Петербурге хранились секретные дела декабристов, их портреты и вообще материал, который был ценен Толстому. Толстой обратился сначала к Страхову, а потом к А. А. Толстой, чтобы она попыталась достать ему разрешение ознакомиться с этими материалами, но ему было в этом отказано. Можно было добить-

ся разрешения доступа в Третье Отделение только по специальному разрешению Государя.

Одновременно с этой работой в голове Толстого зарождался роман из эпохи XVIII века, главным действующим лицом которого должен был быть изображен брат его бабушки, Василий Николаевич Горчаков, сосланный в Сибирь. Толстой вновь обращается к А. А. Толстой с просьбой помочь ему ознакомиться с секретными архивами министерства юстиции и одновременно пишет прошение в Управление Московского Архива о разрешении ему доступа к архивам.

Но работа не пошла. Написав несколько отрывков к роману из времен Петра I, Толстой всё реже и реже возвращается к этим мыслям и планам. Мы знаем, как трудно было Толстому закончить «Анну Каренину», как мысли его постоянно уходили в другую область — религиозно-философскую. Он не мог написать второй «Войны и Мира» до тех пор, пока он не вырешил основной цели и задачи своего существования: Зачем мы живем? Какой главный смысл нашей жизни? В чем наша вера? и... так что же нам делать?

---

1) Литературное Наследство, № 37/38, стр. 176.
2) Там же, стр. 179.
3) Исповедь. Полн. собр. соч. Изд. 12, т. 13, стр. 169.
4) Исповедь. Там же.
5) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. № 101, стр. 278.
6) Фет, А. А. «Мои воспоминания», стр. 327.
7) Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. № 55, 16 авг. 1877 г. стр. 126.
8) Литературное Наследство, № 37/38, стр. 181.
9) Там же.
10) Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, № 55, стр. 125.
11) Полн. собр. соч. Госизд. т. 17, стр. 781.
12) Бирюков, П. И. «Биография Л. Н. Толстого», т. 2, стр. 322.
13) Полн. собр. соч. Госизд., т. 17, стр. 472.
14) Там же, стр. 453.
15) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой, № 109, стр. 290.
16) Полн. собр. соч. Госизд. т. 17, стр. 482.
17) Дневники С. А. Толстой, 11 ноября 1878 г., стр. 123.
18) Дневники С. А. Толстой, 16 ноября 1878 г., стр. 124.

ГЛАВА XXXIV

«ХВОРЬ»

Большинство людей считает признание своих ошибок — слабостью, а не силой. Ложное самолюбие, боязнь унизиться, показаться смешными, заставляет их оправдываться, выставлять перед людьми свое превосходство, свою непогрешимость. Свойство покаяния, смирения, сознания свой греховности свойственно, к сожалению, лишь немногим.

Толстой не боялся уронить своего достоинства, прося прощения у своего слуги, на которого он сердился, признавая свою неправоту перед учеником в школе, перед женой и собственными детьми, когда был неправ по отношению к ним. Ему было гораздо легче покаяться, чем продолжать жить в враждебной атмосфере, даже если не он один был в этом виноват.

Отношения с Тургеневым давно тяготили его и в один из тех просветленных моментов, которые всё чаще и чаще находили на него, он написал Тургеневу.

«Простите меня, если в чем я был виноват перед вами»,[1]) — писал он ему в Париж весной 1878 года и просил Тургенева всё забыть, сохранив в памяти только одно хорошее, что сближало их в начале их знакомства.

«Получил ваше письмо, — писал Тургенев в ответ, — оно меня очень обрадовало и тронуло. С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне вами руку».[2])

В начале августа, когда семья Толстых только что вернулась из Самарской губернии, Тургенев поспешил приехать в Ясную Поляну. Приезд этот был волнительным событием в семье Толстых. Своей живостью, ярким красноречием, блестящими и остроумными рас-

сказами Тургенев очаровал всех. Повидимому, и сам он остался очень доволен своим посещением.

... «Почувствовал очень ясно, — писал он Толстому, — что жизнь, состарившая нас, прошла и для нас недаром, и что и вы и я — мы оба стали лучше, чем 16 лет тому назад»...[3])

Но несмотря на прожитые годы, на внешнее примирение, оба писателя были по-существу настолько различны, что настоящей дружбы между ними не могло быть. Тургенев оставался тем же эстетом, поклонником запада, романтиком, мало интересующимся религиозно-философскими вопросами; для Толстого же эти вопросы теперь, больше чем когда-либо, составляли основу его жизни. Он пытался поделиться с Тургеневым своими задушевными мыслями, впустить Тургенева в свою святая святых, но Тургенев, не вникнув в душу Толстого, скользнув по поверхности, воспринял настроение Толстого по-своему.

«Тургенев, — писал Толстой Фету, — всё такой же и мы знаем ту степень сближения, которая между нами возможна».[4])

«Радуюсь тому, что вы все физически здоровы, — писал Тургенев Толстому, — и надеюсь, что и умственная ваша хворь, о которой вы пишете, прошла. Мне и она была знакома; иногда она являлась в виде внутреннего брожения перед началом дела; полагаю, что такого рода брожение совершалось и в вас».[5])

Очевидно, Тургенев объяснил «хворь» Толстого, как «муки творчества», испытываемые художником перед зарождением нового произведения, а не как искание Толстым смысла и оправдания нашей земной жизни — искание Бога.

Тургенев понимал и ценил Толстого-художника и, примирившись с ним, не сомневался, что, пользуясь всяким случаем восхвалять произведения Толстого, особенно «Войну и Мир» — он угождал Толстому. То, что Толстой, раз отработав и напечатав свое произведение, позднее не любил возвращаться к нему и то, что в данное время Толстой уже не мог интересоваться романами, Тургенев понять не мог.

Путь человека, ищущего Бога — всегда одинок, вне даже самых близких людей. Жена, Н. Н. Страхов, Фет. Они не могли помочь Толстому. Они могли только улавливать какие-то им доступные, а иногда им присущие мысли и чувства, но они не могли проникать в тайники этого сложного, многогранного существа.

И как всегда в периоды такой усиленно-напряженной деятельности, Толстой прибег к своему дневнику:

«С Богом нельзя иметь дело, вмешивая посредника и зрителя, — пишет он 2-го июня 1878 г., — только с глазу на глаз начинаются настоящие отношения, только когда никто другой не знает и не слышит, Бог слышит тебя»...

«Если я не удовлетворяюсь и, главное, не увлекаюсь изучением частным, — пишет он дальше, — а желаю узнать, понять хоть что-нибудь вполне, я вижу, что я ничего не могу знать, что ум мой для жизни временной, орудие для настоящего знания — игрушка, обман (Паскаль)».

Какие же были те вопросы, на которые Толстой так настойчиво искал ответа: а) «Зачем я живу? б) какая причина моему и всякому существованию? в) какая цель моего и всякого существования? г) что значит и зачем — то раздвоение добра и зла, которые чувствую в себе? д) как мне надо жить? е) что такое смерть? Самое же общее выражение этих вопросов и полное есть: как мне спастись? Я чувствую, что погибаю. Живу и умираю, люблю жизнь и боюсь смерти — как мне спастись?»[6])

... «На меня стали находить минуты сначала недоумения, — писал Толстой в своей «Исповеди», — остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить попрежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и всё в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: зачем? ну, а потом?»[7])

...«Случилось то, что случается с каждым заболевающим смертельною внутреннею болезнью. Сначала появляются ничтожные признаки недомогания, на которые больной не обращает внимания, потом признаки эти повторяются чаще и чаще и сливаются в одно нераздельное по времени страдание. Страдание растет и больной не успеет оглянуться, как уже сознает, что то, что он принимал за недомогание, есть то, что для него значительнее всего в мире, что это — смерть».

...«Я почувствовал, что то, на чем я стоял, подломилось, что мне стоять не на чем, что того, чем я жил, уже нет, что мне нечем жить.

Жизнь моя остановилась...

...Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мое желание, я бы не знал, что сказать. Если есть у меня не желание, а привычки желаний прежних, в тяжелые минуты, то я в трезвые минуты знаю, что это обман, что нечего желать. Даже узнать истину я не мог желать, потому что я догадывался, в чем она состояла. Истина была та, что жизнь есть бессмыслица. Я как будто жил, жил, шел, шел, и пришел к пропасти, я ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме погибели...

...Со мной сделалось то, что я здоровый, счастливый человек, почувствовал, что я не могу более жить, — какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от жизни. Нельзя сказать, чтобы я хотел убить себя.

Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общée хотения... Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни»...[8])

Он бродил по Ясной Поляне, иногда с собакой и ружьем, и все одни и те же мысли преследовали его: придет смерть, и что же? Зачем я живу? «Я сам не знал, чего я хочу, — писал он в «Исповеди». — Я боялся жизни, стремился прочь от нее и, между тем, чего-то еще надеялся от нее». Толстой перестал ходить с ружьем на охоту — он боялся себя, боялся, как он

сам выразился, «чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни».

Иногда он впадал в такое отчаяние, что, глядя на деревянную перегородку, отделявшую его спальню от кабинета, он думал о том, выдержит ли она тяжесть его тела и «прятал от себя шнурок, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами в своей комнате, где каждый вечер бывал один»...[9])

Но разве Толстой мог избрать этот путь — путь слабых? Он знал Бога, хотя и не выбрал еще того пути, по которому он мог ближе и прямее подойти к Нему. Он не мог преступить воли Его, лишая себя жизни, всё величие и красоту которой так сильно он любил. И эта жизненная сила его была безгранична. Он не то, что любил Божий мир, он был слитной частью его.

«Соловьи, лягушки, головастики гудят, — записывает он 12 апреля 79 года в свою записную книжечку. — Трава в лесу на два вершка, цветы одуванчики, медунички и желтые сплошные. Дождь с перемежкой целый день. Местами тепло, местами холодно, как летом».

«Сиверко, пасмурно, — записывает он 3 августа. — Густо стоят светлые копны овсяные по темному овсянищу. Косят два мужика овес, ласточки вьются. У дворов куры в овсянице. Стадо на паханном пару, коегде в жнивах».

13 октября. «Тихо. Туман ходит и падает. Светло, лунно с золотым отливом. Капли висят, сквозят на кончиках почек и спадают на мокрый грифельный лист. Это в лесу. В поле мягко, тихо, слышно, туман ходит и носится полотнами».[10])

А между тем жизнь шла полным ходом. Вырастали дети, разрасталось состояние, початались книги... И это была е г о жизнь, которую он сам построил, е г о семья, которую он окружал лучами своей славы, почетом, довольством... И постепенно всё это, что он создавал сам с такими усилиями — переставало интересовать его. Невольно, по привычке участвуя внешне в этой жизни, он уже внутренно отходил от

нее. Что случилось с Лёвочкой? — спрашивала себя его жена, которую он взял почти девочкой и которая не могла себе представить иной обстановки, чем та, в которой она воспиталась. Что случилось с папа́? — спрашивали дети. Почему он стал другой?

Толстой писал «Исповедь», а жена его огорчалась: «Лёвочка же теперь совсем ушел в свое писание, — писала она сестре Тане в ноябре 1878 года. — У него остановившиеся странные глаза, он почти ничего не разговаривает, совсем стал не от мира сего и о житейских делах решительно не способен думать».[11])

В другом письме она пишет: «Лёвочка все работает, как он выражается, но увы! — он пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и думает до головных болей, и всё это, чтобы показать, как церковь несообразна с учением Евангелия. Едва ли в России найдется десяток людей, которые этим будут интересоваться. Но делать нечего, я одно желаю, чтобы уж он поскорее это кончил и чтобы прошло это, как болезнь».[12])

Но «болезнь» или «недомогание», как Толстой выразился в «Исповеди», не проходили, а становилось всё хуже и хуже. В то время (1877 г.) Толстой пригласил учителем математики к старшим детям, Сергею и Тане, В. И. Алексеева. Алексеев был членом социалистического кружка, человек умный, предприимчивый и прекрасный педагог. Вместе с группой русских, принадлежавших к революционному кружку Чайковского, он ездил в Америку, где они пытались организовать земледельческую коммуну в Канзасе. Но колония в Америке распалась и, вернувшись в Россию, Алексеев очень нуждался. Когда ему предложили место учителя у Толстого, он сомневался брать ли его только потому, что Толстой был «граф». Но очень скоро между «графом» и учителем завязались простые, дружеские отношения. Алексеев, как социалист, отрицал православие и часто между ним и его хозяином происходили длинные споры и беседы на религиозные темы. В то время Толстой не совсем еще отошел

от православной веры, пытаясь в ней найти ответы на мучившие его вопросы.

Летом 1879 года Толстой поехал в Киев.

«Киев очень притягивает меня, — писал он жене 13 июня.[13]) — Всё утро до трех ходил по соборам, пещерам, монахам, и очень недоволен поездкой, — писал он 14 июня. «Не стоило того... В 7 часов пошел опять в Лавру, к схимнику Антонию, и нашел мало поучительного».[14]) Но Толстой не успокоился. В декабре он посетил Тульского архиепископа Никандра. Повидимому беседа их о вере носила душевный характер. Толстой поделился с архиепископом своим желанием раздать всё имущество бедным и идти в монастырь. Но архиепископ, почувствовав вероятно неустановившееся еще настроение Толстого, уговорил его не делать этого, подождать.

У Толстых уже была большая семья. В 1880 году старшему, Сергею, было 17 лет и он готовился в университет; хорошенькой, черноглазой Тане было 16; голубоглазому, добродушному, широкоплечему, рослому Илье, страстному охотнику и лошаднику — сравнялось 14; любимцу матери, очень на нее похожему, черноглазому, тоненькому и нервному Льву было 11; худенькой, мало любимой матерью, некрасивой, с широким, умным лбом и глубоко сидящими, вдумчивыми, серыми отцовскими глазами Маше — было девять. Трехлетний большеголовый, вечно болеющий Андрей требовал постоянных забот матери и она болезненно привязалась к нему; в 1879 году, декабря 20, родился пятый сын — Михаил, спокойный, уравновешенный и здоровый ребенок.

Семь человек детей требовали постоянных забот и Софье Андреевне всё труднее и труднее становится следить за душевными переживаниями своего мужа.

..«Сегодня утром, после дурной ночи с кошмарами и снами, пила чай с Лёвочкой, — писала она в своем дневнике от 24 ноября 78 года. — Это так редко бывает, и мы затеяли длинный философский разговор о значении жизни, о смерти, о религии и т. д. На меня подобные разговоры с Лёвочкой действуют

всегда нравственно успокоительно. Я по-своему найду его мудрость в этих вопросах и найду такие точки, на которых остановлюсь и утешусь во всех сомнениях. Я бы изложила его взгляды, но не могу, особенно теперь, устала и голова болит».[15])

Но такие разговоры бывали редко. Софью Андреевну занимали вопросы: как дальше учить детей? Надо переезжать в город, а для Толстого одна мысль о городской жизни, особенно в том настроении, в котором он находился, — убийственна. Сами дети начинали стремиться к другой жизни. Их тяготила обособленность, оторванность от сверстников. Летом другое дело — приезжает тетя Таня Кузминская со своим многочисленным семейством, в Ясной Поляне оживленно весело, а зимой?

16 нояря 1878 года Софья Андреевна записывает: «Сережа и Таня все мечтают о веселье, и мне жаль, что я им его мало могу доставить, но буду стараться всей душой».

19 нояря она пишет: «Сегодня вечером я играла детям кадриль, и они очень весело плясали, сначала большие, а потом маленькие».[16])

Соня, по-своему, тоже одинока. Разве муж мог понять ее боль за хилого Андрюшу, тяжесть постоянного ношения и кормления детей, желание повеселиться, пожить в большом городе.

Ей грустно, она совсем молодая, ей еще только 35 лет и, так же как ее старшим детям, ей хочется веселья.

«Сижу и жду каждую минуту родов, которые запоздали, — записывает она 18 декабря 1879 года — Новый ребенок наводит уныние, весь горизонт сдвинулся, стало темно, тесно жить на свете. Дети и весь дом в напряженном состоянии: и праздники близки, и роды неопределенны.

К этой записи в дневнике приписка: «Через два дня после этого родился Миша в шесть часов утра 20-го декабря, в 1879 году».[17])

У Софьи Андреевны свой особый мир:

«Андрюше 2 года и 2 месяца, — записывает она в своем дневнике 11 февраля 1880 г., — Мише 7½ недель. Андрюша встал в 7 часов, пил желудёвый кофе с молоком, ночью раз обмочился, оделся в открытую рубашку, тонкую фуфайку канифасовую, лифчик, панталоны, чулки на подвязках»...

«Миша здоров, — пишет она 19-го, — его пеленают, но гуляет он в фуфаечке фланелевой, чепчике и баветке. Моем каждый день, кроме воскресенья, градусов в воде 30. У него частые запоры и приходится ставить клистиры из теплой воды с миндальным маслом»...

«У Андрюши кашель и насморк»...

...«У Миши прорезывается второй зубок»...

...«Молока моего для Миши мало»... и т. д.[18])

И хотя она иногда скучает — жизнь ее полна. Но за последнее время, когда она поднимает свои большие близорукие глаза от пеленок, болезней, детских уроков и устремляет взгляд на него, на своего, ни на кого не похожего, такого близкого и иногда такого далекого мужа — ей становится страшно.

Почему он пишет какие-то странные, никому не нужные рассуждения о религии, почему он не начинает нового романа, такого как «Война и Мир» или «Анна Каренина»? Что с ним, с этим большим, сильным человеком? Почему теперь так редко блестят задором, лаской и весельем его глубоко-сидящие серые глаза? Почему так редко улыбаются губы из-под густых порослей русых усов и бороды?

Что это ? — спрашивала себя Соня. Слава Богу, всё есть, и любящая молодая жена, и дети здоровые, и слава, и довольство... Он здоров, силен, ему 52 года, он еще может писать прекрасные, художественные вещи.

И она молила Бога, чтобы «прошло э т о, как болезнь».

Но «хворь» не проходила и признаки ее становились все очевиднее и очевиднее.

[1]) Бирюков. Биография, т. 2, стр. 288 (Изд. Лодыжникова, Берлин, 1921).
[2]) Фет, А. А. «Мои Воспоминания», т. 2, стр. 350. — Бирюков, т. 2, стр. 289.
[3]) Бирюков, т. 2, стр. 296.
[4]) Фет, А. А. «Мои Воспоминания», т. 2, стр. 354. — Бирюков, т. 2, стр. 297.
[5]) Бирюков, т. 2, стр. 297. — Собр. писем Тургенева, стр. 338.
[6]) Там же, стр. 339. «Маленькая книжка» Дневника.
[7]) Исповедь. Полн. Собр. соч. Изд. 1913 г., т. 15, стр. 12.
[8]) Там же, стр. 13, 14.
[9]) Там же, стр. 14.
[10]) Литературное Наследство, № 37/38, стр. 118-126.
[11]) Бирюков, т. 2, стр. 350.
[12]) Там же, стр. 355.
[13]) Письма гр. Л. Н. Толстого к жене, изд. 1913 г., стр. 125.
[14]) Там же, стр. 125.
[15]) Дневники С. А. Толстой, изд. Собашниковых, т. 1, стр. 124.
[16]) Там же, стр. 124, 125.
[17]) Там же, стр. 126.
[18]) Там же, стр. 126, 127, 129.

ГЛАВА XXXV

НАЧАЛО ОТХОДА ОТ ПРАВОСЛАВИЯ. ДОСТОЕВСКИЙ. УБИЙСТВО АЛЕКСАНДРА II.

Не только жена, но и все близкие Толстого с беспокойством наблюдали за теми переменами, которые в нем происходили.

«У нас часто бывают маленькие стычки в нынешнем году, — пишет Софья Андреевна своей сестре Тане 22 апреля 1881 года. — Я даже хотела уехать из дому. Верно это потому, что по-христиански жить стали. По-моему прежде, без христианства этого, много лучше было».[1])

Один только верный и обожающий Толстого друг, Н. Н. Страхов, внимательно следил за его переживаниями и понимал остроту и напряженность той внутренней деятельности, которой другие не могли, а иногда и не хотели видеть.

«В Ясной Поляне, — писал он Данилевскому, — как всегда, идет сильнейшая умственная работа. Мы с вами вероятно не сойдемся в оценке этой работы; но я удивляюсь и покоряюсь ей так, что мне даже тяжело. Толстой, идя своим неизменным путем, пришел к религиозному настроению; оно отчасти выразилось в конце «Анны Карениной». Идеал христианина понят им удивительно, и странно, как мы проходим мимо Евангелия, не видя самого прямого его смысла. Он углубился в изучение евангельского текста, немногое объяснил в нем с поразительною простотою и тонкостью. Очень боюсь, что по непривычке излагать отвлеченные мысли и вообще писать прозу, он не успеет изложить своих рассуждений кратко и ясно; но содержание книги, которую он составит, истинно великолепно».[2])

В январе 1880 года Толстой ездил по делам в Петербург и, как всегда, виделся с Александрой Андре-

евной. Толстой в это время уже отходил от православия. Безжалостно резко он высказал «бабушке» свои сомнения, говоря ей, что вера ее — православие — основано на лжи. Разговор был настолько бурный, что Толстой не спал после этого полночи, не простившись уехал из Петербурга и перед отъездом написал Александре Андреевне письмо.

«Я знаю, — кончает он это письмо, — что требую от вас почти невозможного — признания того прямого смысла учения, который отрицает всю ту среду, в которой вы прожили жизнь и положили всё свое сердце, но не могу говорить с вами не в о - в с ю, как с другими, мне кажется, что у вас есть истинная любовь к Богу, к добру и что не можете не понять, где Он.

За мою раздражительность, грубость, низменность простите и прощайте, старый, милый друг, до следующего письма и свидания, если даст Бог. — Ваш Л. Толстой».[3])

Александра Андреевна была оскорблена: «Подобные выходки и в молодости неприятны, но в наши годы не протянуть руки при прощании, когда каждая разлука может быть последняя, просто непростительно, и это мне трудно вам простить»,[4]) — писала она ему. Но переписка на этом не прекратилась. Александра Андреевна написала длинное письмо Толстому, с изложением своей православной веры.

... «Главное то, что ваше исповедание веры есть исповедание веры нашей церкви, — отвечал ей Толстой. — Я его знаю и не разделяю. Но не имею ни одного слова сказать против тех, которые верят так. Особенно, когда вы прибавляете о том, что сущность учения в Нагорной проповеди. Не только не отрицаю этого учения, но, если бы мне сказали: что́ я хочу, чтобы дети мои были неверующими, каким я был, или в е р и л и бы тому, чему учит церковь, я бы, не задумываясь, выбрал бы в е р у по церкви. Я знаю, например, весь народ, который в е р и т не только тому, чему учит церковь, но примешивает еще к тому бездну суеверий, и я себя (убежденный, что я верю истинно) не разделяю от бабы, верящей Пят-

нице, и утверждаю, что мы с этой бабой совершенно равно (ни больше, ни меньше) знаем истину. Это происходит от того, что мы с бабой одинаково всеми силами души любим истину и стремимся постигнуть ее и в е р и м. Я подчеркиваю в е р и м, потому что верить можно только в то, чего понять мы не можем, но чего и опровергнуть мы не можем. Но верить в то, что мне представляется ложью — нельзя. И мало того, уверять себя, что я верю в то, во что я не могу верить, во что мне не нужно верить, для того чтоб понять свою душу и Бога, и отношение моей души к Богу, уверять себя в этом, есть действие самое противное истинной вере. Это есть кощунство и есть служение князю мира. Первое условие веры есть любовь к свету, к истине, к Богу и сердце чистое без лжи... И как я чувствую себя в полном согласии с искренно верующими из народа, так точно я чувствую себя в согласии и с верой по церкви, и с вами, если вера искренна и вы смотрите на Бога во все глаза, не сквозь очки и не прищуриваясь...

Каждый час и день своей жизни помнить о Боге, о душе, и потому любовь к ближнему ставить выше скотской жизни. Фокуса для этого никакого не нужно, а это так же просто, как то, что надо ковать, чтобы быть кузнецом. — И потому-то это Божеская истина, что она так проста, что проще ее ничего быть не может, и вместе с тем так важна и велика и для блага каждого человека, и всех людей вместе, что больше ее ничего быть не может», — заканчивает он это письмо.[5])

В начале 1880 года Толстой, работая над своей «Исповедью», почти одновременно приступил к изучению православных догматов. Он уже ничего не мог брать «на веру» — ему надо было понять и знать. Чтобы знать, он стал изучать богословские книги, между прочим, распространенную книгу митрополита московского Макария. «Я даже в то время, как начал это исследование, вполне верил в нее (непогрешимость церкви), в одну ее (казалось мне) верил[6]) Но объяснить, понять догматы Толстой не мог.

«Скажите мне истины так, как вы знаете их, скажите хоть так, как они сказаны в Символе веры, который мы все учили наизусть, — взывает он к богословам. — Если вы боитесь, что по затемненности и слабости моего ума, по испорченности сердца, я не пойму их, помогите мне (вы знаете эти истины Божии, вы церковь, учите нас), помогите моему слабому уму, но не забывайте, что что́ бы вы ни говорили, вы будете говорить истины Божии, выраженные словами, а слова надо понимать опять-таки только *умом* (курсив мой). Разъясните эти истины моему *уму*»...[7])

«Надо верить, — говорит церковь; я должен умом постигнуть то, во что я поверю», — говорил Толстой.

Он верил в Бога-Отца, по воле которого он жил, волю которого он знал и должен был исполнять, верить же в Бога в трех лицах, Троицу — Бога-Отца, Св. Духа и Бога-Сына — он не мог. И, не уразумев, он раз навсегда отверг для себя это понятие.

Но отвергая ту веру, в которой он родился, воспитался и вырос — он должен был заменить ее своей верой, чем-то, что дало бы ему руководство в жизни, и он стал вчитываться в Евангелие. Но и здесь, воспринимая целиком учение Христа, как обязательное руководство в жизни, Толстой не мог найти объяснения описываемым в Евангелии сверхестественным, чудесным явлениям. Он наткнулся на противоречия учения Христа с толкованиями православной церкви. «Не убий никого», — сказал Христос, а между тем церковь молится за христолюбивое воинство.

Толстой стал работать над переводом и исследованием 4-х Евангелий. Он так был погружен в свои религиозные мысли и работы, что когда Тургенев приехал в Ясную Поляну уговаривать его принять участие в Пушкинских торжествах по случаю открытия памятника Пушкину в Москве, Толстому показалось все это такими пустяками по сравнению с тем, что ему надо было решить, что он отказался ехать. Тургенев и весь литературный мир были потрясены. Почему? Как мог Толстой, автор «Войны и Мира», столп русской ли-

тературы, не участвовать в торжествах, посвященных величайшему русскому поэту? Что-то тут неладное...

Достоевский намеревался поехать в Ясную Поляну, но Тургенев уверил его, что Толстой в таком состоянии, что с ним и разговаривать нельзя — он занят только какими-то религиозными вопросами и ничем не интересуется. Григорович выразился еще более резко: «Толстой почти с ума сошел, и даже, может быть, совсем сошел»...[8])

28 мая Достоевский писал жене: «О Льве Толстом и Катков подтвердил, что, слышно, он совсем помешался. Юрьев подбивал меня съездить к нему в Ясную Поляну... Но я не поеду, хотя очень бы любопытно было»...[9])

В то время Достоевский не пользовался авторитетом среди либеральных писателей. Его считали отсталым консерватором, славянофилом, он стоял, как Страхов выразился в письме к Толстому, «особняком» среди «враждебной» среды. Тем более всех поразил успех этого тихого, скромного, вечно нуждающегося писателя на пушкинских торжествах. Речь Достоевского о Пушкине превзошла всё, что было сказано о поэте до того времени по красоте формы, блеску, по глубокому пониманию поэта. Достоевский неожиданно оказался в центре всеобщего внимания. Публика пришла в неистовый восторг и после шумной овации его подхватили на руки и понесли...

Не раз, впоследствии, Толстой выражал сожаление, что он не поехал на торжества, не слышал этой знаменитой речи Достоевского и не виделся с ним, тем более что это оказалось последним случаем, когда писатели могли встретиться.

26 сентября того же года Толстой писал Страхову:

... «Я продолжаю работать всё над тем же и, кажется, не бесполезно. На днях нездоровилось и я читал Мертвый Дом. Я много забыл, перечитал и не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина».

«Не тон, а точка зрения удивительна — искренняя, естественная и христианская. Хорошая, назидательная

книга. Я наслаждался вчера целый день, как давно не наслаждался. Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю».[10]) Страхов подарил это письмо с отзывом Толстого Достоевскому, что доставило ему большую радость.

28 января 1881 года Достоевского не стало...

3-го февраля Страхов пишет Толстому:

«Чувство ужасной пустоты, бесценный Лев Николаевич, не оставляет меня с той минуты, когда я узнал о смерти Достоевского. Как будто провалилось пол-Петербурга или вымерло пол-литературы. Хоть мы не ладили всё последнее время, но тут я почувствовал, какое значение он для меня имел: мне хотелось быть перед ним и умным и хорошим... Он один равнялся (по влиянию на читателей) нескольким журналам. Он стоял особняком, среди литературы почти сплошь враждебной, и смело говорил о том, что давно было признано за «соблазн» и «безумие»...[11])

... «Как бы я желал уметь сказать всё, что я чувствую о Достоевском! — писал Толстой Страхову. — Вы, описывая свое чувство, выразили часть моего. Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним; и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек.

И никогда мне в голову не приходило меряться с ним, никогда. Всё, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца — только радость. Я его так и считал своим другом, и иначе не думал, как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдруг читаю — умер! Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, что он мне дорог, и я плакал и теперь плачу. На днях, до его смерти, я прочел «Униженные и оскорбленные» и умилялся»...[12])

Достоевский так же, как и Толстой, шел своим путем. Про него, как Страхов писал Толстому, говори-

ли, что он «стоял особняком» и было признано за «соблазн» и за «безумие» то, что он писал. Увлекшись в молодости революционными вглядами, он позднее отрекся от них. Вера в Христа и близость русского народа к Христу было то, что составляло основу его жизни и писаний. Именно поэтому он и был ближе к Толстому, чем кто-либо другой из современных им писателей.

Толстой никогда не увлекался революционными течениями того времени, они проходили мимо него. В свое время, к вопросу крепостного права он подошел по-своему, не присоединяясь к либеральному общественному мнению. «Хождение в народ», народничество Михайловского,[13]) революционный героизм террористов, организация «Земли и Воли» — все это было ему непонятно и чуждо. Толстой знал, что по существу «народовольцы» не знали народа. Революционеры смотрели на народ, как на темную массу, которую можно поднять против угнетателей — русского правительства. Слова «народ», «народное» в устах этих непонимающих сущность русского народа людей — раздражали Толстого. Он жил с этим самым темным, бедным и угнетенным народом, знал его, учился у него, и в нем искал опоры в растущем в нем христианском сознании. В нем, в этом мужике, под простой, корявой оболочкой, Толстой чувствовал духовную мощь, подлинную веру, красоту, которыми он сам питался.

А между тем, революционное движение росло.

В 1870 году появился первый том «Капитала» Маркса в русском переводе. В Западной Европе и в Америке Карл Маркс приобретает известность гораздо раньше. В 1847 году Маркс и Энгельс вступают в тайный международный союз коммунистов и составляют «манифест коммунистической партии». Это не помешало «Нью Иорк Трибьюн» иметь в 50-х годах и начале 60-х Карла Маркса своим постоянным сотрудником по экономическим вопросам. Проявление коммунистических веяний мы видим и в водворении Парижской коммуны в 1871 году. В России революционное движение выразилось в целом ряде террористических актов.

Января 24, 1878 года революционерка Вера Засулич покушалась на жизнь оберполицеймейстера Ф. Ф. Трепова. Ее арестовали, через три месяца судили с присяжными заседателями и оправдали.

Целый ряд покушений был организован против Царя. Наконец, 1-го марта 1881 года Россию потрясло страшное событие — убийство Царя-Освободителя, Императора Александра II.

«Сегодня, 1-го марта 1881 года, согласно постановлению Исполнительного комитета от 26 августа 1879 г., приведена в исполнение казнь Александра II двумя агентами Исполнительного Комитета», — гласила прокламация, выпущенная Исполнительным Комитетом партии «Земля и Воля».[14])

«Какой удар, бесценный Лев Николаевич! — писал Страхов. — Я до сих пор не нахожу себе места и не знаю, что с собой делать. Бесчеловечно убили старика, который мечтал быть либеральнейшим и благодетельнейшим царем в мире! Теоретическое убийство, не по злобе, не по реальной надобности, а потому что в идее это очень хорошо. Меня всё раздражает: и спокойствие, и злорадство, и даже сожаления... Нет, мы не опомнимся. Нужны ужасные бедствия, опустошения целых областей, пожары, взрывы целых городов, избиение миллионов, чтобы опомнились люди. А теперь только цветочки».[15])

Илья Толстой в своих воспоминаниях рассказывает, как узнали в семье Толстых об убийстве Царя.

«1-го марта папа, по обыкновению своему, ходил перед обедом, гулять по шоссе.

После снежной зимы началась ростепель.

По дорогам были уже глубокие просовы, и лощины набухли водой.

По случаю плохой погоды в Тулу не посылали, и газет не было.

На шоссе папа встретил какого-то странствующего итальянца с шарманкой и гадающими птицами.

Он шел пешком из Тулы.

Разговорились: — «откуда? куда?»

— Из Туль, дела плох, сам не ел, птиц не ел, царя убиль.

— Какого царя, кто убил? когда?

— Русский царь, Петерсбург, бомба кидаль, газет получаль.

Придя домой, папа тут же рассказал нам о смерти Александра II, и пришедшие на другой день газеты с точностью это подтвердили.

Я помню, какое удручающее впечатление произвело на отца это бессмысленное убийство. Не говоря уже о том, что его ужасала жестокая смерть царя, «сделавшего много добра и всегда желавшего добра людям, старого, доброго человека», он не мог перестать думать об убийцах, о готовящейся казни и «не столько о них, сколько о тех, кто готовился участвовать в их убийстве и особенно об Александре III».[16])

Несколько дней он ходил задумчивый и пасмурный и, наконец, надумал написать новому государю Александру III письмо.

... «Отца Вашего, царя русского, сделавшего много добра и всегда желавшего добра людям, старого, доброго человека, бесчеловечно изувечили и убили не личные враги его, — писал он государю Александру III, — но враги существующего порядка вещей: убили во имя какого-то блага всего человечества.

Вы стали на его место, и перед Вами те враги, которые отравляли жизнь Вашего отца и погубили его. Они враги Ваши потому, что Вы занимаете место Вашего отца, и для того мнимого общего блага, которого они ищут, они должны желать убить и Вас.

К этим людям в душе Вашей должно быть чувство мести, как к убийцам отца, и чувство ужаса перед тою обязанностью, которую Вы должны были взять на себя. Более ужасного положения нельзя себе представить, более ужасного потому, что нельзя себе представить более сильного искушения зла. Враги отечества, народа, презренные мальчишки, безбожные твари, нарушающие спокойствие и жизнь вверенных миллионов, и убийцы отца. Что другое можно сделать с ними, как не очистить от этой заразы русскую землю,

как не раздавить их, как мерзких гадов? Этого требует не мое личное чувство, даже не возмездие за смерть отца, этого требует от меня мой долг, этого ожидает от меня вся Россия», — писал Толстой в письме к государю.

... «На Вашу долю выпало ужаснейшее из искушений. Но как ни ужасно оно, учение Христа разрушает его: все сети искушений, обставленные вокруг Вас, как прах разлетятся перед человеком, исполняющим волю Бога.

Матфея 5, 43. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего и возненавидь врага твоего; а Я говорю вам: любите врагов ваших... благотворите ненавидящих вас... да будете сынами Отца вашего небесного».

Дальше Толстой приводит еще несколько выдержек из Евангелия.

«Простите, воздайте добром за зло, и из сотен злодеев десятки перейдут от дьявола к Богу и у тысяч, у миллионов дрогнет сердце от радости и умиления при виде примера добра с престола в такую страшную для сына убитого отца минуту.

Государь! Если бы Вы сделали это, позвали этих людей, дали бы им денег и услали их куда-нибудь в Америку и написали бы манифест с словами вверху: «А Я говорю: любите врагов своих», не знаю, как другие, но я, плохой верноподданный, был бы собакой, рабом Вашим. Я бы плакал от умиления, как я теперь плачу, всякий раз, когда бы я слышал Ваше имя. Да что я говорю: «не знаю, что другие!» Знаю, каким бы потоком разлились бы по России добро и любовь от этих слов.

... Есть только один идеал, который можно противопоставить им, — тот, из которого они выходят, не понимая его и кощунствуя над ним, — тот, который включает их идеал, идеал любви, прощения и воздаяния добра за зло. Только одно слово прощения и любви христианской, сказанное и исполненное с высоты престола, и путь христианского царствования, на который предстоит вступить Вам, может уничтожить то зло, которое точит Россию. Как воск от лица ог-

ня, растает всякая революционная борьба перед царем-человеком, исполняющим закон Христа».[17])

Победоносцев, которого просили передать это письмо государю, отказался это сделать и вернул его обратно. Письмо было передано снова через другие пути и государь получил его.

Говорят, что прочтя его, Александр III сказал:

«Если бы преступление касалось меня лично, я имел бы право помиловать виновных, но за отца я этого сделать не могу».[18])

3 апреля все участники убийства Царя-Освободителя были казнены.

Обращение Толстого к Александру III оказалось гласом вопиющего в пустыне. Толстому было бесконечно тяжело. Даже близкие его не понимали.

«Вешать — надо, сечь — надо, бить по зубам без свидетелей... — такие разговоры шли в семейном кругу Толстых. — Народ как бы не взбунтовался — страшно»...

А в Дневнике от 6 июля Толстой записывает:

«Революция экономическая не то, что может быть, а не может не быть. Удивительно, что ее нет».[19])

---

1) Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, стр. 274. Также: Архив Кузминской.

2) Русский Вестник, 1901, стр. 142, письмо 8-ое.
Также: П. И. Бирюков, Биография, т. 2, стр. 398 (изд. Ладыжникова, Берлин, 1921 г.).

3) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Госизд. т. 63.

4) Переписка Л. Н. Т. с гр. А. А. Толстой, стр. 323, № 133.

5) Там же, стр. 326, № 135.

6) Критика правосл. догматич. богословия. Изд. Своб. Слова, стр. 9. Также: Бирюков, Биография, т. 2, стр. 358.

7) Там же.

8) Письма Ф. М. Достоевского к жене. Центрархив. Госизд. 1926 г., стр. 287.

9) Там же, стр. 289.

10) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Госизд. т. 63, стр. 24.

11) Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. Изд. Толст. Музея, стр. 266, № 151, 3 февр. 1881 г.

12) Там же, стр. 267, № 152, нач. февр. 1881 г.

[13]) Михайловский, Н. К. — 1842-1904. — Публицист, критик и социолог.

[14]) Бирюков, Биография, т. 2, стр. 379 (изд. Ладыжникова).
Также: «Былое» № 2. Ист.-рев. сборник, Лондон.

[15]) Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. Изд. Толст. Музея, стр. 268, № 153, 6 марта 1881 г.

[16]) Толстой, Илья Л. «Мои воспоминания», стр. 139.

[17]) Бирюков, Биография, т. 2, стр. 381.

[18]) Толстой, Илья Л. «Мои воспоминания», стр. 140.

[19]) Бирюков, Биография, т. 2, стр. 411.

ГЛАВА XXXVI

ЖИЗНЬ НАША ПОШЛА ВРОЗЬ

Как и каждое лето в Ясной Поляне, когда приезжала многочисленная семья тети Тани Кузминской, жизнь била ключем.

Две матери, тетя Соня и тетя Таня, как они назывались, едва успевали присматривать за большими и малыми детьми. То дети убегали в поле за своей любимой лошадью «Кавушкой», и не успевала тетя Таня, тетя Соня, гувернантки и гувернеры оглянуться, как водрузившись по три или четыре на спину смирной, покорной лошади — дети исчезали в недрах густых, тенистых лесов; то Илья, с ружьем и собакой, уходил на целые сутки, скитаясь по лесам и болотам за бекасами, дикими утками и вальдшнепами, и мама беспокоилась; то дети ссорились и дрались между собой и поднимали страшный рев, и тетя Таня хватала их и, стукая головами друг о друга, кричала: «Миритесь, целуйтесь, дряни вы этакие, а то сейчас в угол поставлю»... То кто-то влюблялся в хорошенькую, черноглазую Таню или Машу Кузминскую, и опять матери волновались, как бы этот кто-то не позволил себе вольности — пожатие руки, поцелуя... То вся эта орава на длинной линейке, «катках», ехала через лес по грязной, никогда не просыхавшей тенистой лесной дороге Заказа, купаться на речку Воронку, и надо было смотреть, чтобы никто не попал под лошадей, не захлебнулся в воде, не простудился...

Постоянно праздновали чьи-то именины, рождения, пеклись пироги, Толстые ходили в гости в «Кузминский дом», как он назывался, Кузминские ходили к Толстым, обсуждали чьи пироги лучше и следили за тем, чтобы «малыши» не объелись сладким...

Повара жарили кур, баранину, ростбифы, готовили необыкновенные фруктовые мороженные, каймаки —

целые избушки с окнами из вафель с каким-то необыкновенно вкусным кремом — лакеи чистили батареи грязной обуви, подавали, убирали, горничные крахмалили воротнички, гладили, кучера чистили лошадей, то и дело запрягали, распрягали коляски и катки тройками, дрожки, тарантасы, седлали лошадей мужскими и дамскими седлами... У всех были свои любимые лошади. Тоненькая, стройная и ловкая Таня и широкоплечий, сильный Илья обожали лошадей и прекрасно ездили — их учителем верховой езды был отец.

Тетя Соня верхом ездила редко, и когда ездила, ей выбирали самую смирную лошадь. Тетя Таня тоже ездила редко, но сидела на лошади смело и свободно и не боялась.

Но папá — «дяди Ляли», как звали его дети Кузминские — уже не было среди всей этой веселящейся молодежи и детей.

В простой, запыленной одежде, в лаптях, Толстой шел в сопровождении двух спутников — своего слуги Сергея Арбузова и яснополянского учителя — по широкому, обсаженному старыми тополями большаку в монастырь — Оптину Пустынь.

Встречи с паломниками, разговоры с крестьянами, приближение к их простой жизни, здравому мышлению и природе, среди которой он находился с утра до поздней ночи — вот что ему было необходимо, чтобы, откинув всю внешнюю оболочку праздной жизни, начинавшую его тяготить, целиком приобщиться к тому настоящему, единому, без чего жизнь мертва есть — к миру Божьему.

С дороги Толстой писал жене:

«Второй час после полудня. Крапивна. Дошел хуже, чем ожидал. Натер мозоли, но спал, и здоровьем чувствую лучше, чем ожидал. Здесь купил чуни пенечные, и в них пойдется легче. Приятно, полезно и поучительно очень. Только бы дал Бог нам свидеться здоровым, всей семьей, и чтоб не было дурного ни с тобой, ни со мной, а то я никак не буду раскаиваться, что пошел. Нельзя себе представить, до какой сте-

пени ново, важно и полезно для души (для взгляда на жизнь) увидать, как живет мир Божий, большой, настоящий, а не тот, который мы устроили себе, и из которого не выходим, хотя бы объехали вокруг света»...[1])

Это стремление отъединения себя от привычного, ограниченного мира в поисках Бога сквозит и в конце этого же письма:

«Главное, новое чувство, это сознавать себя и перед собой и перед другими только тем, что я есмь, а не тем, чем я вместе с своей обстановкой...»

«Только бы тебя не расстраивали и большие и малые дети. Только бы гости не были неприятные; только бы сама ты была здорова; только бы ничего не случилось, только бы... я делал всё хорошее, и ты тоже, и тогда всё будет прекрасно».[2])

12 же июня Софья Андреевна пишет мужу длинное письмо, описывая свою жизнь:

«У Тани дети здоровы. Моего Мишу тоже сейчас велела вынести погулять. Мы купаемся, ягоды поспевают; жарко очень, и скучно без тебя. Я думаю тебе мучение идти с ношей в эту жару, и я очень боюсь за твою голову. Надеюсь, что ты самую жару сидишь в тени или спишь, и что не будешь потный пить, купаться, что ужасно вредно, удар может сделаться»...[3])

Когда грязные, в чунях и кафтанах, яснополянские путники пришли в Оптину Пустынь, монахи не пустили их в чистую гостиницу, а направили в общую ночлежную избу, где останавливалась вся беднота, и только по настоянию слуги Толстого, Сергея, им отвели отдельный номер.

Но на другой день, узнав что среди гостей граф Толстой, монахи переполошились и настояли на том, чтобы он перешел в самую лучшую гостиницу.

«Коли меня узнали, — сказал Толстой с некоторым сожалением своему слуге Сергею, — делать нечего, дай мне сапоги и другую блузу, я переоденусь...»[4])

В этот свой приезд Толстой посетил старца Амвросия,[5]) беседовал, спорил с ним, но общение его со старцем и увещания его, чтобы Толстой раскаялся и

вернулся в лоно церкви, не подействовали. Посещение Оптиной Пустыни еще более оттолкнуло его от православия.

«Скажу вам прямо, чем я себя считаю, — писал Толстой Рачинскому от 15 июля того же года. — Я считаю себя христианином. Учение Христа есть основа моей жизни. Усумнившись в нем, я бы не мог жить; но православие сознанное, связанное с церковью, с государством, есть для меня основа всех соблазнов, есть соблазн, закрывающий Божескую истину от людей».[6])

Вернувшись, Толстой не долго высидел в Ясной Поляне. Сначала, по приглашению Тургенева, поехал к нему на два дня в Спасское, и затем, 13 июля, вместе с старшим сыном Сергеем, уехал к себе на хутор в Самарскую губернию.

Внешне жизнь Толстого катилась по привычным рельсам. Он продолжал интересоваться доходами Самарского имения, лошадьми: «Хлеба́ хорошие, — писал он жене 20 июля, — хотя и не везде. У нас очень хорошие»... «Лошади-жеребцы, около 10 штук, очень хороши. Я не ждал таких. Должно быть, я приведу осенью для продажи и для себя. Лошади замечательно удались, несмотря на голодные годы, в которые они голодали, и много истратилось. Есть лошади, помоему, по дешевой цене, в 300 рублей и больше... Виды на доходы, более 10 тысяч, мне кажутся верными; но я уже столько раз ошибался, что боюсь верить».[7])

Художественную работу Толстой совсем забросил. Иногда, приступами, писал свою легенду «Чем люди живы», в которой так ярко описаны мужицкая вера в Бога, в справедливость Его, и мудрая простота и богобоязненность русского крестьянина.

Во время своего путешествия в Оптину Пустынь Толстой посетил староверов. В Самарской губернии он заинтересовался молоканами. По простоте своего учения и той значимости, которую они придавали учению Христа, они были ему ближе и понятнее староверов.

В письме к жене он пишет: «Интересны молокане в высшей степени. Был у них на молении, присутствовал при их толковании Евангелия и принимал участие,

и они приезжали и просили меня толковать, как я понимаю, и я читал им отрывки из моего «Изложения», и серьезность, и интерес, и здравый, ясный смысл этих полуграмотных людей — удивительны. Был я еще в Гавриловке, у субботника. Тоже очень интересно».[8])

Но у Софьи Андреевны в это время были другие заботы: надо было переезжать в город и она отправилась в Москву, где, со свойственной ей энергией, искала дом, в который вся семья могла бы переехать на зиму.

Старший сын Сергей, которому минуло уже 18 лет, поступил на естественный факультет Московского университета. 17-ти летняя Таня, унаследовавшая от матери способности к рисованию, поступила в эту же зиму, в ноябре, в Московскую школу живописи и ваяния, а 16-ти и 13-ти летние Илья и Лев поступили в частную гимназию Поливанова.[9]) В сентябре 1881 года семья Толстых поселилась в Москве.

Для Толстого жизнь в городе была жесточайшей мукой. Он никогда не живал подолгу в городах. Только в природе, в величии Кавказских гор и бурных рек, в полях и лесах Ясной Поляны или среди вольных просторов самарских степей, где он мог дышать полной грудью, он ощущал в себе тот подъем, ту высшую духовную силу, которая возносила его над мирским, телесным, и душа его сливалась с Богом.

«Вонь, камни, роскошь, нищета, разврат, — записывает он в дневнике от октября 5-го. — Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргии и — пируют. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное. Мужики на это ловчее. Бабы дома, мужики трут полы и тела в банях и ездят извозчиками...

Прошел месяц. Самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву. Все устраиваются, когда же начнут жить? Всё не для того, чтобы жить, а для того, что так люди. Несчастные. И нет жизни».[10])

В этой тесноте и ограниченности городской жизни он искал просветов. Одним из таких просветов бы-

ло его знакомство с крестьянином Тверской губернии, Василием Сютаевым.

Еще летом, в Самарской губернии, Толстой встретил Пругавина,[11]) изучавшего жизнь сектантов в России.

«Лев Николаевич с жадным любопытством расспрашивал меня о моих впечатлениях и наблюдениях, вынесенных мною от знакомства и личного изучения тех или иных сект на местах их распространения, — писал Пругавин в своей книге «О Льве Толстом и о толстовцах». — Но особенно его заинтересовали личность и учение только что появившегося тогда в Тверской губернии крестьянина Василия Сютаева, проповедывавшего любовь и братство всех людей и народов и полный коммунизм имущества. — Узнавши, что прежде чем попасть в Самару и Патровку, я был в Тверской губернии у Сютаева, где я прожил целую неделю, почти не расставаясь с ним, Лев Николаевич начал расспрашивать меня относительно личной жизни и религиозных взглядов этого необыкновенного крестьянина, а также о тех попытках, которые он предпринимал у себя в деревне с целью устройства общины-коммуны»...[12])

Илья Л. Толстой в своих воспоминаниях пишет:

«Сютаев отрицал всякое насилие и не допускал его даже, как средство противления злу.

Он принципиально отказывался от платежа всяких повинностей, потому что они идут на содержание войска.

А когда полиция описывала его, он безропотно присутствовал при своем разорении и не сопротивлялся.

— Их грех, пусть они и делают. Сам ворота отворять не пойду, а если им надо, пусть идут. Замков у меня нет, — говорил он, рассказывая об этом.

Семья его разделяла его убеждения и жила в своей общине, не признавая личной собственности.

Когда сына Сютаева забрали в солдаты, он отказался от присяги, потому что в евангелии сказано «не

клянись», и не взял в руки ружья, потому что «от него кровью пахнет».

За это он был зачислен в Шлиссельбургский дисциплинарный батальон и терпел там большие лишения.

Осуществление своего идеала «жизни по-божьи» Сютаев видел в христианской общине.

— Поле не должны делить, лес не должны делить, дома не должны делить. Тогда и замков не надо, сторожей не надо, торговли не надо, судей не надо, войны не надо... У всех будет одно сердце, одна душа, не будет ни твоего, ни моего, — все будет местное, — говорил он, и в словах его чувствовалась глубокая вера в осуществление этих идеалов, почерпнутых им из евангелия».[13])

Толстой был потрясен силой веры этих простых людей, верой, ради которой они готовы были идти на страдания, может быть на смерть?

В октябре 1881 года, уже из Москвы, Толстой поехал к Сютаеву, в Тверскую губернию. Для него знакомство с Сютаевым было откровением. Опять среди «темного» крестьянства он нашел подлинный религиозный подъем, веру в учение Христа, в Бога. Он писал в дневнике, что это было для него «утешением». Толстой говорил: свою веру Сютаев выражал в очень простых фразах «все в табе и все в любве».

Софья Андреевна писала сестре: «Лёвочка впал не только в уныние, но даже в какую-то отчаянную апатию. Он не спал и не ел, сам à la lettre плакал иногда, и я думала, просто, что с ума сойду. Потом он поехал в Тверскую губернию, видался там со старыми знакомыми, потом ездил там в деревню к какому-то раскольнику, христианину, и когда вернулся, тоска его стала меньше. Теперь он наладился заниматься во флигеле, где нанял себе две маленькие, тихие комнатки за 6 руб. в месяц, потом уходит на Девичье Поле, переезжает реку на Воробьевы Горы и там пилит

и колет дрова с мужиками. Ему это здорово и весело».[14])

Поглощенная жизнью семьи, Софья Андреевна не могла понять, почему Лёвочка хандрит. Она видела, как тяжело ему жить в городе, а между тем, что она могла сделать? Она была воспитана в том, что надо было учить и вести детей так, как полагалось в известном обществе: вывозить в свет дочь Таню, иметь приличную квартиру, одежду, слуг.

«Я осталась с мальчиками, пришли два Олсуфьева мальчика, пили степенно чай; потом графиня Келлер приехала спросить, пущу ли я мальчиков в цирк завтра. Я пустила, а утром они едут в оперу. Долго еще будет этот сумбур. В субботу у Олсуфьевых танцуют, в пятницу Оболенская зовет к себе, кому платье, кому башмаки, кому еще что...

Маленький мой всё нездоров и очень мне мил и жалок, — писала она мужу 3-го февраля 1882 года; — вы с Сютаевым можете не любить особенно своих детей, а мы простые смертные не можем, да, может быть, и не хотим себя уродовать и оправдывать свою нелюбовь ни к кому какою-то любовью ко всему миру».[15])

«Наслаждайся тишиной, пиши и не тровожься; в сущности все то же при тебе и без тебя, только гостей меньше. Вижу я тебя редко и в Москве, а жизнь наша пошла врозь. Впрочем, какая это жизнь — это какой-то хаос труда, суеты, отсутствия мысли, времени и здоровья и всего, чем люди живы».[16])

«Маленький», о котором упоминает Софья Андреевна — сын Алексей, родившийся 31 октября 1881 года.

Толстого мало интересовали светские знакомые. Ему хотелось узнать жизнь городской бедноты, с которой ему до тех пор не приходилось сталкиваться. Посетив в декабре 1881 года Хитров рынок,[17]) Толстой впервые лицом к лицу столкнулся с этой ужасающей, нездоровой, чахлой городской нищетой, с ночлежками. И увидав это, он пришел в ужас.

«Нужда городская, — писал он в статье «Так что же нам делать», — была и менее правдива, и более требовательна, и более жестока, чем нужда деревенская».[18])

Чтобы ближе подойти к этим несчастным людям, Толстой предложил свои услуги как один из 80 руководителей переписи, которую должны были произвести в трехдневный срок в Москве. Толстой пошел на эту работу с мыслью помочь всем тем несчастным, которых он встретит. Для этой цели он выбрал для себя самый бедный участок. Но очень скоро он убедился, что та задача, которую он хотел на себя принять — непосильна.

«Цель переписи научная. Перепись есть социологическое исследование. Цель же науки социологии — счастье людей. Наука эта и ее приемы резко отличаются от всех других наук...

Счетчик приходит в ночлежный дом, в подвале находит умирающего от бескормицы человека и учтиво спрашивает: звание, имя, отчество, род занятия; и после небольшого колебания о том, внести ли его в список как живого, записывает и проходит дальше»...[19]) писал он в статье о переписи в Москве. В конце статьи Толстой призывал к помощи этим несчастным людям не деньгами...

«Почему не надеяться, что будет отчасти сделано или начато то настоящее дело, которое делается уже не деньгами, а работой, что будут спасены ослабевшие пьяницы, не попавшиеся воры, проститутки, для которых возможен возврат. Пусть не исправится всё зло, но будет сознание его, и борьба с ним не полицейскими мерами, а внутренними, — братским общением людей, видящих зло, с людьми, не видящими его потому, что они находятся в нем».[20])

Но очень скоро Толстой понял, что призыв к людям был гласом вопиющего в пустыне. Весь строй, экономическое классовое разделение, городские соблазны — породили всю эту нищету. Помощь отдельным лицам была или невозможна или бесполезна. В отдельных случаях, когда Толстой помогал, люди пропивали деньги, отказывались от работы, проститутки,

отвыкшие от труда, предпочитали вести ту жизнь, к которой они привыкли.

«При виде этого голода, холода и унижения тысячи людей, я не умом, не сердцем, а всем существом своим понял, что существование десятков тысяч таких людей в Москве, тогда, когда я с другими учеными тысячами объедаюсь филеями и осетриной, и покрываю лошадей и полы сукнами и коврами, — что бы ни говорили мне все ученые мира о том, как это необходимо, — есть преступление, не один раз совершенное, но постоянно совершающееся, и что я, с своей роскошью, не только попуститель, но прямой участник его», — писал он в своей статье «Так что же нам делать».[21])

Изменить жизнь миллионов Толстой не мог. Он мог только изменить свою собственную жизнь.

«Если человек точно не любит рабства и не хочет быть участником в нем, то первое, что он сделает, будет то, что он не будет пользоваться чужим трудом ни посредством службы правительству, ни посредством владения землею, ни посредством денег», — писал он в статье «Так что же нам делать».

Вывод этот, который с годами становился все яснее и яснее Толстому, и который впоследствии он решил претворить в жизнь — был жесточайшим приговором для его жены.

«Жизнь пошла врозь».

---

[1]) Письма гр. Л. Н. Толстого к жене. Ред. Грузинского, 1913 г., № 121, 11 июня 1881 г., стр. 130.

[2]) Там же.

[3]) Толстая, С. А. Письма к Л. Н. Толстому. Academia, 1936. № 56, 12 июня, 1881, стр. 160.

[4]) Бирюков, Биография. Изд. Лодыжникова, Берлин, 1921, т. 2, стр. 160. Также: С. П. Арбузов, «Воспомин. о Л. Н. Толстом».

[5]) «Старцем» в монастыре назывался особо почитаемый старый монах-отшельник, славящийся святостью своей жизни и мудростью. Далеко не при всяком монастыре бывал старец, и больше одного старца единовременно в монастыре не бывало.

[6]) Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. Госизд. т. 63, стр. 84.

[7]) Письма гр. Л. Н. Толстого к жене. № 127, 20 июля 1881, стр. 134.

[8]) Там же, № 128, 24 июля 1881, стр. 136.

[9]) Поливанов, Л. Основатель и директор одной из лучших частных мужских гимназий в Москве.

[10]) Бирюков. Биография, т. 2, стр. 421.

[11]) Пругавин, А. С. Писатель, известный исследователь раскола и этнограф, род. 1850 г.

[12]) Пругавин. «О Льве Толстом и о толстовцах», стр. 58.

[13]) Толстой, Илья Л. «Мои Воспоминания», стр. 163.

[14]) Бирюков. Биография, т. 2, стр. 421.

[15]) Толстая, С. А. Письма к Л. Н. Толстому. № 62, 3 февр. 1882, стр. 172.

[16]) Там же, № 63, 4 февр. 1882, стр. 174.

[17]) Хитров Рынок — один из рынков Москвы, известный тем, что около него ютилась беднота Москвы.

[18]) «Так что же нам делать». Полн. собр. соч. Изд. 13-ое, т. XVII, стр. 45.

[19]) «О переписи в Москве». Полн. собр. соч. Изд. 13-ое, т. XVII, стр. 5.

[20]) Там же, стр. 11.

[21]) «Так что же нам делать». Полн. собр. соч. Изд. 13-ое, т. XVII, стр. 19 и 102.

ГЛАВА XXXVII

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

Софья Андреевна еще надеялась, что увлечение мужа религиозными вопросами остынет, что он снова сделается тем, чем был, заботливым, но строгим отцом, нежным мужем, писателем художественных, бессмертных произведений, приобретавших ему всё новую и новую славу. А он в глубине души смутно лелеял надежду, что она разделит его убеждения и последует за ним.

Каждый из них жил и думал по-своему и каждый из них был прав и не мог жить и думать по-другому.

«Здесь все ручьи налились так, что проехать трудно, — писал Толстой жене 27 февраля 1882 года. — Но нынче морозит, и выдуло так, что я топлю в другой раз. Нынче смотрю на Кузминских дом и думаю: зачем он себя мучит, служит там, где не хочет. И они все, и мы все. Взяли бы да жили все в Ясной лето и зиму, воспитывали бы детей. Но знаю, что всё безумное возможно, а разумное невозможно. Прощай, душенька, целую тебя и детей».[1])

... «Был в самом унылом, подавленном состоянии; но не жалею об этом и не жалуюсь, — писал он жене 1-го марта. — Как мерзлый человек отходит и ему больно, так и я, вероятно, нравственно о т х о ж у, — переживая все излишние впечатления, и возвращаюсь к обладанию самого себя».[2])

Письмо Софьи Андреевны от 2-го марта пропитано любовной заботой о здоровье, нервах дорогого Лёвочки.

«Когда я о тебе думаю (что почти весь день), то у меня сердце щемит, потому что впечатление, которое ты теперь производишь — это, что ты несчастлив. И так жалко тебя, а вместе с тем недоумение: откуда? за что? Вокруг всё так хорошо и счастливо.

«Пожалуйста, постарайся быть счастлив и весел, вели мне что-нибудь сделать для этого, конечно, что в моей власти и только мне одной в ущерб. Только одного теперь в мире желаю: это твоего спокойствия души и твоего счастья. Прощай, милый, если не кончился бы лист, я способна еще много написать. Целую тебя».[3])

Они были глубоко привязаны друг к другу. Соня знала, как тяжело ему было в городе, но искренно верила, что иначе нельзя было устраивать жизнь семьи. «Прощай, отдыхай, люби меня, не проклинай за то, что посредством Москвы привела тебя в такое положение, целую тебя», писала она ему. Она советовала ему «полечиться».

... «Это тоскливое состояние уже было прежде, давно; ты говорил: «от безверья», повеситься хотел. А теперь? Ведь ты не без веры живешь, отчего же ты несчастлив? И разве ты прежде не знал, что есть голодные, больные, несчастные и злые люди? Посмотри получше: есть и веселые, здоровые, счастливые и добрые. Хоть бы Бог тебе помог, а я что же могу сделать?»[4])

В Ясной Поляне Толстому было несравнимо легче, чем в Москве. Тут в природе он постоянно оживал, мысли прояснялись, успокаивались нервы.

«Делаю пасьянсы, — пишет он жене 2-го марта, — читаю и думаю. Очень бы хотел написать ту статью, которую я начал. Но если бы и не написал в эту неделю, я бы не огорчился. Во всяком случае мне очень здорово отойти от этого задорного мира городского и уйти в себя; читать мысли других о религии, слушать болтовню Агафьи Михайловны, и думать не о людях, а о Боге. Сейчас Агафья Михайловна повеселила меня рассказами о тебе, о том, каков бы я был, если бы женился на Арсеньевой. А теперь уехали, бросили ее там с 8-ю детьми, — делай, как знаешь, а сам сидите, бороду расправляете».[5])

Агафья Михайловна, или Гаша, как ее звали, была еще крепостной бабушки Толстого, Пелагеи Николаевны Толстой. Таких типов, как Агафья Михайловна,

на свете уже нет. Гордая, своенравная, остроумная, она никогда за словом в карман не лезла, трудно было подумать, что она была крепостной, так независимо и властно она держала себя. Толстой ценил ее и любил поговорить с ней о прошлом, о собаках, о хозяйстве.

К старости Агафья Михайловна заведывала псарней — охотничьими собаками Толстого, почему ее и прозвали «собачьей гувернанткой», а к концу своей жизни она так привязалась к животным, что даже прикармливала мышей, которые завелись в ее комнате.

«Смолоду Агафья Михайловна была очень красива», — рассказывает про нее Татьяна Львовна Сухотина-Толстая, и многие искали ее любви с честными и не честными намерениями. Но гордая красавица всем отказывала и оставалась девственницей. Она этим очень гордилась.

«Вы не смотрите на меня, что я теперь такая страшная стала. Я смолоду красавицей была, — рассказывала она мне. — Бывало, сидит графиня на балконе в большом доме с гостями. Понадобится ей носовой платок, — она позовет меня: «Фамбр де шамбр! Аппорте мушуар де пош!» А я им в ответ: «Тутсуит, мадам ла контесс!» И принесу им на серебряном подносике батистовый платочек. А господа на меня так и смотрят!.. А иногда господа меня сторожили, как я из одного флигеля в другой иду. Я это замечу, да нарочно далеко за домом прохожу. Перелезу через канаву, вся в крапиву острекаюсь, а на глаза им так и не попадусь. А они сидят, ждут меня... Не любила я этого, графинюшка»...[6])

Агафья Михайловна смутно понимала драму Толстых и была целиком на стороне Софьи Анреевны.

«Нынче утром вышел в одиннадцать часов и опьянел от прелести утра, — писал Толстой жене от 7 апреля. — Тепло, сухо, кое-где с глянцем тропинки, трава везде, то шпильками, то лопушками лезет из-под листа и соломы; почки на сирени, птицы поют уже не бестолково, а уж что-то разговаривают, и в затишье, и на углах домов, везде, и у навоза жужжат пчелы»...

...«Читал днем, потом обошел через пчельник и купальню. Везде трава, птицы, медунчики: нет ни городовых, ни мостовых, ни извозчиков, ни вони и так хорошо. Так хорошо, что мне жалко вас стало, и я думаю, что тебе непременно надо с детьми уезжать раньше, а я останусь с мальчиками».[7])

Летом Толстой, уступая настояниям жены, купил дом в Москве, в Долгохамовническом переулке. Он не искал дома в аристократических районах, с красивым фасадом и парадным входом — он искал природы в городе и нашел не только дом, но целую усадьбу.

Большой, двухэтажный деревянный дом стоял среди широкого двора, отделенного от переулка высоким забором; службы: флигеля, сторожка, каретный сарай, коровник, конюшня, кухни — образовывали более или менее правильный четырехугольник. За домом тянулся большой сад с старыми деревьями, аллеями, цветущими кустарниками и высоким курганом посредине. Извилистая, тенистая тропинка вела наверх, на площадку, откуда был виден соседний громадный парк графов Олсуфьевых, с семьей которых очень подружились Толстые.

«Какая прелесть сад, — писал он жене, — сидишь у окна в сад, весело и спокойно. Выйдешь на улицу: уныло, тревожно».[8]) В другом конце сада, вдоль пивоваренного завода, широкая проторенная дорожка вела к колодцу — единственному источнику снабжения водой. Вода накачивалась насосом и в большой бочке привозилась в дом, осенью и весной таскалась в бадьях на коромысле, а зимой возилась на санках. Легко представить себе, сколько надо было воды на такое большое хозяйство: для мытья и для кухни, для лошадей и коров, которых в Москву приводили каждую зиму из Ясной Поляны.

Несколько раз в день дворник накачивал и развозил воду по усадьбе.

Ранней весной Толстой, желая снять с жены заботы по дому, переехал в Москву с двумя мальчиками —

Сергеем и Львом, остальная семья осталась в Ясной Поляне, ожидая конца ремонта.

Забот было много: надо было ремонтировать кухню, переложить печи, выбрать обои, перестроить лестницу, исправить полы, приготовить подвалы, где можно было бы хранить запасы, привезенные из деревни: яблоки, овощи, бочки с кислой капустой и солеными огурцами, варенье, маринады. Толстой хлопотал, но устраивая, сомневался: понравится ли Соне расположение комнат, выбор обой, балясины на лестнице...

Между тем, слух о перемене в настроении Толстого быстро распространялся. Некоторые статьи его были уже напечатаны. Он продолжал работать над «Исследованием и Переводом четырех Евангелий», «Критикой Догматического Богословия» и «Так что же нам делать». Предисловие к «Исповеди» было уже напечатано в «Русской мысли», но самая статья была запрещена цензурой.

За Толстым, особенно в связи с его общением с сектантами, главным образом с молоканами в Самарской губернии, был установлен негласный надзор.

Но это не мешало людям, ищущим, как и он, правды Божьей, искать общения с Толстым. И люди эти были самые разнообразные. В Москве Толстой познакомился с старым раввином Минором и стал учиться у него древне-еврейскому языку. Он решил, что должен изучить Библию, читая ее по-еврейски.

Весной 1882 года семья Толстых приобрела нового друга.

«Как искра воспламеняет горючее, так это слово меня всего зажгло. Я понял, что я прав, что детский мир мой не поблекнул, что он хранил целую жизнь и что ему я обязан лучшим, что у меня в душе осталось свято и цело. Я еду в Москву обнять этого великого человека и работать ему... Я безгранично полюбил этого человека, он мне всё открыл. Теперь я мог назвать то, что я любил целую жизнь, — он мне это назвал, а главное, он любил то же самое». Так писал в своих

записках известный художник-академик, Николай Николаевич Ге.[9])

Картины его выставлялись на Передвижных выставках,[10]) его «Тайная вечеря» обратила на себя внимание и слава Николая Николаевича росла.

С Толстым Ге сошелся сразу. Христос, вера и Его учение — были главной основой, на которой сблизились эти два необыкновенных человека. Но не только глубокая религиозность и художественная сила влекли людей к «дедушке» Ге, как прозвали его дети Толстые. Почти детская кристальная чистота, искренность и доброта неотразимо привлекали к нему людей. Сияли лаской его добрые, голубые глаза, лаской и добротой звучал его мягкий, южный говор. Всё его существо, гладкое, чистое как у младенца, красивое, с правильными чертами лицо с розовыми щеками, круглая лысина, окаймленная ореолом вьющихся, седеющих, пушистых волос — выражали одно: «я всех люблю, всем желаю добра, полюбите и вы меня». И все его любили.

«Знаменитый художник Ге, — писала тетя Соня тете Тане о посещении Николая Николаевича, — пишет мой портрет масляными красками, очень хорошо. Но какой он милый, наивный человек, прелесть! Ему 50 лет, он плешивый, ясные голубые глаза и добрый взгляд. Он приехал познакомиться с Лёвочкой; объяснился ему в любви и хотел для него что-нибудь сделать. Взошла моя Таня, он говорит Лёвочке: «Позвольте мне написать вашу дочь». Лёвочка говорит: «Уж лучше жену». Вот я сижу уже неделю, и меня изображают с открытым ртом, в черном бархатном лифе, на лифе кружева мои d'Alençon, просто, в волосах, очень строгий и красивый стиль портрета».[11])

Несмотря на то, что сама Софья Андреевна и остальные члены семьи считали портрет удачным, «дедушка» был недоволен и в один прекрасный день уничтожил его: «Это невозможно, — говорил он. — Сидит барыня в бархатном платье, и только и видно, что у нее сорок тысяч в кармане. Надо написать женщину, мать. А это ни на что не похоже».[12])

И только четыре года спустя Ге написал портрет Софьи Андреевны с младшей дочерью Александрой на руках.*)

Отношение «дедушки» Ге было пропитано лаской и уважением к матери детей его друга. Сделавшись своим человеком в семье, «дедушка» без всякого усилия нашел общий язык с Софьей Андреевной и очень скоро стал звать ее «маменька».

Под влиянием Толстого Николай Николаевич написал целый ряд картин. Картины особенно поразившие Толстого были: «Что есть истина», «Тайная Вечеря» и позднее написанное «Распятие».

В этих картинах художник отступил от общепринятых изображений Христа-Бога. Ревнители православия упрекали Ге за то, что он низвел Христа на землю, отождествил Его с человеком.

В картине «Что есть истина», с точки зрения обыденного зрителя, Христос — измученный, изможденный человек. Его били, издевались над ним, он страдает, его жалко, нет в нем божественного величия. Грубая сила человеческой, плотской власти изображена в Пилате, в его властном движении рукой, его величественной позе, во всей его самодовольной, выхоленной фигуре. «Что есть истина?» с насмешкой вопрошает Пилат.

И как тогда, почти 2000 лет тому назад, так и в 1884 году, власти, уверенные, что только им, правящим, самодовольным, дано постигнуть истину, не поняли величия Христа в самом Его смирении, гонении...

Картину приказали снять с выставки и запретили показывать. Ее решено было послать в Америку и Толстой написал американцу Кеннану:

...«Ге нашел в жизни Христа такой момент, который был важен тогда для него, для его учения и который точно также важен теперь для всех нас и повторяется везде, во всем мире, в борьбе нравственного, разумного сознания человека, проявляющегося в неблестя-

---

*) Портрет этот находится и по сие время в гостиной Дома-Музея в Ясной Поляне.

щих сферах жизни — с преданиями утонченного, добродушного и самоуверенного насилия, подавляющего это сознание. И таких моментов много, и впечатление произведенное изображением таких моментов, очень сильно и плодотворно».[13])

Н. Н. Ге внес много радости в жизнь Толстого. 24 июля 1884 года Толстой писал в дневнике: «Ге очень хорош, ощущение, что слишком уж мы понимаем друг друга».

В этот период религиозных исканий Толстой отходил от литературной художественной формы, чему очень огорчались близкие и друзья Толстого.

Тургенев, прочитав присланную ему Толстым «Исповедь», в письме к Григоровичу дает следующую оценку этому произведению.

«Я получил на днях... ту «Исповедь» Л. Толстого, которую цензура запретила, — писал он. — Прочел ее с великим интересом, вещь замечательная по искренности, правдивости и силе убеждения. Но построена она все на неверных посылках и в конце концов приводит к самому мрачному отрицанию всякой человеческой жизни... И все-таки Толстой едва ли не самый замечательный человек современной России».[14])

Оба писателя были привязаны друг к другу и оба, с момента примирения, бережно, боясь нарушить установившуюся дружескую связь, старательно обходили подводные камни — несогласие в идеалах и разность натур.

Толстой искренно огорчился, узнав о болезни, Тургенева и был глубоко растроган, получив от него письмо от 27-28 июня 1883 года. Это было его последнее письмо. Тургенев умирал.

«Милый и дорогой Лев Николаевич! — писал он. — Долго вам не писал, ибо был и есмь, говоря прямо, на смертном одре. Выздороветь я не могу, и думать об этом нечего. Пишу же я вам, собственно, чтобы сказать вам, как я был рад быть вашим современником, и чтобы выразить вам мою последнюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности. Ведь этот дар ваш оттуда, откуда всё

другое. Ах, как я был бы счастлив, если бы мог подумать, что просьба моя так на вас подействует!.. Я же человек конченный, доктора даже не знают, как назвать мой недуг **névralgie stomacale goutteuse.** Ни ходить, ни есть, ни спать, да что! Скучно даже повторять всё это. Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе. Дайте мне знать, если вы получите эту бумажку, и позвольте еще раз крепко, крепко обнять вас, вашу жену, всех ваших... Не могу больше... Устал».[15])

22 августа 1883 года Тургенева не стало. Отошли в вечность все столпы русской литературы того времени, Толстой остался в одиночестве.

Из уважения ли к памяти Тургенева или желая оказать ему последнюю дань, но Толстой стал перечитывать сочинения Тургенева и когда поднялся вопрос о вечере его памяти, Толстой охотно согласился принять в нем участие. Но правительство испугалось, что Толстой выступит с слишком вольнодумной речью. Московский генерал-губернатор, кн. В. А. Долгоруков, вызвав к себе председателя Общества Любителей Российской Словесности, С. А. Юрьева, приказал ему «под благовидным предлогом» объявить заседание общества, посвященное памяти Тургенева, «отложенным на неопределенное время».

Жизнь в городе становилась всё более и более невыносимой Толстому.

«Опять в Москве, — писал он в дневнике 22 дек. 1882 года. — Опять пережил муки душевные, ужасные, больше месяца. Но не бесплодные. Если любишь Божье добро (кажется, я начинаю любить его), любишь, т. е. живешь им — счастье в нем, жизнь в нем видишь, то видишь и то, что тело мешает добру истинному».[16])

Спотыкаясь, порой изнемогая, уступами шел он, нащупывая путь, по мере продвижения то охваченый внутренней одухотворенной радостью, то впадая в отчаяние. В один из таких мрачных периодов Толстой написал письмо писателю Энгельгардту. Толстой про-

чел его статью и нашел в ней многое, о чем он сам, не переставая, думал. Это письмо — исповедь.

... «Вы не можете себе представить, до какой степени я одинок, до какой степени то, что есть настоящий «я», презираемо всеми, окружающими меня»... «Если я знаю дорогу домой и иду по ней пьяный, шатаясь, из стороны в сторону, то неужели от этого не верен путь, по которому я иду? Если не верен, покажите мне другой; если я сбиваюсь и шатаюсь, помогите мне, поддержите меня на настоящем пути, как я готов поддержать вас, а не сбивайте меня, не радуйтесь тому, что я сбился, не кричите с восторгом: вот он, говорит, что идет домой, а сам лезет в болото. Да не радуйтесь же этому, а помогите мне, поддержите меня. Ведь вы не черти из болота, а тоже люди, идущие домой. Ведь я один и ведь я не могу желать идти в болото. Помогите мне: у меня сердце разрывается от отчаяния, что мы все заблудились, и, когда я бьюсь всеми силами, вы, при каждом отклонении, вместо того, чтобы пожалеть себя и меня, суете меня и с восторгом кричите: смотрите, с нами вместе в болоте»...[17])

23 апреля 1883 года сгорела почти вся деревня Ясная Поляна. Толстой был в это время в Ясной Поляне, куда, с приближением весны, его неудержимо потянуло из города. Пожары — одно из самых страшных явлений в русских деревнях. Воды, пожарных дружин нет. В каждой деревне на 75-100 дворов, два, три колодца, из которых вода черпается деревянной бадьей журавлем или канатом, намотанном на колесо, которое крутят ручным способом. Удержать пожар, если загорится один дом, почти невозможно; он распространяется с молниеносной быстротой по соломенным крышам, плетневым заборам и дворам, перекидываясь от одной бревенчатой избы к другой. Плачут дети, голосят бабы, мычит выгнанная со дворов скотина... Закопченные, измазанные сажей мужики, с выражением терпеливого страданья на лицах, выволакивают последний скарб из занявшихся домов, баграми растаскивают горящие бревна. Час тому назад это было жи-

лище, дававшее кров целой семье... Теперь сгорело всё, деваться некуда... Порядка нет, люди мечутся, кричат, ругаются. На фоне ярко пылающего костра домов фигуры людей кажутся особенно темными. Толстой среди них. Он старается навести порядок, приехали бочки с барского двора, пришли помогать рабочие. То тут, то там мелькает высокая, широкоплечая фигура Толстого. Он дает распоряжения, сам заливает ведрами огонь. Но остановить разбушевавшее пламя нельзя.

«Очень жалко мужиков, — писал он жене в Москву. — Трудно представить себе всё, что они перенесли и еще перенесут. Весь хлеб сгорел. Если на деньги счесть потерю, то это больше 10-ти тысяч. Страховых будет тысячи две, а остальное надо всё заводить нищим, и заводить всё то, что нужно необходимо только для того, чтобы не помереть с семьями с холоду и с голоду».

И в тот же день он снова писал Софье Андреевне:

«Сейчас ходил по погорелым. И жалко, и страшно, и величественно — эта сила, эта независимость, и уверенность в свою силу, и спокойствие. Главная нужда теперь — овес на посев. Скажи Сереже брату, если его это не стеснит, не может ли он мне дать записку в Пирогово на 100 четвертей овса. Цена пусть будет та, самая высокая, за какую он продает. Если он согласен, то пришли эту записку, или привези. Даже ответь телеграммой, даст ли Сережа записку на овес, потому что если он не даст, надо распорядиться купить».[18])

Очень возможно, что если бы не протесты жены и сознание долга перед семьей, воспитанной Толстым в материальном благосостоянии, Толстой широкой рукой раздавал бы свое имущество, начинавшее его сильно тяготить. И чтобы избавиться от тяжести материальных забот, 21 мая 1883 года Толстой выдал жене полную нотариальную доверенность на ведение всех имущественных дел, а сам уехал в Самарскую губернию, чтобы и там ликвидировать хозяйство. Оно уже больше не интересовало его, и он продал скот, ло-

шадей, и сдал всю землю в аренду. Общение с крестьянами переселенцами, разговоры о религии с молоканами, изучение Библии на еврейском языке — вот что теперь занимало его.

А между тем —

При погоде при прекрасной
Жили счастливо все в Ясной,
Жили веселясь.[19])

Так начиналось шуточное стихотворение, написанное им для так называемого «почтового ящика». Этот ящик висел на верхней площадке главного дома, около больших старинных часов с боем. Писали все, что кому в голову придет: рассказы на злобу дня, анекдоты и шутки друг про друга, стихи, и опускали в ящик. В воскресенье ящик торжественно отпирался и происходило чтение. Старались угадать авторов, подписей не было; статьи и стихотворения самого хозяина вызывали полный восторг своей меткостью и остроумием. Илья Толстой в своих воспоминаниях приводит одну из таких замечательных шуток Толстого.

«Тетя Соня и тетя Таня и вообще, что любит Тетя Соня и тетя Таня».[20])

...Тетя Соня купается в сером костюме и входит в купальню степенно, по ступенькам, вбирая в себя дух от холода, потом прилично окунется, войдя в воду, и тихими плавными движениями плывет в даль.

Тетя Таня надевает изодранный клеенчатый чепец с розовыми ситцевыми подвязушками и отчаянно сигает в глубину и мгновенно, неподвижно ложится на спину.

Тетя Соня боится, когда дети прыгают в воду.

Тетя Таня срамит детей, если они боятся прыгать...

Тетя Соня в затруднительных обстоятельствах думает: «кому я больше нужна? кому я могу быть полезна?»

Тетя Таня думает: «кто мне нынче нужен? кого мне куда послать?»

Тетя Соня умывается холодной водой. Тетя Таня боится холодной воды.

Тетя Соня любит читать философию и вести серьезные разговоры и удивить тетю Таню страшными словами, и достигает вполне своей цели.

Тетя Таня любит читать романы и говорить о любви...

Тетя Соня, играя в крокет, всегда находит себе и другое занятие, как-то: посыпает песком каменистое место, чинит молотки, говоря, что слишком деятельна и не привыкла сидеть сложа руки.

Тетя Таня с озлоблением следит за игрой, ненавидя врагов и забывая всё остальное.

Тетя Соня обожает малышей, тетя Таня далеко не обожает их.

Когда малыши ушибаются, тетя Соня ласкает их, говоря: «матушки мои, голубчик мой, вот постой, мы этот пол прибьем — вот тебе, вот, вот тебе». И малыши и тетя Соня с ожесточением бьют пол.

Тетя Таня, когда малыши ушибаются, начинает с озоблением тереть ушибленное место, говоря: «чтоб вас совсем, и кто вас только родил. И где эти няньки, чорт их возьми совсем. Дайте мне хоть холодной воды, что все рот разинули».

Когда дети больны, тетя Соня мрачно читает медицинские книги и дает опиум. Тетя Таня, когда заболевают дети, выбранит их и дает масло...

Тетя Соня, пользуясь какой-нибудь радостью или весельем, тотчас примешивает к нему чувство грусти. Тетя Таня пользуется счастьем всецело...

Чья нога меньше, тети Тани или тети Сони, еще не разрешено»...

Громадный успех имел «Скорбный лист душевнобольных яснополянского госпиталя»,[21]) шутка, тоже написанная Толстым.

№ 1. (Лев Николаевич). Сангвинического свойства. Принадлежит к отделению мирных. Больной одержим манией, называемой немецкими психиатрами Weltverbesserungswahn. Пункт помешательства в том, что больной считает возможным изменить жизнь других людей словом. Признаки общие: недовольство всем существующим порядком, осуждение всех, кроме себя,

и раздражительная многоречивость, без обращения внимания на слушателей, частые переходы от злости и раздражительности к ненатуральной слезливой чувствительности. Признаки частные: занятие несвойственными и ненужными работами, чищение и шитье сапог, кошение травы и т. п. Лечение: полное равнодушие всех окужающих к его речам, занятия такого рода, которые бы поглощали силы больного.

№ 2. (Софья Андреевна). Находится в отделении смирных, но временами должна быть отделяема. Больная одержима манией: petulanta toropigis maxima. Пункт помешательства в том, что больной кажется, что все от нее всего требуют, и она никак не может успеть всё сделать. Признаки: разрешение задач, которые не заданы, отвечание на вопросы прежде, чем они поставлены; оправдание себя в обвинениях, которые не деланы, и удовлетворение потребностей, которые не заявлены. Лечение: напряженная работа. Диета: разобщение с легкомысленными светскими людьми.

№ 6. (Татьяна Андреевна Кузминская). Больная одержима манией, называемой "mania demoniaca complicata", встречающейся довольно редко и представляющей мало вероятности исцеления. Больная принадлежит к отделению опасных. Происхождение болезни: незаслуженный успех в молодости и привычка удовлетворенного тщеславия без нравственных основ жизни. Признаки болезни: страх перед мнимыми, личными чертями и особенное пристрастие к делам их, ко всякого рода искушениям: праздности, к роскоши, к злости. Забота о той жизни, которой нет, и равнодушие к той, какая есть. Больная чувствует себя постоянно в сетях дьявола, любит быть в его сетях и вместе с тем боится его... Лечение двоякое: или совершенное предание себя дьяволу и делам его с тем, чтобы больная изведала горечь их, или совершенное отчуждение больной от дел дьявола. В первом случае хороши были бы раньше два большие приема компрометирующего кокетства, два миллиона денег, два месяца полной праздности и привлечение к мировому за оскорбление. Во втором случае: три или че-

тыре ребенка с кормлением их, полная занятий жизнь и умственное развитие. Диета — в первом случае: трюфели и шампанское, платье всё из кружев, три новых в день. И во втором — щи, каша, по воскресеньям сладкие ватрушки и платье одного цвета и покроя на всю жизнь».

В «почтовом ящике» часто подтрунивали над увлечениями молодежи, слабостями старших. Никто никогда не обижался, все с нетерпением ждали воскресенья. «Почтовый ящик» вносил много веселья и жизни, и главным затейником и душой его был сам Толстой. Писание «В чем моя вера», сосредоточение на религиозной философии не мешало ему с почти детской веселостью участвовать в забавах молодежи и, закидывая голову, трясясь всем телом, до слез смеяться вместе с ними над удачной шуткой.

Летом 1883 года Толстой кончал свою статью «В чем моя вера», в конце сентября сдал ее в печать, но снова, по всегдашней своей привычке, заново все переделал и статья была окончательно закончена лишь в конце января 1884 года. Статью постигла та же участь, что и «Исповедь» — цензура не пропустила ее и она распространялась в копиях, напечатанных на гектографах и мимиографах.

«В чем моя вера», более чем все предыдущие статьи, написанные Толстым, выявляет его бесповоротный отход от церкви и признание для себя руководящим началом учение Христа, т. е. непротивление злу насилием.

«Я не толковать хочу учение Христа, а хочу только рассказать, как я понял то, что есть простого, ясного, понятного и несомненного, обращенного ко всем людям в учении Христа, и как то, что я понял, перевернуло мою душу и дало мне спокойствие и счастье», — писал Толстой.

... «Я не понимал этой жизни. Она мне казалась ужасною. И вдруг я услыхал слова Христа, понял их, и жизнь и смерть перестали мне казаться злом, и вместо отчаяния я испытал радость и счастье жизни, ненарушимые смертью», — писал он далее.

... «Место, которое было для меня ключем всего, было место из 5-ой главы Мѳ. ст. 39: «Вам сказано: око за око, зуб за зуб. А я говорю вам: не противьтесь злому». Я вдруг в первый раз понял этот стих прямо и просто. Я понял, что Христос говорит то самое, что говорит. И тотчас не то, что появилось что-нибудь новое, а отпало всё, что затемняло истину, и истина восстала передо мною во всем ее значении. «Вы слышали, что сказано древним: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противьтесь злому». Слова эти показались мне вдруг совершенно новыми, как будто я никогда не читал их прежде».[22])

Теория Толстого непротивление злу насилием вызвала ряд насмешек и критику. Многие умышленно искажали значение этого принципа, опуская последнее слово «насилием», уверяя, что Толстой отказывается от борьбы со злом, его называли анархистом, революционером, безбожником, и лишь немногие, вдумываясь до глубин в значение его толкования Евангелия, понимая силу борьбы со злом добром, прощением врагов, смирением — тянулись к нему, ища поддержки и разрешения тех сомнений, которые их мучили.

В сентябре 1883 года Толстого вызвали в уездный город в суд, в качестве присяжного заседателя. 29 сентября Толстой писал жене:

«Сегодня приехал из Крапивны. Я ездил туда по вызову в присяжные. Я приехал в 3-м часу. Заседание уже началось, и на меня наложили штраф в 100 рублей. Когда меня вызвали, я сказал, что не могу быть присяжным. Спросили: «Почему?» Я сказал: «По моим религиозным убеждениям». Потом и другой раз спросили, решительно ли я отказываюсь. Я сказал, что никак не могу, и ушел. Всё было очень дружелюбно. Нынче, вероятно, наложат еще 200 рублей, и не знаю, кончится ли всё этим. Я думаю, что да. В том, что я именно не мог поступить иначе, я уверен, что ты не сомневаешься. Но, пожалуйста, не сердись на меня за то, что я не сказал тебе, что я был назначен присяжным. Я бы тебе сказал, если бы ты спросила или пришлось; но нарочно говорить тебе мне не хо-

телось. Ты бы взволновалась, меня бы встревожила; а я и так тревожился, и всеми силами себя успокаивал».[23])

Софья Андреевна не рассердилась. Беспокойство, нежная любовь сквозят в ее письме к мужу от 30 сентября:

«Сейчас получила твое письмо, — писала она. — Думаю, что это до тебя не дойдет, ты видно скоро приедешь. Дай то Бог. Всё дело с присяжными меня все-таки ужасно встревожило. Я хотела было идти к Феде Перфильеву спросить, что могут с тобой за это сделать, и побоялась, что тебе это не понравится. Но не получая ответа на телеграмму, начинаю беспокоиться: не схватили ли тебя.

Сколько горя еще будет впереди! И как ты мог скрывать что-нибудь от меня. Это меня огорчило. Может быть, я сама бы с тобой поехала. А теперь думаю, авось ты скоро приедешь. Если только штраф, то куда не шло. А если судить будут, — то плохо дело. Я не знаю, что сделала бы я на твоем месте. Уже горячности молодой во имя какой-нибудь истины — у меня, я думаю, не нашлось бы. Больше всего я думаю, я бы думала о том, чтобы никого слишком не огорчать. Пишу ужасно несвязно; я еще не переварила всего, что в твоем письме; а кроме того малыши, Костенька, дети, шум — всё это действует одуряюще. Миша обслюнявил и смял всё письмо, пока я учила читать Дрюшу.

Прощай, до свиданья скоро, надеюсь. Хоть бы все кончилось благополучно. Целую тебя.

Соня».[24])

С какой радостью и благодарностью Толстой ловил каждое выражение понимания и сочувствия жены.

«Сейчас получил с Козловки твои два письма и телеграмму; — прекрасные два письма, — писал он ей в ответ 30 сентября. — По обоим я вижу, что ты в том хорошем, любимом мною духе, в котором я тебя оставил, и в котором ты, с маленькими перерывами, уже давно. — Письмо это читай одна. Никогда

так, как теперь, не думал о тебе, так много, хорошо и совершенно чисто. Со всех сторон ты мне мила».[25])

И хотя внутреннее расхождение казалось неминуемо, но глубокая привязанность друг к другу, любовь к детям, порождали в обоих надежду, что вот, вот что-то переменится и жизнь пойдет по-настоящему.

Но надежде этой не суждено было осуществиться.

---

[1]) Письма гр. Л. Н. Толстого к жене. 1862-1910, ред. А. Е. Грузинского, 1913 г., № 138, 27 февр. 1882, стр. 152.

[2]) Там же, № 139, 1 марта 1882, стр. 152.

[3]) Толстая, С. А. — Письма к Л. Н. Толстому, Academia, 1936, № 69, 2 марта 1882, стр. 184.

[4]) Там же, № 70, 3 марта 1882, стр. 185.

[5]) Письма Л. Н. Толстого к жене. № 140, 2 марта 1882, стр. 153.

[6]) Т. Л. Сухотина-Толстая. «Друзья и гости Ясной Поляны», стр. 112.

[7]) Письма Л. Н. Толстого к жене. № 144, 7 апр. 1882, стр. 158.

[8]) Там же, № 159, 15 сент. 1882, стр. 176.

[9]) Бирюков. Биография, т. 2, стр. 443.

[10]) Выставки картин русских художников, прозванные «передвижными», потому что они перевозились из одного города в другой и ежегодно объезжали все большие города России. Они были созданы по инициативе художника Крамского и той группы художников, которые вместе с ним откололись от Академии Художеств в 1863 году.

[11]) Бирюков. Биография. Т. 2, стр. 444. Также: Стасов, В. В., «Н. Н. Ге, его жизнь и сочинения», стр. 283.

[12]) Т. Л. Сухотина-Толстая. «Друзья и гости Ясной Поляны», стр. 33.

[13]) Там же, стр. 65.

[14]) Бирюков. Биография, т. 2, стр. 457. Также: Собрание писем И. С. Тургенева, стр. 510.

[15]) Бирюков, Биография, т. 2, стр. 474. Также: Собрание писем И. С. Тургенева, стр. 550.

[16]) Бирюков. Биография, т. 2, стр. 468.

[17]) Письмо к Энгельгардту. Полн. собр. соч. Госиздат, т. 63, стр. 112.

[18]) Письма гр. Л. Н. Толстого к жене, 1862-1910, ред. Грузинского, 1913. №№ 171, 172, стр. 186, 187.

[19]) Толстой, Илья Л. — «Мои Воспоминания», стр. 89.

[20]) Там же, стр. 91.

[21]) Там же, стр. 97.

[22]) «В чем моя вера». Бирюков. Биография, т. 2, стр. 483-485.

[23]) Письма гр. Л. Н. Толстого к жене. № 182, 29 сент. 1883, стр. 200.

[24]) Толстая, С. А. — Письма к Л. Н. Толстому. Academia, 1936. № 97, 30 сент. 1883, стр. 233.

[25]) Письма Л. Н. Толстого к жене. № 183, 30 сент. 1883 стр. 201.

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ТОМА:

Waldon Press, Inc., 203 Wooster St., New York 12, N. Y.

Цена: $2.75